

А.Н.Радищев

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

Классики
и
современники





А.Н.Радищев

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ПЕТЕРБУРГА
В МОСКВУ

•

ВОЛЬНОСТЬ

Ода

•

ПРОЗА



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1984

ББК 84.Р1
Р15

Классики и современники

*Русская
классическая
литература*



Тексты печатаются по изданию
А. Н. Радищев. Избранные сочинения. М., ГИХЛ, 1952

Примечания
А. А. Горелова, Г. П. Макогоиенко

Оформление художника
Ф. Нелюбниа

Р 4702010100-061 16-84
028(01)-84

© Состав, оформление. Издательство «Художественная литература», 1984 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»

«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514.

А. М. К.

Любезнейшему другу.

Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно — и ты мой друг.

Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто оттого только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? Ужели сия грозная мачеха произвела нас для того, чтоб чувствовали мы бедствия, а блаженство николи? Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодетельствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь. Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит; кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли; кто состраждет со мною над бедствиями собратии своей; кто в шестивии моем меня подкрепит, — не сугубый ли плод произойдет от подъятого мною труда?.. Почто, почто мне искать далеко кого-либо? Мой друг! ты близ моего сердца живешь — и имя твое да озарит сие начало.

ВЫЕЗД

Отужинав с моими друзьями, я лег в кибитку. Ямщик по обыкновению своему поскакал во всю лошадиную мочь, и в несколько минут я был уже за городом. Расставаться трудно хотя на малое время с тем, кто нам нужен стал на всякую минуту бытия нашего. Расставаться трудно: но блажен тот, кто расстаться может не улыбаясь; любовь или дружба стрегут его утешение. Ты плачешь, произнося прощанье; но вспомни о возвращении твоём, и да исчезнут слезы твои при сем воображении, яко роса пред лицом солнца. Блажен возрыдавший, надейся на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мятании. Существо его усугубляется, веселия множатся, и спокойствие упреждает нахмуренность грусти, распложая образы радости в зеркалах воображения.

Я лежу в кибитке. Звон почтового колокольчика, наскучив моим ушам, призвал наконец благодетельного Морфея. Горесть разлуки моея, преследуя за мною в смертоподобное мое состояние, представила меня воображению моему уединенна. Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелени; не было тут источника на прохлаждение, не было древесных сени на умерение зноя. Един, оставлен, среди природы пустынный! Вострепетал.

— Несчастный, — возопил я, — где ты? где девалось все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятно? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта? — По счастью моему случившаяся на дороге рытвина, в которую кибитка моя толкнулась, меня разбудила. Кибитка моя остановилась. Приподнял я голову. Вижу: на пустом месте стоит дом в три жилья.

— Что такое? — спрашивал я у повозчика моего.

— Почтовый двор.

— Да где мы?

— В Софии, — и между тем выпрягал лошадей.

СОФИЯ

Повсюду молчание. Погруженный в размышлениях, не заметил я, что кибитка моя давно уже без лошадей стояла. Привезший меня извозчик извлек меня из задумчивости:

— Барин-батюшка, на водку! — Сбор сей хотя не законный, но охотно всякий его платит, дабы не ехать по ука-

зу. Двадцать копеек послужили мне в пользу. Кто ездил на почте, тот знает, что подорожная есть оберегательное письмо, без которого всякому кошельку, генеральский, может быть, исключая, будет накладно. Вынув ее из кармана, я шел с нею, как ходят иногда для защиты своей со крестом.

Почтового комиссара нашел я храпящего; легонько взял его за плечо.

— Кого черт давит? Что за манер выезжать из города ночью. Лошадей нет; очень еще рано; взойди, пожалуй, в трактир, выпей чаю или усни. — Сказав сие, г. комиссар отворотился к стене и паки захрапел. Что делать? Потряс я комиссара опять за плечо.

— Что за пропасть, я уже сказал, что нет лошадей, — и, обернув голову одеялом, г. комиссар от меня отворотился.

«Если лошади все в разгоне, — размышлял я, — то несправедливо, что я мешаю комиссару спать. А если лошади в конюшне...» Я вознамерился узнать, правду ли г. комиссар говорил. Вышел на двор, сыскал конюшню и нашел в оной лошадей до двадцати; хотя, правду сказать, кости у них были видны, но меня бы дотащили до следующего стана. Из конюшни я опять возвратился к комиссару; потряс его гораздо покрепче. Казалось мне, что я к тому имел право, нашед, что комиссар солгал. Он второпях вскочил и, не продрав еще глаз, спрашивал:

— Кто приехал? не... — но, опомнившись, увидя меня, сказал мне: — видно, молодец, ты обык так обходиться с прежними ямщиками. Их бивали палками; но ныне не прежняя пора. — Со гневом г. комиссар лег спать в постелью. Мне его так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались; но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запрячь мне поскорее лошадей, и в самое то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл добрый гражданин. Итак, двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе, и я узнал, что рассудок есть раб нетерпеливости.

Лошади меня мчат; извозчик мой затянул песню, по обыкновению заунывную. Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто, скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкого. На сем музыкальном расположении народного уха умеи учреждать бразды правления. В них най-

дешь образование души нашего народа. Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повесить голову и возвращающийся обгаренный кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской.

Извозчик мой поет. Третий был час пополуночи. Как прежде колокольчик, так теперь его песня произвела опять во мне сон. О природа, объяв человека в пелены скорби при рождении его, влача его по строгим хребтам боязни, скуки и печали чрез весь его век, дала ты ему в отраду сон. Уснул, и все скончалось. Несносно пробуждение несчастному. О, сколь смерть для него приятна. А есть ли она конец скорби? — Отче всеблагий, неужели отворишь взоры свои от скончающегося бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, вызывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, тебе ее и возвращаю; на земли она стала уже бесполезна.

ТОСНА

Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но на малое время. Земля, насыпанная на дороге, сделав ее гладкою в сухое время, дождями разжиженная, произвела великую грязь среди лета и сделала ее непроходимую... Обеспокоен дурною дорогою, я, встав из кибитки, вошел в почтовую избу, в намерении отдохнуть. В избе нашел я проезжающего, который, сидя за обыкновенным длинным крестьянским столом в переднем углу, разбирал бумагу и просил почтового комиссара, чтобы ему поскорее велел дать лошадей. На вопрос мой — кто он был? — узнал я, что то был старого покрою стряпчий, едущий в Петербург с великим множеством изодранных бумаг, которые он тогда разбирал. Я немедленно вступил с ним в разговор, и вот моя с ним беседа:

— Милостивый государь! Я, нижайший ваш слуга, быв регистратором при разрядном архиве, имел случай употребить место мое себе в пользу. Посильными моими трудами я собрал родословную, на ясных доводах утвержденную,

многих родов российских. Я докажу княжеское или благородное их происхождение за несколько сот лет. Я восстановлю не редкого в княжеское достоинство, показав от Владимира Мономаха или от самого Рюрика его происхождение.

— Милостивый государь! — продолжал он, указывая на свои бумаги, — все великороссийское дворянство должно было бы купить мой труд, заплатя за него столько, сколько ни за какой товар не платят. Но с дозволения вашего высокородия, благородия или высокоблагородия, не ведаю, как честь ваша, они не знают, что им нужно. Известно вам, сколько блаженные памяти благоверный царь Федор Алексеевич российское дворянство обидел, уничтожив местничество. Сие строгое законоположение поставило многие честные княжеские и царские роды наравне с новгородским дворянством. Но благоверный же государь император Петр Великий совсем привел их в затмение своею табелью о рангах. Открыл он путь чрез службу военную и гражданскую всем к приобретению дворянского титула и древнее дворянство, так сказать, затоптал в грязь. Ныне всемилостивейше царствующая наша мать утвердила прежние указы высочайшим о дворянстве положением, которое было всех степенных наших вострежило, ибо древние роды поставлены в дворянской книге ниже всех. Но слух носится, что в дополнение вскоре издан будет указ и тем родам, которые дворянское свое происхождение докажут за 200 или 300 лет, приложится титул маркиза или другое знатное, и они пред другими родами будут иметь некоторую отличность. По сей причине, милостивейший государь! труд мой должен весьма быть приятен всему древнему благородному обществу; но всяк имеет своих злодеев.

В Москве завернулся я в компанию молодых господчиков и предложил им мой труд, дабы благосклонностию их возвратить хотя истраченную бумагу и чернила; но вместо благоприятия попал в посмеяние и, с горя оставив столичный сей град, вдался пути до Питера, где, известно, гораздо больше просвещения.

Сказав сие, поклонился мне об руку и, вытянувшись прямо, стоял передо мною с величайшим благоговением. Я понял его мысль, вынул из кошелька... и, дав ему, советовал, что, приехав в Петербург, он продал бы бумагу свою на вес разносчикам для обвертки; ибо мнимое маркизство скружить может многим голову, и он причиною будет возрождению истребленного в России зла — хвостовства древняя породы.

Зимою ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом. Нередко то бывает с путешественниками: поедут на санях, а возвращаются на телегах. — Летом. Бревешками вымощенная дорога замучила мой бока; я вылез из кибитки и пошел пешком. Лежа в кибитке, мысли мои обращены были в неизмеримость мира. Отделяясь душевно от земли, казалось мне, что удары кибиточные были для меня легче. Но упражнения духовные не всегда нас от телесности отвлекают; и для сохранения боков моих пошел я пешком. В нескольких шагах от дороги увидел я пахущего ниву крестьянина. Время было жаркое. Посмотрел я на часы. Первого сорок минут. Я выехал в субботу. Сегодня праздник. Пахущий крестьянин принадлежит, конечно, помещику, который оброку с него не берет. Крестьянин пахнет с великим тщанием. Нива, конечно, не господская. Соху поворачивает с удивительною легкостью.

— Бог в помощь, — сказал я, подошед к пахарю, который, не останавливаясь, доканчивал зачатую борозду. — Бог в помощь, — повторил я.

— Спасибо, барин, — говорил мне пахарь, отряхая сошник и перенося соху на новую борозду.

— Ты, конечно, раскольник, что пахешь по воскресеньям?

— Нет, барин, я прямым крестом крещусь, — сказал он, показывая мне сложенные три перста. — А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.

— Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь, да еще и в самый жар?

— В неделе-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай бог, — крестясь, — чтоб под вечер сегодня дождик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, так они того же у господина молят.

— У меня, мой друг, мужиков нет, и для того никто меня не клянет. Велика ли у тебя семья?

— Три сына и три дочки. Первинькому-то десятый годок.

— Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?

— Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат,

то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро.

— Так ли ты работаешь на господина своего?

— Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне сто рук для одного рта, а у меня две для семи ртов, сам ты счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит; ни барана, ни холста, ни курицы, ни масла не уступит. То ли житье нашему брату, как где барин оброк берет с крестьянина, да еще без приказчика. Правда, что иногда и добрые господа берут более трех рублей с души; но все лучше барщины. Ныне еще поверье заводится отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это отдавать головой. Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимой не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?

— Друг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещают.

— Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу. — Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.

Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей. Первое представилось мне неравенство крестьянского состояния. Сравнил я крестьян казенных с крестьянами помещичьими. Те и другие живут в деревнях; но одни платят известное, а другие должны быть готовы платить то, что господин хочет. Одни судятся своими равными, а другие в законе мертвы, разве по делам уголовным. Член общества становится только тогда известен правительству, его охраняющему, когда нарушает союз общественный, когда становится злодей! Сия мысль всю кровь во мне воспалила.

Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение.

Углубленный в сих размышлениях, я нечаянно обратил взор мой на моего слугу, который, сидя на кибитке передо мной, качался из стороны в сторону. Вдруг почувствовал я быстрый мраз, протекающий кровью моею, и, прогоняя жар к вершинам, нудил его распростираться по лицу. Мне так стало во внутренности моей стыдно, что едва я не заплакал.

— Ты во гневе твоём, — говорил я сам себе, — устремляешься на гордого господина, изнуряющего крестьянина своего на ниве своей; а сам не то же ли или еще хуже того

делаешь? Какое преступление сделал бедный твой Петрушка, что ты ему воспрещаешь пользоваться усладителем наших бедствий, величайшим даром природы несчастному — сном? Он получает плату, сыт, одет, никогда я его не секу ни плетью, ни батожем (о умеренный человек!) — и ты думаешь, что кусок хлеба и лоскут сукна тебе дают право поступать с подобным тебе существом, как с кубарем, и тем ты только хвастаешь, что не часто подсекаешь его в его вертепин. Ведаешь ли, что в первенственном уложении, в сердце каждого написано? Если я кого ударю, тот и меня ударить может. Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!

— А кто тебе дал власть над ним?

— Закон.

— Закон! И ты смеешь поносить сие священное нмя? Несчастный... — Слезы потекли из глаз моих; и в таковом положении почтовые клячи дотащили меня до следующего стана.

ЧУДОВО

Не успел я войти в почтовую избу, как услышал на улице звук почтового колокольчика, и чрез несколько минут вошел в избу приятель мой Ч... Я его оставил в Петербурге, и он намерения не имел оттуда выехать так скоро. Особливое происшествие побудило человека нраву крутого, как то был мой приятель, удалиться из Петербурга, и вот что он мне рассказал.

— Ты был уже готов к отъезду, как я отправился в Петергоф. Тут я препроводил праздники столь весело, сколько в шуму и чаду веселиться можно. Но желая поездку мою обратить в пользу, вознамерился съездить в Кронштадт и на Систербек, где, сказывали мне, в последнее время сделаны великие перемены. В Кронштадте прожил я два дни с великим удовольствием, насыщая зрением множества иностранных кораблей, каменной одежды крепости Кронштадтской и строений, стремительно возвышающихся. Любопытствовал посмотреть нового Кронштадту плана и с удовольствием предусматривал красоту намереваемого строения; словом, второй день пребывания моего кончился весело и приятно. Ночь была тихая, светлая, и воздух благорастворенный вливал в чувства особую нежность, которую лучше ощущать, нежели описать удобно. Я вознаме-

рился в пользу употребить благость природы и насладиться еще один хотя раз в жизни великолепным зрелищем восхождения солнца, которого на гладком водяном горизонте мне еще видеть не удавалось. Я нанял морскую двенадцативесельную шлюпку и отправился на С...

Версты с четыре плыли мы благополучно. Шум весел единозвучностию своею возбудил во мне дремоту, и томное зрение едва ли воспрядало от мгновенного блеска падающих капель воды с вершины весел. Стихотворческое воображение преселяло уже меня в прелестные луга Пафоса и Амафонта. Внезапу острый свист возникающего вдали ветра разгнал мой сон, и отягченным взорам моим представлялися сгущенные облака, коих черная тяжесть, казалось, стремила их нам на главу и падением устрашала. Зерцаловидная поверхность вод начинала рябеть, и тишина уступала место начинающемуся плесканию валов. Я рад был и сему зрелищу; соглядал величественные черты природы и не в чванство скажу: что других устрашать начинало, то меня веселило. Восклицал изредка, как Вернет: ах, как хорошо! Но ветер, усиливаясь постепенно, понуждал думать о достижении берега. Небо от густоты непрозрачных облаков совсем померкло. Сильное стремление валов отнимало у кормила направление, и порывистый ветер, то вознося нас на мокрые хребты, то низвергая в утесистые рытвины водяных зыбей, отнимал у гребущих силу шестивенного движения. Следуя поневоле направлению ветра, мы носились наудачу. Тогда и берега начали бояться; тогда и то, что бы нас при благополучном плавании утешать могло, начинало приводить в отчаяние. Природа завистливою нам на сей час казалась, и мы на нее негодовали теперь за то, что не распростирала ужасного своего величества, сверкая в молнии и слух тревожа громовым треском. Но надежда, преследуя человека до крайности, нас укрепляла, и мы, елико нам возможно было, ободряли друг друга.

Носимое валами, внезапно судно наше остановилось недвижимо. Все наши силы, совокупно употребленные, не были в состоянии совратить его с того места, на котором оно стояло. Упражняясь в сведении нашего судна с мели, как то мы думали, мы не заметили, что ветер между тем почти совсем утих. Небо помалу очистилось от затмевавших синеву его облаков. Но восходящая заря вместо того, чтоб принести нам отраду, явила нам бедственное наше положение. Мы узрели ясно, что шлюпка наша не на мели находилась, но погрязла между двух больших камней и что не было никаких сил для ее избавления оттуда невредимо.

Вообрази, мой друг, наше положение; все, что я ни скажу, все слабо будет в отношении моего чувства. Да и если бы я мог достаточные дать черты каждому души моего движения, то слабы еще были бы они для произведения в тебе подобного тем чувствованиям, какие в душе моей возникали и теснились тогда. Судно наше стояло на средние гряды каменной, замыкающей залив, до С... простирающийся. Мы находились от берега на полторы версты. Вода начинала проходить в судно наше со всех сторон и угрожала нам совершенным потоплением. В последний час, когда свет от нас преходить начинает и отверзается вечность, ниспадают тогда все ступени, мнением между людей воздвигнутые. Человек тогда становится просто человек: так, видя приближающуюся кончину, забыли все мы, кто был какого состояния, и помышляли о спасении нашем, отливая воду, как кому сподручно было. Но какая была в том польза? Сколько воды союзными нашими силами было исчерпаемо, только во мгновение пакн накопляются. К крайнему сердце наших сокрушению ни вдали, ни вблизи не видно было мимоидущего судна. Да и то, которое бы подало нам отраду, являясь взорам нашим, усугубило бы отчаяние наше, удаляясь от нас и избегая равныя с нами участь.

Наконец судна нашего правитель, более нежели все другие к опасностям морских происшествий привыкший, взвешавший поневоле, может быть, на смерть хладнокровно в разных морских сражениях в прошедшую Турецкую войну в Архипелаге, решился или нас спасти, спасаясь сам, или погибнуть в сем благом намерении: ибо, стоя на одном месте, погибнуть бы нам должно было. Он, вышед из судна и перебираясь с камня на камень, направил шествие свое к берегу, сопровождаем чистосердечнейшими нашими молитвами. Сначала продолжал он шествие свое весьма бодро, прыгая с камня на камень, переходя воду, где она была мелка, переплывая ее, где она глубже становилась. Мы с глаз его не спускали. Наконец увидели, что силы его начали ослабевать, ибо он переходил камни медлительнее, останавливаясь почасту и садясь на камень для отдохновения. Казалось нам, что он находился иногда в размышлении и нерешимости о продолжении пути своего. Сие побудило одного из его товарищей ему преследовать, дабы подать ему помощь, если он увидит его изнемогающего в достижении берега, или достигнуть оного, если первому в том будет неудача. Взоры наши стремились вослед то за тем, то за другим, и молитва наша о их сохранении была нелицемерна. Наконец последний из сих подражателей Монсея в про-

хождении, без чуда, морския пучины своими стопами остановился на камне недвижим, а первого совсем мы потеряли из виду.

Сокровенные доселе внутренние каждого движения, заклепанные, так сказать, ужасом, начали являться при исчезании надежды. Вода между тем в судне умножалась, и труд наш, возрастая в отливании оной, утомлял силы наши приметно. Человек ярого и нетерпеливого сложения рвал на себе волосы, кусал персты, проклинал час своего выезда. Человек робкия души и чувствовавший долго, может быть, тягость удручительных неволи, рыдал, орошая слезами своими скамью, на которой ниц распростерт лежал. Иной, вспоминая дом свой, детей и жену, сидел яко окаменелый, помышляя не о своей, но о их гибели, ибо они питались его трудами.

Каково было моей души положение, мой друг, сам отгадывай, ибо ты меня довольно знаешь. Скажу только тебе то, что я прилежно молился богу. Наконец начали мы все предаваться отчаянию, ибо судно наше более половины водою натекло и мы стояли все в воде по колено. Нередко помышляли мы выйти из судна и шествовать по каменной гряде к берегу, но пребывание одного из наших спутников на камне уже несколько часов и скрывтие другого из виду представляло нам опасность перехода более, может быть, нежели она была в самом деле. Среди таковых горестных размышлений увидели мы близ противоположного берега, в расстоянии от нас каком то было, точно определить не могу, два пятна черные на воде, которые, казалось, двигались. Зримое нами нечто черное и движущееся, казалось, помалу увеличивалось; наконец, приближаясь, представило ясно взорам нашим два малые судна, прямо идущие к тому месту, где мы находились среди отчаяния, во сто крат надежду превосходящего. Как в темной храмине, свету совсем неприступной, вдруг отверзается дверь, и луч денный, влетев стремительно в среду мрака, разгоняет оный, распростираясь по всей храмине до дальнейших ее пределов, — тако, увидев суда, луч надежды ко спасению протек наши души. Отчаяние превратилось в восторг, горесть в восклицание, и опасно было, чтобы радостные телодвижения и плескания не навлекли нам гибели скорее, нежели мы будем исторгнуты из опасности. Но надежда жития, возвращаясь в сердца, возбудила паки мысли о различии состояний, в опасности уснувшие. Сие послужило на сей раз к общей пользе. Я укротил излишнее радование, во вред обратиться могущее.

По несколько времени увидели мы две большие рыбацьи лодки, к нам приближающиеся, и, при настижении их до нас, увидели в одной из них нашего спасителя, который, прошед каменною грядою до берега, сыскал сии лодки для нашего извлечения из явной гибели. Мы, не мешкав ни мало, вышли из нашего судна и поплыли в приехавших судах к берегу, не забыв снять с камня сотоварища нашего, который на оном около семи часов находился. Не прошло более получаса, как судно наше, стоявшее между камней, облегченное от тяжести, всплыло и развалилося совсем. Плывучи к берегу среди радости и восторга спасения, Павел — так звали спасшего нас спутника — рассказал нам следующее

«Я, оставя вас в предстоящей опасности, спешил по камням к берегу. Желание вас спасти дало мне силы чрезвычайные; но сажень за сто до берега силы мои стали ослабевать, и я начал отчаяваться в вашем спасении и моей жизни. Но полежав с полчаса на камени, вспрянув с новою бодростию и не отдыхая более, дополз, так сказать, до берега. Тут я растянулся на траве и, отдохнув минут десять, встал и побежал вдоль берега к С... что имел мочи. И хотя с немалым истощением сил, но вспоминая о вас, добежал до места. Казалось, что небо хотело испытать вашу твердость и мое терпение, ибо я не нашел ни вдоль берега, ни в самом С... никакого судна для вашего спасения. Находясь почти в отчаянии, я думал, что нигде не можно мне лучше искать помощи, как у тамошнего начальника. Я побежал в тот дом, где он жил. Уже был седьмой час. В передней комнате нашел я тамошней команды сержанта. Рассказав ему коротко, зачем я пришел и ваше положение, просил его, чтобы он разбудил Г..., который тогда еще почивал. Г. сержант мне сказал: «Друг мой, я не смею». — «Как, ты не смеешь? Когда двадцать человек тонут, ты не смеешь разбудить того, кто их спасти может? Но ты, бездельник, лжешь, я сам пойду...»

Г. сержант, взяв меня за плечо не очень учтиво, вытолкнул за дверь. С досады чуть я не лопнул. Но помня более о вашей опасности, нежели о моей обиде и о жестокосердии начальника с его подчиненным, я побежал к караульной, которая была версты с две расстоянием от проклятого дома, из которого меня вытолкнули. Я знал, что живущие в ней солдаты содержали лодки, в которых, ездя по заливу, собирали булыжник на продажу для мостовых, я и не ошибся в моей надежде. Нашел сии две небольшие лодки, и радость теперь моя несказанна; вы все спасены. Если бы вы утонули, то и я бы бросился за вами в воду».

Говоря сие, Павел обливался слезами. Между тем достигли мы берега. Вышед из судна, я пал на колени, возвел руки на небо.

— Отче всемогущий, — возопил я: — тебе угодно, да живем; ты нас водил на испытание, да будет воля твоя. — Се слабое, мой друг, изображение того, что я чувствовал. Ужас последнего часа прободал мою душу, я видел то мгновение, что я существовать перестану. Но что я буду? Не знаю. Страшная неизвестность. Теперь чувствую; час бьет; я мертв; движение, жизнь, чувство, мысль — все исчезнет мгновенно. Вообрази себя, мой друг, на краю гроба, не почувствуешь ли корчащий мраз, лиющийя в твоих жилах и одновременно жизнь пресекающий. О мой друг! — Но я удалился от моего повествования.

Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, чтоб в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалось такое бесчеловечие! Я вспомнил о заключенных агличанах в темнице бенгальского субаба¹.

Воздохнул я во глубине души. Между тем дошли мы до С... Я думал, что начальник, проснувшись, накажет своего сержанта и претерпевшим на воде даст хотя успокоение. С сею надеждою пошел я прямо к нему в дом. Но поступком его подчиненного столь был раздражен, что я не мог умерить своих слов. Увидев его, сказал: «Государь мой! Известили ли вас, что за несколько часов пред сим двадцать человек находились в опасности потерять живот свой на во-

¹ Агличане приняли в свое покровительство ушедшего к ним в Калкуту чиновника бенгальского, подвергшего себя казни своим мздомством. Справедливо раздраженный субаб, собрав войско, приступил к городу и оный взял. Агличских военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в коей они в полсутки издохли. Осталось от них только двадцать три человека. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестить владельцу о их положении. Вопль их и стенание возвещало о том народу, о них соболезнующему; но никто не хотел возвестить о том властителю. Почивает он — ответствовано умирающим агличанам; и ни один человек в Бенгале не миновал, что для спасения жизни ста пятидесяти несчастных должно отъять сон мучителя на мгновение.

Но что ж такое мучитель? Или паче, что ж такое народ, обыкновенный к нгу мучительства? Благоговение ль или боязнь тягит его согбенна? Если боязнь, то мучитель ужаснее богов, к коим человек воссылает или молитву, или жалобу во время ночи или в часы дневные. Если благоговение, то возможно человека возбудить на почитание соделателей его бедствий; чудо, возможное одному суверену. Чему более удивляться, зверству ли спящего набоба или подлостью не смеющего его разбудить? — Реналь. История о Индиях, том II.

де и требовали вашей помощи?» Он мне отвечал с наивеличайшею холодною, куря табак: «Мне о том сказали недавно, а тогда я спал». Тут я задрожал в ярости человечества: «Ты бы велел себя будить молотком по голове, буде крепко спишь, когда люди тонут и требуют от тебя помощи». Отгадай, мой друг, какой его был ответ. Я думал, что мне сделается удар от того, что я слышал. Он мне сказал: «Не моя то должность». Я вышел из терпения: «Должность ли твоя людей убивать, скаредный человек; и ты носишь знаки отличности, ты начальствуешь над другим!..» Окончать не мог моя речь, плюнул почти ему в рот и вышел вон. Я волосы драл с досады. Сто делал расположений, как отомстить сему зверскому начальнику не за себя, но за человечество. Но, опомнясь, убедился воспоминанием многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я же могу прослыть или бешеным, или злым человеком; смирился.

Между тем люди мои сходили к священнику, который нас принял с великою радостью, согрел нас, накормил, дал отдохновение. Мы пробыли у него целые сутки, пользуясь его гостеприимством и угощением. На другой день, нашед большую шлюпку, доехали мы до Ораниенбаума благополучно. В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. «Но в должности ему не предписано вас спасать», — сказал некто. Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого до издыхания и раболепствовать власти. И ты хотел, чтоб я поселился в городе.

— Нет, мой друг, — говорил мой повествователь, вскочив со стула, — заеду туда, куда люди не ходят, где не знают что есть человек, где имя его неизвестно. Прости, — сел в кибитку и поскакал.

СПАССКАЯ ПОЛЕСТЬ

Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неурядицы в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмущать поверхности воды. Но он мне сказал наотрез:

— Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями. — И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно.

Лошади были уже впряжены; я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку; как вдруг дождь пошел. «Беда невелика, — размышлял я, — закроюсь циновкою и буду сух». Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, то как будто меня окунули в пролубь. Небо, не спросясь со мною, разверзло облако, и дождь лил ведром. С погодою не сладишь; по пословице: тише едешь, дале будешь — вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно. Но я и в потемках выпросил позволение обсушиться. Снял с себя мокрое платье и, что было посуше положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постеля моя была не пуховая, долго нежиться не позволила. Проснувшись, услышал я шепот. Два голоса различить я мог, которые между собою разговаривали.

— Ну, муж, Расскажи-тка, — говорил женский голос.

— Слушай, жена. Жил-был...

— И подлинно на сказку похоже; да как же сказке верить? — сказала жена вполголоса, зевая ото сна. — Поверю ли я, что были Полкан, Бова или Соловей-разбойник.

— Да кто тебя толкает в шею, верь, коли хочешь. Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении и что силачи оные употребляли во зло. Вот тебе Полкан. А о Соловье-разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он Соловьем назван красноречия своего ради. Не перебивай же моей речи. Итак, жил-был где-то государев наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы и был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, сдал по десятку, и то когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины, то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою. Все подчиненные становятся мучениками. Но во что бы то ни стало, а устерсы есть будет.

В правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он имеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами, но куда ни вертись, а прогоны выдавай. На ка-

зенные денежки дыр много. Гонец, снабженный подорожною, прогонами, совсем готов, в куртке и чикчерах явился пред его высокопревосходительство.

«Поспешай, мой друг, — вещает ему униженный орденами, — поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской».

«Кому прикажете?»

«Прочти адрес».

«Его... его...»

«Не так читаешь».

«Государю моему гос...»

«Врешь... господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в С.-Петербурге, в Большой Морской».

«Знаю, ваше высокопревосходительство».

«Ступай же, мой друг, и как скоро получишь, то возвращайся поспешно и нимало не медли; я тебе скажу спасибо не одно».

И ну-ну-ну, ну-ну-ну; по всем по трем, вплоть до Питера, к Корзинкину прямо на двор.

«Добро пожаловать. Куды какой его высокопревосходительство затейник, из-за тысячи верст шлет за какою дрянью. Только барин добрый. Рад ему служить. Вот устерсы, теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка, уступить нельзя, самим пришли дороги. Да мы с его милостию сочтемся».

Бочку взвалили в кибитку; поворота оглобли, курьер уже опять скачет; успел лишь зайти в кабак и выпить два кружка сивухи.

Тинь-тинь... Едва у городских ворот слышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику (то ли дело, как где все в порядке) и рапортует ему, что вдали видна кибитка и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шась курьер в двери.

«Привез, ваше высокопревосходительство».

«Очень кстати; (оборотясь к предстоящим): право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уже лет по два раза в год ездит в Петербург; а в Москву сколько раз, упомянуть не могу. Секретарь, пиши представление. За многочисленные его в посылках труды и за точнейшее оных исправление удостоиваю его к повышению чином».

В расходной книге у казначея записано: по предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н. Н., отправленному в С.-П. с наинужнейшими донесениями, прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы... Книга казначейская пошла на ревизию, но

устерсами не пахнет. — По представлению господина генерала и проч. *приказали*: быть сержанту Н. Н. прапорщиком.

— Вот, жена, — говорил мужской голос, — как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно, не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш г. казначей; уже другой раз по его представлению меня отсылают в уголовную палату. Когда бы я с ним был заодно, то бы было не житье, а масленица.

— И... полно, Клементьич, пустяки-то молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? за то, что ты промен берешь со всех, а с ним не делишься.

— Потихе, Кузминична, потихе; неравно кто подслушает. — Оба голоса умолкли, и я опять заснул.

Поутру узнал я, что в одной избе со мною ночевал присяжный с женою, которые до света отправились в Новгород.

Между тем как в моей повозке запрягали лошадей, приехала еще кибитка, тройкою запряженная. Из нее вышел человек, закутанный в большую япанчу, и шляпа с распущенными полями, глубоко надетая, препятствовала мне видеть его лицо. Он требовал лошадей без подорожной; и как многие повозчики, окружив его, с ним торговались, то он, не дожидаясь конца их торга, сказал одному из них с нетерпением:

— Запрягай поскорей, я дам по четыре копейки на версту.

Ямщик побежал за лошадьми. Другие, видя, что договариваться уже было не о чем, все от него отошли.

Я находился от него не далее как в пяти саженьях. Он, подошел ко мне и не снимая шляпы, сказал:

— Милостивый государь, снабдите чем ни есть человека несчастного.

Меня сие удивило чрезмерно, и я не мог вытерпеть, чтоб ему не сказать, что я удивляюсь просьбе его о вспоможении, когда он не хотел торговаться о прогонах и давал против других вдвое.

— Я вижу, — сказал он мне, — что в жизнь вашу поперечного вам ничего не встречалось.

Столь твердый ответ мне очень понравился, и я, не медля ни мало, вынул из кошелька...

— Не осудите, — сказал, — более теперь вам служить не могу, но если доедем до места, то, может быть, сделаю что-нибудь больше. — Намерение мое при сем было то, чтобы сделать его чистосердечным; я и не ошибся.

— Я вижу, — сказал он мне, — что вы имеете еще чувствительность, что обращение света и снискание собственной пользы не затворили вход ее в ваше сердце. Позвольте мне сесть на вашей повозке, а служителю вашему прикажите сесть на моей.

Между тем лошади наши были впряжены, я исполнил его желание — и мы едем.

— Ах, государь мой, не могу себе представить, что я несчастлив. Не более недели тому назад я был весел, в удовольствии, недостатка не чувствовал, был любим, или так казалось; ибо дом мой всякий день был полон людьми, заслужившими уже знаки почестей; стол мой был всегда как великолепное некое торжество. Но если тщеславие тоlikое имело удовлетворение, равно и душа наслаждалась истинным блаженством. По многих сперва бесплодных стараниях, предприятиях и неудачах наконец получил я в жену ту, которую желал. Взапная наша горячность, услаждая и чувства и душу, все представляла нам в ясном виде. Не зрели мы облачного дня. Блаженства нашего достигали мы вершины. Супруга моя была беременна, и приближался час ее разрешения. Все сие блаженство, определила судьба, да рушится одним мгновением.

У меня был обед, и множество так называемых друзей, собравшись, насыщали праздный свой голод на мой счет. Один из бывших тут, который внутренно меня не любил, начал говорить с сидевшим подле него, хотя вполголоса, но довольно громко, чтобы говоренное жене моей и многим другим слышно было:

«Неужели вы не знаете, что дело нашего хозяина в уголовной палате уже решено».

— Вам покажется мудрено, — говорил спутник мой, обращая ко мне свое слово, — чтобы человек неслужащий и в положении, мною описанном, мог подвергнуть себя суду уголовному. И я так думал долго, да и тогда, когда мое дело, прошед нижние суды, достигло до высшего. Вот в чем оно состояло: я был в купечестве записан; пуская капитал мой в обращение, стал участником в частном откупу. Неосновательность моя причиною была, что я доверил лживому человеку, который, лично попавшись в преступлении, был от откупу отрешен, и, по свидетельству будто его книг, сделав, по-видимому, на нем большой начет. Он скрылся, я остался в лицах, и начет положено взыскать с меня. Я, сделав выправки, сколько мог, нашел, что начету на мне или совсем бы не было, или бы был очень малый, и для того просил, чтобы сделали расчет со мною, ибо я по нем был

порукою. Но вместо того, чтобы сделать должное по моему прошению удовлетворение, велено недоимку взыскать с меня. Первое неправоудие. Но к сему присовокупили и другое. В то время как я сделался в откуп порукою, имения за мною никакого не было, но по обыкновению послано было запрещение на имение мое в гражданскую палату. Странная вещь — запрещать продавать то, чего не существует в имении! После того купил я дом и другие сделал приобретения. В то же самое время случай допустил меня перейти из купеческого звания в звание дворянское, получа чин. Наблюдая свою пользу, я нашел случай продать дом на выгодных условиях, совершив купчую в самой той же палате, где существовало запрещение. Сие поставлено мне в преступление; ибо были люди, которых удовольствию помрачалось блаженством моего жития. Стряпчий казенных дел сделал на меня донос, что я, избегая платежа казенной недоимки, дом продал, обманул гражданскую палату, назвавшись тем званием, в коем я был, а не тем, в котором находился при покупке дома. Тщетно я говорил, что запрещение не может существовать на то, чего нет в имении, тщетно я говорил, что по крайней мере надлежало бы сперва продать оставшееся имение и выручить недоимку сей продажей, а потом предпринимать другие средства; что я звания своего не утратил, ибо в дворянском уже купил дом. Все сие было отринуто, продажа дому уничтожена, меня осудили за ложный мой поступок лишиться чинов и требуют теперь, — говорил повествователь, — хозяина здешнего в суд, дабы посадить под стражу до окончания дела. — Сие последнее повествуя, рассказывающий возвысил свой голос. — Жена моя, едва сие услышала, обняв меня, вскричала: «Нет, мой друг, и я с тобою». Более выговорить не могла. Члены ее все ослабели, и она упала бесчувственна в мои объятия. Я, подняв ее со стула, вынес в спальную комнату и не ведаю, как обед окончался.

Пришед чрез несколько времени в себя, она почувствовала муки, близкое рождение плода горячности нашей возмущающие. Но сколь ни жестоки они были, воображение, что я буду под стражей, столь ее тревожило, что она только и твердила: и я пойду с тобою. Сие несчастное приключение ускорило рождение младенца целым месяцем, и все способы бабки и доктора, для пособия призванных, были тщетны и не могли воспретить, чтобы жена моя не родила чрез сутки. Движения ее души не токмо с рождением младенца не успокоились, но, усилившись гораздо, сделали ей горячку.

Почто распространяться мне в повествовании? Жена моя на третий день после родов своих умерла. Видя ее страдание, можете поверить, что я ее не оставлял ни на минуту. Дело мое и осуждение в горести позабыл совершенно. За день до кончины моей любезной недозрелый плод нашей горячности также умер. Болезнь матери его занимала меня совсем, и потеря сия была для меня тогда невелика.

— Вообрази, вообрази, — говорил повествователь мой, взяв обеими руками себя за волосы, — вообрази мое положение, когда я видел, что возлюбленная моя со мною расставалась навсегда.

— Навсегда! — вскричал он диким голосом. — Но зачем я бегу? Пускай меня посадят в темницу; я уже нечувствителен; пускай меня мучат, пускай лишают жизни. О варвары, тигры, змеи лютые, грызите сие сердце, пускайте в него томный ваш яд.

Извините мое исступление, я думаю, что я лишуся скоро ума. Сколь скоро воображу ту минуту, когда любезная моя со мною расставалась, то я все позабываю и свет в глазах меркнет. Но окончу мою повесть. В толико жестоком отчаянии, лежащу мне над бездыханным телом моей возлюбленной, один из искренних моих друзей, прибежав ко мне:

«Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу».

Я не внимал его речам, но он, усилясь надо мною и взяв меня с помощью своих людей, вынес и положил в кибитку; но вспомня, что надобны мне деньги, дал мне кошелек, в котором было только пятьдесят рублей. Сам пошел в мой кабинет, чтобы найти там денег и мне вынести; но нашел уже офицера в моей спальне, успел только прислать ко мне сказать, чтобы я ехал. Не помню, как меня везли первую станцию. Слуга приятеля моего, рассказав все происшедшее, простился со мною, а я теперь еду, по пословице — куда глаза глядят.

Повесть спутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производились жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так называть всякое неправильное отнятие имения для удовлетворения казенного требования) отнимали у людей имение, честь, жизнь? Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховных власти. Ибо спра-

ведливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна. — Но не могу ли я принять на себя его защиту? Я напишу жалобницу в высшее правительство. Уподроблю все происшествие и представлю неправоудие судивших и невинность страждущего. — Но жалобницы от меня не примут. Спросят, какое я на то имею право; потребуют от меня верующего письма. — Какое имею право? — Страждущее человечество. Человек, лишенный имени, чести, лишенный половины своей жизни, в самовольном изгнании, дабы избежать поносительного заточения. И на сие надобно верующее письмо? От кого? Ужели сего мало, что страдает мой согражданин? — Да и в том нет нужды. Он человек: вот мое право, вот верующее письмо. — О богочеловек! Почто писал ты закон твой для варваров? Они, крестясь во имя твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и; совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денно-ночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго.

Возмущенные соки мыслию стремились, мне спящу, к голове и, тревожа нежный состав моего мозга, возбудили в нем воображение. Несчетные картины представлялись мне во сне, но исчезали, как легкие в воздухе пары. Наконец, как то бывает, некоторое мозговое волокно, тронутое сильно восходящими из внутренних сосудов тела парами, задрожало долее других на несколько времени, и вот что я грезил.

Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле.

Место моего восседания было из чистого золота и хитро искладенными драгими разного цвета камнями блистало лучезарно. Ничто сравниться не могло со блеском моих одежд. Глава моя украшалась венцом лавровым. Вокруг меня лежали знаки, власть мою изъявляющие. Здесь меч лежал на столпе, из серебра изваянном, на коем изображались морские и сухопутные сражения, взятие городов и прочее сего рода; везде видно было вверху имя мое, носимое Гением славы, над всеми сими подвигами парящим. Тут виден был скипетр мой, возлежащий на снопах, обильными класами отягченных, изваянных из чистого золота и природе совершенно подражающих. На твердом коромысле возвешенные зрелися весы. В единой из чаш лежала книга с надписью За-

кон милосердия; в другой книга же с надписью Закон совети. Держава, из единого камня иссеченная, поддерживаема была грудю младенцев, из белого мрамора иссеченных. Венец мой возвышен был паче всего и возлежал на раменах сильного исполина, воскраие же его поддерживаемо было истиною. Огромной величины змия, из светлыя стали искованная, облежала вокруг всего седалища при его подножии и, конец хвоста в зеве держаща, изображала вечность.

Но не единые бездыханные изображения возвещали власть мою и величество. С робким подобострастием и взоры мои ловящи, стояли вокруг престола моего чины государственные. В некотором отдалении от престола моего толпилось бесчисленное множество народа, коего разные одежды, черты лица, осанка, вид и стан различие их илени возвещали. Трепетное их молчание уверяло меня, что они все воле моей подвластны. По сторонам, на несколько возвышенном месте, стояли женщины в великом множестве в прелестнейших и великолепнейших одеждах. Взоры их изъясляли удовольствие на меня смотреть, и желания их стремились на предупреждение моих, если бы они возродились.

Глубочайшее в собрании сем присутствовало молчание, казалось, что все в ожидании были важного какого происшествия, от коего спокойствие и блаженство всего общества зависели. Обращенный сам в себя и чувствуя глубоко вкоренившуюся скуку в душе моей, от насыщающегося скоро единообразия происходящую, я долг отдал естеству и, рот разинув до ушей, зевнул во всю мочь. Все вняли чувствованию души моей. Внезапу смятение распростерло мрачный покров свой по чертам веселия, улыбка улетала со уст нежности и блеск радования с ланит удовольствия. Искаженные взгляды и озиране являли нечаянное нашествие ужаса и предстоящие беды. Слышны были вздохи, колющие предтечи скорби; и уже начинало раздаваться задерживаемое присутствием страха стенание. Уже скорыми в сердца всех стопами шествовало отчаяние и смертные содрогания, самая кончины мучительнее. Тронутый до внутренности сердца толико печальным зрелищем, ланитные мышцы нечувствительно стянулись ко ушам моим и, растягивая губы, произвели в чертах лица моего кривление, улыбке подобное, за коим я чхнул весьма звонко. Подобно как в мрачную атмосферу, густым туманом отягченную, проникает полуденный солнца луч, летит от жизненной его жаркости сгущенная парами влага и, разделенная в составе своем, частию, улегшаяся, стремительно возносится в неизмеримое пространство эфира и частию, удержав в себе одну только

тяжесть земных частиц, падает низу стремительно, мрак, присутствовавший повсюду в небытии светозарного шара, исчезает весь вдруг и, сложив поспешно непроницаемый свой покров, улетает на крылех мгновенности, не оставляя по себе ниже знака своего присутствования, — тако при улыбке моей развеялся вид печали, на лицах всего собрания поселившийся: радость проникла сердца всех быстротечно, и не осталось косого вида неудовольствия нигде. Все начали восклицать:

— Да здравствует наш великий государь, да здравствует навеки. — Подобно тихому полуденному ветру, помавающему листьям дерев и любострастное производящему в дубраве шумление, тако во всем собрании радостное шептание раздавалось. Иной вполголоса говорил:

— Он усмирил внешних и внутренних врагов, расширил пределы отечества, покорил тысячи разных народов своей державе.

Другой восклицал:

— Он обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, он любит науки и искусства, поощряет земледелие и рукоделие.

Женщины с нежностью вешали:

— Он не дал погибнуть тысячам полезных сограждан, избавя их до конца еще гибельные кончины.

Иной с важным видом возглашал:

— Он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание.

Юношество, с восторгом руки на небо простирая, рекло:

— Он милосерд, правдив, закон его для всех равен, он почитает себя первым его служителем. Он законодатель мудрый, судия правдивый, исполнитель ревностный, он паче всех царей велик, он вольность дарует всем.

Речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавались в душе моей. Похвалы сии истинными в разуме моем изображались, ибо сопутствуемы были искренности наружными чертами. Таковыми их приемля, душа моя возвышалась над обыкновенным зрением кругом; в существе своем расширялась и, вся объемля, касалась степеней божественной премудрости. Но ничто не сравнилось с удовольствием самоодобрения при раздавании моих приказаний. Первому военачальнику повелевал я идти с многочисленным войском на завоевание земли, целым небесным поясом от меня отделенной.

— Государь, — отвечивал он мне, — слава единая имени твоего победит народы, оную землю населяющие.

Страх предшествовать будет оружию твоему, и возвращаясь, приносяй дань царей сильных.

Учредителю плавания я рек:

— Да корабли мои рассеются по всем морям, да узрят их неведомые народы; флаг мой да известен будет на Севере, Востоке, Юге и Западе.

— Исполню, государь. — И полетел на исполнение, яко ветр, определенный надувать ветрила корабельные.

— Возвести до дальнейших пределов моя область, — рек я хранителю законов, — се день рождения моего, да ознаменится он в летописях навеки отпущением повсеместным. Да отверзнутся темницы, да изыдут преступники и да возвратятся в дома свои, яко заблудшие от истинного пути.

— Милосердие твое, государь! есть образ всещедрого существа. Бегу возвестить радость скорбящим отцам по чадех их, супругам по супругам их.

— Да воздвигнутся, — рек я первому зодчию, — великолепнейшие здания для убежища мусс, да украсятся подражаниями природы разнообразными; и да будут они ненарушимы, яко небесные жительницы, для них же они уготовляются.

— О премудрый, — отвечал он мне, — егда велениям твоего гласа стихии повиновались и, совокупя силы свои, учреждали в пустынях и на дебрях обширные грады, превосходящие великолепием славнейшие в древности; колико маловажен будет сей труд для ревностных исполнителей твоих велений. Ты рек, и грубые строения припасы уже гласу твоему внемлют.

— Да отверзется ныне, — рек я, — рука щедроты, да излиются остатки избытка на немощствующих, сокровища ненужные да возвратятся к их источнику.

— О всещедрый владыко, всевышним нам дарованный, отец своих чад, обогатитель нищего, да будет твоя воля.

При всяком моем изречении все предстоящие восклицали радостно, и плескание рук не токмо сопровождало мое слово, но даже предупреждало мысль. Единая из всего собрания жена, облегающая твердо о столп, испускала вздохи скорби и являла вид презрения и негодования. Черты лица ее были суровы и платье простое. Голова ее покрыта была шляпою, когда все другие обнаженными стояли главами.

— Кто сия? — вопрошал я близ стоящего меня.

— Сия есть странница, нам неизвестная, именует себя Прямовзорой и глазным врачом. Но есть волхв опаснейший, носяй яд и отраву, радуется скорби и сокрушению;

всегда нахмуренна, всех презирает и поносит; даже не щадит в ругании своем священныя твоя главы.

— Почто ж злодейка сия терпима в моей области? Но о ней завтра. Сей день есть день милости и веселия. Приидите, сотрудники мои в ношении тяжкого бремени правления, примите достойное за труды и подвиги ваши воздаяние.

Тогда, восстав от места моего, возлагал я различные знаки почестей на предстоящих; отсутствующие забыты не были, но те, кои приятным видом словам моим шли во сретение, имели большую во благодеяниях моих долю.

По сем продолжал я мое слово:

— Пойдем, столпы моя державы, опоры моя власти, пойдем усладиться по труде. Достоин бо, да вкусит трудившийся плода трудов своих. Достоин царю вкусити веселия, он же изливает многочисленные всем. Покажи нам путь к уготованному тобою празднеству, — рек я к учредителю веселий. — Мы тебе последуем.

— Постой, — вещала мне странница от своего места, — постой и подойди ко мне. Я — врач, присланный к тебе и тебе подобным, да очисти зрение твое. Какие бельма! — сказала она с восклицанием.

Некая невидимая сила нудила меня идти пред нее, хотя все меня окружавшие мне в том препятствовали, делая даже мне насилие.

— На обоих глазах бельма, — сказала странница, — а ты столь решительно судил о всем. — Потом коснулась обоих моих глаз и сияла с них толстую плену, подобну роговому раствору. — Ты видишь, — сказала она мне, — что ты был слеп, и слеп совершенно. Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проищанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представляются днесь в естественном их виде взорам твоим. Ты проищишь во внутренность сердец. Не утаится более от тебя змия, крыющаяся в излучинах душевных. Ты познаешь верных своих подданных, которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество; которые готовы всегда на твоё поражение, если оно отмстит поработившего человека. Но не возмутят они гражданского покоя безвремению и без пользы. Их призови себе в друзья. Изжени сию гордую чернь, тебе предстоящую и прикрывшую срамоту души своей позлащенными одеждами. Они-то истинные твои злодеи, затмевающие очи твои и вход мне в твои чертоги воспрепятствующие. Един раз являюсь я царям

во все время их царствования, да познают меня в истинном моем виде; но я никогда не оставляю жилища смертных. Пребывание мое не есть в чертогах царских. Стража, обсевшая их вокруг и бдящая деио-ночно стоглазно, воспрещает мне вход в оные. Если когда проинкну сию сплочениую толпу, то, подняв бич гоения, все тебя окружающие тщатся меня изгнать из обиталища твоего; бди убо, да паки не удаюсь от тебя. Тогда словеса ласкательства, ядовитые пары издыхающие, бельма твои паки возродят, и кора, светом испроницаемая, покрывает твои очи. Тогда ослепление твое будет сугубо; едва на шаг один взоры твои досязать будут. Все в веселом являться тебе будет виде. Уши твои не возмутятся стенанием, но усладится слух сладкопением ежечасно. Жертвенные курения обыдут на лествь отверстую душу. Осязанию твоему подлежать будет всегда гладкость. Никогда не раздерет благотворная шероховатость в тебе нервов осязательности. Вострепещи теперь за таковое состояние. Туча вознесется над головой твоей, и стрелы карающего грома готовы будут на твое поражение. Но я, вещаю тебе, поживу в пределах твоего обладания. Егда восхощешь меня видети, егда, осажденная козиями ласкательства, душа твоя взалкает моего взора, воззови меня из твоея отдаленности; где слышен будет твердый мой глас, там меня и обрящешь. Не убойся гласа моего николи. Если из среды народия возникнет муж, порицающий дела твоя, ведай, что той есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит меня тебе. Блудись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя. Призови его, угости его, яко странника. Ибо всяк, порицающий царя в самовластии его, есть странник земли, где все пред ним трепещет. Угости его, вещаю, почти его, да возвратившись возможет он паче и паче глаголати иельстиво. Но таковые твердые сердца бывают редки; едва один в целом столетии явится на светском ристалище. А дабы бдительность твоя не усыплялася негою власти, се кольцо дарую тебе, да возвестит оно тебе твою неправду, когда на нее дерзать будешь. Ибо ведай, что ты первейший в обществе можешь быть убийца, первейший разбойник, первейший предатель, первейший нарушитель общия тишины, враг лютейший, устремляющий злость свою на внутренность слабого. Ты виною будешь, если мать восплачет о сыне своем, убиении на ратном поле, и жена о муже своем; ибо опасность плена едва оправдать может убийство, войною называемое. Ты виною будешь, если запустеет нива, если птенцы земледельца лишатся жизни у тощего без здравья

пищи сосца материя. Но обрати теперь взоры свои на себя и на предстоящих тебе, воззри на исполнение твоих велений, и если душа твоя не содрогнется от ужаса при взоре таком, то отыду от тебя, и чертог твой загладится навсегда в памяти моей.

Изрекшая странницы лицо казалось веселым и вещественным сияющее блеском. Воззрение на нее вливало в душу мою радость. Уже не чувствовал я в ней зыбей тщеславия и надутости высокомерия. Я ощущал в ней тишину; волнение любочестия и обуревание властолюбия ее не касались. Одежды мои, столь блестящие, казались замараны кровию и омочены слезами. На перстах моих виделись мне остатки мозга человеческого; ноги мои стояли в тине. Вокруг меня стоящие являлись того скaredнее. Вся внутренность их казалась черною и стораемою тусклым огнем ненасытности. Они метали на меня и друг на друга искаженные взоры, в коих господствовали хищность, зависть, коварство и ненависть. Военачальник мой, посланный на завоевание, утопал в роскоши и веселии. В войсках подчиненности не было; воины мои почитались хуже скота. Не радели ни о их здравии, ни прокормлении; жизнь их ни во что вменялась; лишались они установленной платы, которая употреблялась на ненужное им украшение. Большая половина новых воинов умирали от небрежения начальников или ненужных и безвременных строгости. Казна, определенная на содержание всеополчения, была в руках учредителя веселостей. Знаки военного достоинства не храбрости были уделом, но подлого раболепия. Я зрел пред собою единого знаменитого по словесам военачальника, коего я отличными почтил знаками моего благоволения; я зрел ныне ясно, что все его отличное достоинство состояло в том только, что он пособием был в насыщении сладострастия своего начальника; и на оказание мужества не было ему даже случая, ибо он издали не видал неприятеля. От таких-то воинов я ждал себе новых венцов. Отвратил я взор мой от тысячи бедств, представившихся очам моим.

Корабли мои, назначенные да прейдут дальнейшие моря, видел я плавающими при устье пристанища. Начальник, полетевший для исполнения моих велений на крылех ветра, простерши на мягкой постеле свои члены, упоился негою и любовию в объятиях наемной возбудительницы его сладострастия. На изготованном велением его чертеже совершенного в мечтании плаванья уже видны были во всех частях мира новые острова, климату их свойственными плодами изобилующие. Обширные земли и многочисленные народы

изрождалися из кисти новых сих путешественников. Уже при блеске ющих святильников начерталося величественное описание сего путешествия и сделанных приобретений слогом цветущим и великолепным. Уже златые диски уготовлялися на одежду столь важного сочинения. О Кук! Почто ты жизнь свою провел в трудах и лишениях? Почто скончал ее плачевным образом? Если бы воссел на сии корабли, то, в веселиях начав путешествие и в веселиях его скончая, столь же бы много сделал открытий, сидя на одном месте (и в моем государстве), толико же бы прославился; ибо ты бы почтен был твоим государем.

Подвиг мой, коим в ослеплении моем душа моя наиболее гордилася, отпущение казии и прощение преступников едва виды были в обширности гражданских деяний. Веление мое или было совсем нарушено, обращая не в ту сторону, или не имело желаемого действия превратным оного толкованием и медлительным исполнением. Милосердие мое сделалось торговлею, и тому, кто давал больше, стучал молот жалости и великодушия. Вместо того чтобы в народе моем чрез отпущение вины прослыть милосердным, я прослыл обманщиком, ханжою и пагубным комедиантом.

— Удержи свое милосердие, — вещали тысячи гласов, — не возвещай нам его великолепным словом, если не хочешь его исполнить. Не соплощай с обидою насмешку, с тяжестию ее ощущение. Мы спали и были покойны, ты возмутил наш сон, мы бдеть не желали, ибо не над чем.

В созидании городов видел я одно расточение государственных казны, нередко омытой кровию и слезами моих подданных. В воздвижении великолепных зданий к расточению нередко присовокупилось и непойятие о истинном искусстве. Я зрел расположение их внутреннее и внешнее без малейшего вкуса. Виды оных принадлежали веку готфов и вандалов. В жилище, для мусс уготованном, не зрел я лиющихся благотворию струев Касталии и Ипокрены, едва пресмыкающееся искусство дерзало возводить свои взоры выше очерченной обычаем округи. Зодчие, согбенные над чертежом здания, не о красоте оного помышляли, но как приобретут ею себе стяжание. Возгнушался я моего пышного тщеславия и отвратил очи мои.

Но паче всего уязвило душу мою изливание моих щедрот. Я мнил в ослеплении моем, что ненужная казна общественная на государственные надобности не может лучше употребиться, как на вспоможение нищего, на одяние нагого, на прокормление алчущего, или на поддержание погибающего противным случаем, или на мзду не радящему о стяжании

достоинству и заслуге. Но сколь прискорбно было видеть, что щедроты мои изливались на богатого, на льстеца, на вероломного друга, на убийцу иногда тайного, на предателя и нарушителя общественной доверенности, на уловившего мое пристрастие, на снисходящего моим слабостям, на жену, кичащуюся своим бесстыдством. Едва-едва досягали слабые источники моего щедроты застенчивого достоинства и стыдливые заслуги. Слезы пролились из очей моих и сокрыли от меня толь бедственные представления безрассудной моей щедроты.

Теперь ясно я видел, что знаки почестей, мною раздаваемые, всегда доставались в удел недостойным. Достоинство неопытное, пораженное первым блеском сих мнимых блаженств, вступало в единый путь с ласкательством и подлостью духа, на снисkanie почестей, вожделенной смертных мечты; но, влача косвенно стопы свои, всегда на первых степенях изнемогало и довольствоваться было осуждаемо собственным своим одобрением, во увереннии, что почести мирские суть пепл и дым. Видя во всем толикую превратность, от слабости моей и коварства министров моих проистекшую, видя, что нежность моя обращалась на жену, ищущую в любви моей удовлетворения своего только тщеславия и внешность только свою на услаждение мое устрояющую, когда сердце ее ощущало ко мне отвращение, — возревел я яростию гнева.

— Недостойные преступники, злодеи! вещайте, почто во зло употребили доверенность господи вашего? предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего. Чем можете оправдать дела ваши? Что скажете во извинение ваше? Се он, его же призову из хижины уничижения. Прииди, — вещал я старцу, коего созерцал в крае обширных моего области кроющегося под заросшею мхом хижиною, — прииди облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму.

Изрекши сие, обратил я взор мой на мой сан, познал обширность моего обязанности, познал, откуда проистекает мое право и власть. Вострепетал во внутренности моей, убоялся служения моего. Кровь моя пришла в жестокое волнение, и я пробудился. Еще не опомнившись, схватил я себя за палец, но тернового кольца на нем не было. О, если бы оно пребывало хотя на мизинце царей!

Властитель мира, если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмурншь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается.

Насилу очнуться я мог от богатырского сна, в котором я столько сгрезил. Голова моя была свинцовой тяжелее, хуже, нежели бывает с похмелья у пьяниц, которые по неделе пьют запоем. Не в состоянии я был продолжать пути и трястись на деревянных дрогах (пружин у кибитки моей не было). Я вынул домашний лечебник; искал, нет ли в нем рецепта от головной дурноты, происходящей от бреда во сне и наяву. Лекарство со мною хотя всегда ездило в запасе, но, по пословице: на всякого мудреца довольно простоты — против бреда я себя не предостерег, и оттого голова моя, приехав на почтовый стан, была хуже болвана.

Вспомнил я, что некогда блаженной памяти нянюшка моя Клементьевна, по имени Прасковья, нареченная Пятница, охотница была до кофею и говаривала, что помогает он от головной боли. Как чашек пять выпью, говаривала она, так и свет вижу, а без того умерла бы в три дни.

Я взялся за нянюшкино лекарство, но, не привыкнув пить вдруг по пяти чашек, попотчевал излишне для меня сваренным молодого человека, который сидел на одной со мной лавке, но в другом углу, у окна.

— Благодарю усердно, — сказал он, взяв чашку с кофеем.

Приветливый вид, взгляд неробкий, вежливая осанка, казалось, пекстаты были к длинному полукафтанью и к помазанному квасом волосам. Извини меня, читатель, в моем заключении, я родился и вырос в столице, и если кто не кудряв и не пудрен, того я ни во что не чту. Если и ты деревенщина и волос не пудришь, то не осуди, буде я на тебя не взгляну и пройду мимо.

Слово за слово, я с новым моим знакомцем поладил. Узнал, что он был из новгородской семинарии и шел пешком в Петербург повидаться с дядею, который был секретарем в губернском штате. Но главное его намерение было, чтоб сыскать случай для приобретения наук.

— Сколь великий недостаток еще у нас в пособиях просвещения, — говорил он мне. — Одно сведение латинского языка не может удовлетворить разума, алчущего науки. Виргилия, Горация, Тита Ливия, даже Тацита почти знаю наизусть, но когда сравню знания семинаристов с тем, что я имел случай, по счастью моему, узнать, то почитаю училище наше принадлежащим к прошедшим столетиям. Классические авторы нам известны, но мы лучше знаем критические объяснения текстов, нежели то, что их доднесь делает приятным, что вечность для них уготовало. Нас учат фило-

софии, проходим мы логику, метафизику, ифику, богословие, но, по словам Кутейкина в «Недоросле», дойдем до конца философского учения и возвратимся вспять. Чему дивиться: Аристотель и схоластика донныне царствуют в семинариях. Я, по счастью моему, знаком стал в доме одного из губернских членов в Новгороде, имел случай приобрести в оном малое знание во французском и немецком языках и пользовался книгами хозяина того дома. Какая разница в просвещении времен, когда один латинский язык был в училищах употребителен, с нынешним временем! Какое пособие к учению, когда науки не суть таинства, для сведущих латинский язык токмо отверсты, но преподаются на языке народном!

— Но для чего, — прервав, он свою речь продолжал, — для чего не заведут у нас вышних училищ, в которых бы преподавались науки на языке общественном, на языке российском? Учение всем бы было внятнее; просвещение доходило бы до всех поспешнее, и одним поколением позже за одного латинщика нашлось бы двести человек просвещенных; по крайней мере в каждом суде был бы хотя один член, понимающий, что есть юриспруденция или законоучение.

— Боже мой! — продолжал он с восклицанием, — если бы привести примеры из размышлений и разглагольствований судей наших о делах! Что бы сказали Гроций, Монтескью, Блекстон!

— Ты читал Блекстона?

— Читал первые две части, на российский язык переведенные. Не худо бы было заставлять судей наших иметь сию книгу вместо святцев, заставлять их чаще в нее заглядывать, нежели в календарь. Как не потужить, — повторил он, — что у нас нет училищ, где бы науки преподавались на языке народном.

Вошедший почталион помешал продолжению нашей беседы. Я успел семинаристу сказать, что скоро желание его исполнится, что уже есть повеление о учреждении новых университетов, где науки будут преподаваться по его желанию:

— Пора, государь мой, пора...

Между тем как я платил почталиону прогонные деньги, семинарист вышел вон. Выходя, выронил небольшой пук бумаги. Я поднял упавшее и не отдал ему. Не обличь меня, любезный читатель, в моем воровстве; с таким условием я и тебе сообщу, что я подтибрил. Когда же прочтешь, то знаю, что кражи моей наружу не выведешь; ибо не тот один вор, кто крал, но и тот, что принимал, — так писано в зако-

не русском. Признаюсь, я на руку нечист; где что немного похожее на рассудительное увижу, то тотчас стяну; смотри, ты не клади мыслей плохо. — Читай, что мой семинарист говорит:

«Кто мир нравственный уподобил колесу, тот, сказав великую истину, не иное что, может быть, сделал, как взглянул на круглый образ земли и других великих в пространстве носящихся тел, изрек только то, что зрел. Поступая в познании естества, откроют, может быть, смертные тайную связь веществ духовных или нравственных с веществами телесными или естественными; что причина всех перемен, превращений, превратностей мира нравственного или духовного зависит, может быть, от кругообразного вида нашего обиталища и других к солнечной системе принадлежащих тел, равно, как и оно, кругообразных и коловращающихся...»

На мартиниста похоже, на ученика Шведенборга... Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюсь тебе, как отцу духовному, я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цыфири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным виятиям. Когда умру, будет время довольно на неосозательность, и душенька моя набродится досыта.

Оглянись назад, кажется, еще время то за плечами близко, в которое царствовало суеверие и весь его причет: невежество, рабство, инквизиция и многое кое-что. Давно ли то было, как Вольтер кричал против суеверия до безголосицы. давно ли Фридрих неуголимый был враг не токмо словом своим и деяниями, но, что для него страшнее, державным своим примером. Но в мире сем все приходит на прежнюю степень, ибо все в разрушении свое имеет начало. Животное, прозябаемое, рождается, растет, дабы произвести себе подобных, потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются во грады, основывают царства, мушают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места пребывания их не видно; даже имена их погибнут. Христианское общество вначале было смиренно. кротко, скрывалось в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалось суеверию, в исступлении шло стезею, народам обыкновенною воздвигло начальника, расширило его власть, и папа стал всемогущий из

царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие; истина нашла любителей, попраля огромный оплот предрассуждений, но не долго пребыла в сей стезе. Вольность мыслей вдалась необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию. Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл; когда задачею любомудрия почиталось и на решение исследователей истины отдавали вопрос, сколько на игольном острии может уместиться душ.

Если потомкам нашим предлежит заблуждение, если, оставя естественность, гоняться будут за мечтаниями, то весьма полезный бы был труд писателя, показавшего нам из прежних деяний шествие разума человеческого, когда, сотрясший мглу предубеждений, он начал преследовать истину до выпренности ее и когда, утомленный, так сказать, своим бодрствованием, растлевать начинал паки свои силы, томиться и ниспускаться в туманы предрассудков и суеверия. Труд сего писателя бесполезен не будет: ибо, обнажая шествие наших мыслей к истине и заблуждению, устранил хотя некоторых от пагубных стези и заградит полет невежества; блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого, блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель.

Счастливыми назваться мы можем: ибо не будем свидетели крайнего посрамления разумных твари. Ближние наши потомки счастливее нас еще быть могут. Но пары, в грязи омерзения почившие, уже воздымаются и предопределяются объяти зрения круг. Блаженны, если не узрим нового Магомета, час заблуждения еще отдалится. Внемли, когда в умствованиях, когда в суждениях о вещах нравственных и духовных начинается ферментация и восстает муж твердый и предприимчивый на истину или на прельщение, тогда последует премена царств, тогда премена в исповеданиях.

На лестнице, по которой разум человеческий нисходит, долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.

Бродя из умствования в умствование, о возлюбленные,

блюдитесь, да не вступите на путь следующих исследований.

Вещал Акиба: вошед по стезе Равви Иозуа в сокровенное место, я познал тройственное. Познал 1-е: не на восток и не на запад, но на север и юг обращаться довлеет. Познал 2-е: не на ногах стоящему, но восседая надлежит испражняться. Познал 3-е: не десницею, но шуйцею отирать надлежит задняя. На сие возразил Бен Газас: дотоле обессудил еси чело свое на учителя, да извергающего присматривал! Ответствовал он: сии суть таинства закона; и нужно было, да сотворю сотворенное и их познаю.

Смотри Белев словарь, статью Акиба.

НОВГОРОД

Гордитесь, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом не переменным. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. — Где пышная Троя, где Карфага? — Едва ли видно место, где гордо они стояли. — Куртятся ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах древнего Египта? Великолепные оных остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиленного зноя. Не радостными слезами благодарения всевышнему отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О! гордость, о! надменность человеческая, воззри на сие и познай, koliko ты ползуца!

В таковых размышлениях подъезжал я к Новугороду, смотря на множество монастырей, вокруг одного лежащих.

Сказывают, что все сии монастыри, даже и на пятнадцать верст расстоянием от города находящиеся, заключались в оном; что из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у их были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече был истинный государь. Область Новгородская простиралась на севере да-

же за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь: кто может стать против бога и великого Новгорода — служить может доказательством его могущества. Торговля была причиною его возвышения. Внутренние несогласия и хищный сосед совершили его падение.

На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича, по взятии Новгорода. Уязвленный сопротивлением сия республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящ, так иные повествуют, приносяй на жертву ярости своей старейших и начальников новгородских. Но какое он имел право свирепствовать против них; какое он имел право присвоить Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в сем городе? Или что он писался царем всея Руси? Или что новгородцы были славенского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлется кровию народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов; нередко имеют на него ссылку; но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда возникают между ними вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и апелляции на оное нет. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. Нужда, желание безопасности и сохранности создают царства; разрушают их несогласие, унижение и сила.

Что ж есть право народное? — Народы, говорят законоучители, находятся один в рассуждении другого в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии.

Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права?

Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвоает. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое.

Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, — кто из двух большее к приобретению имеет право?

Ответ: тот, кто кусок возьмет.

Вопрос: кто же возьмет кусок?

Ответ: кто сильнее.

Неужели сие есть право естественное, неужели се основные права народного?

Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом.

Вопрос: что есть право гражданское?

Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить.

ИЗ ЛЕТОПИСИ НОВОГОРОДСКОЙ

Новгородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение.

Новгородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное пятидесятью осьмино печатями.

Новгородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение.

Новгород в 1420 году начал бить свою монету.

Новгород стоял в Ганзейском союзе.

В Новгороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных.

Царь Иван письмо и колокол у новгородцев отнял.

Потом. В 1500 году — в 1600 году — в 1700 году — году — году Новгород стоял на прежнем месте.

Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, не смотря на то, что под ногами, то скоро споткнусь и упаду в грязь... размышлял я. Как ни тужи, а Новгорода по-прежнему не населишь. Что бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементьичу.

— Ба! ба! ба! добро пожаловать, откуда бог принес, — говорил мне приятель мой Карп Дементьич, прежде сего купец третьей гильдии, а ныне именитый гражданин. — По половице, счастливый к обеду. Милости просим садиться.

— Да что за пир у тебя?

— Благодетель мой, я женил вчера парня своего.

Благодетель твой, подумал я, не без причин он меня так величает. Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю 1000 рублей, кому, того не знаю, с 1737 году. Карп Дементьич в 1780 вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчим, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятый капитал мне весь подарили Карп Дементьич человек признательный.

— Невестка, водки нечаянному гостю.

— Я водки не пью.

— Да хотя прикушай. Здоровья молодых... — и сели ужинать.

По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементыч свою молодую невестку.

...Прервем речь, читатель. Дай мне карандаш и листочек бумажки. Я тебе во удовольствие нарисую всю честную компанию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушке, хотя бы ты на Алеутских островах бобров ловил. Если точных не спишу портретов, то доволен буду их силуэтами. Лаватер и по ним учит узнавать, кто умен и кто глуп.

Карп Дементыч — седая борода, в восемь вершков от нижней губы. Нос кляпом, глаза ввалились, брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает: благодетель мой.

Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга. В шестьдесят лет бела как снег и красна как маков цвет, губки всегда сжимает кольцом; ренского не пьет, перед обедом полчарочки при гостях да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяину на счете показывает... По приказанию Аксиньи Парфентьевны куплено годового запаса 3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян листовых... Приказчики мужнины — Аксиньины камердинеры.

Алексей Карпович, сосед мой застольный. Ни уса, ни бороды, а нос уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. На аршин когда меряет, то спускает на вершок; за то его отец любит, как сам себя; на пятнадцатом году матери дал оплеуху.

Парасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна. Зубы как уголь. Брови в нитку, чернее сажи. В компании сидит потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни; — а у кого догадка есть, тот знает за что.

Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно, видно, мне снимать силуэты. Твоя правда; другого не будет, как нос да нос, губы да губы. Я и того не понимаю, как ты на силуэте белилы и румяна распознаешь.

— Карп Дементыч, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не едешь, льну не привозишь, ни сахару, ни кофе, ни красок не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток.

— От него-то было я и разорился. Но насилу бог спас. Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил здесь дом. На следующий год был льну неурожай, и я не мог поставить, что законтрактовал. Вот отчего я торговать перестал.

— Помню, Карп Дементьич, что за тридцать тысяч рублей, забранных вперед, ты тысячу пуд льну прислал должникам на раздел.

— Ей, больше не можно было, поверь моей совести.

— Конечно, и на заморские товары был в том году неурожай. Ты забрал тысяч на двадцать... Да, помню; на них пришла головная боль.

— Подлинно, благодетель, у меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут заимодавцы мон на меня жаловаться? Я им отдал все мое имение.

— По три копейки на рубль.

— Никкак нет-ста, по пятнадцати.

— А жинн дом?

— Как мне до него коснуться: он не мой.

— Скажи же, чем ты торгуешь?

— Ничем, ей, ничем. С тех пор как я пришел в несостоянные, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на двадцать тысяч.

— На будущее, конечно, законтрактует на пятьдесят, возьмет половинну денег вперед и молодой жене построит дом...

Алексей Карпович только что улыбается:

— Старинный шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки; возьмемся за дело.

— Я не пью, ты знаешь.

— Да хоть прикушай.

Прикушай, прикушай, — я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть, и под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но, по счастью, век за столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу, на свадебном пиру я был трезв.

Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышление. Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением; почитал счастливым новых времен изобретением для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народам на ум не приходило. Но отчего же, буде нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно

тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, ужели бы торговля исчезла? Не взаимоотношения ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пешился долженствует, о заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах человечества заслуживает уважения, заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того что не знал, кому доверил, или должник в оковах и в темнице. С одной стороны — легковёрность, с другой — почти воровство. Тот поверил, надеялся на строгое законоположение, а сей... А если бы взыскание по векселям не было столь строгое? Не было бы места легковерию, не было бы, может быть, плутовства в вексельных делах...

Я начал опять думать, прежняя система пошла к черту, и я лег спать с пустою головою.

БРОННИЦЫ

Между тем как в кибитке моей лошадей переменяли, я захотел посетить высокую гору, близ Бронниц находящуюся, на которой, сказывают, в древние времена, до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившийся тогда издаваемыми в оном прорицаниями, для слышания коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте славного древнего капища построена малая церковь.

Восходя на гору, я вообразил себя преселенного в древность и пришедшего, да познаю от державного божества грядущее и обрящу спокойствие моей нерешимости. Божественный ужас объемлет мои члены, грудь моя начинает воздыматься, взоры мои тупеют, и свет в них меркнет. Мне слышится глас, грому подобный, вещая:

— Безумный! почто желаешь познати тайну, которую я сокрыл от смертных непроницаемым покровом неизвестности? Почто, о дерзновенный! познати жаждешь то, что едина мысль предвечная постигать может? Ведай, что неизвестность будущего соразмерна бренности твоего сложения. Ведай, что предузнанное блаженство теряет свою сладость долговременным ожиданием, что прелестность настоящего веселия нашед утомленные силы, немощна произвести в душе столь приятного дрожания, какое веселие получает от нечаянности. Ведай, что предузнанная гибель отнимает безвременно спокойствие, отравляет утеху, ими же наслаждался бы, если бы окончания их не предугнал. Че-

го ищешь, чадо безрассудное? Премудрость моя все нужное насадила в разуме твоём и сердце. Вопросы их во дни печали и обрящешь утешителей. Вопросы их во дни радости и найдешь обуздателей наглого счастья. Возвратись в дом свой, возвратись к семье своей; успокой встревоженные мысли; вниди во внутренность свою, там обрящешь мое божество, там услышишь мое вещание. — И треск сильного удара, гремящего во власти Перуна, раздался в долинах далеко.

Я опомнился. Достиг вершины горы и, узрев церковь, возвел я руки на небо.

— Господи, — возопил я, — се храм твой, се храм, вещают, истинного, единого бога. На месте сем, на месте твоего ныне пребывания, повествуют, стоял храм заблуждения. Но не могу поверить, о всесильный! чтобы человек мольбу сердца своего воссылал ко другому какому-либо существу, а не к тебе. Мощная десница твоя, невидимо всюду простертая, и самого отрицателя всемогущия воли твоя нудит признавати природы строителя и содержателя. Если смертный в заблуждении своем странными, непристойными и зверскими нарицает тебя именованиями, почитание его, однако же, стремится к тебе, предвечному, и он трепещет пред твоим могуществом. Егова, Юпитер, Брама; бог Авраама, бог Моисея, бог Конфуция, бог Зороастра, бог Сократа, бог Марка Аврелия, бог христиан, о бог мой! ты един повсюду. Если в заблуждении своем смертные, казалось, не тебя чтили единого, но боготворили они твои несравненные силы, твои неуподобляемые дела. Могущество твое, везде и во всем ощущаемое, было везде и во всем поклоняемо. Безбожник, тебя отрицающий, признавая природы закон непременный, тебе же приносит тем хвалу, хваля тебя паче нашего песнопения. Ибо, проникнутый до глубины своя изящностию твоего творения, ему предстоит трепетен. Ты ищешь, отец всещедрый, искреннего сердца и души непорочной; они отверсты везде на твое пришествие. Сниди, господи, и воцарися в них.

И пребыл я несколько мгновений, отриновен окрестных мне предметов, нисшед во внутренность мою глубоко. Возвед потом очи мои, обратив взоры на близь стоящие селения:

— Се хижины унижения, — вещал я, — на месте, где некогда град великий гордые возносил свои стены. Ни малейшего даже признака оных не осталось. Рассудок претит имети веру и самой повести: столь жаждущ он убедительных и чувственных доводов. И все, что зрим, преидет; все ру-

шится, все будет прах. Но некий тайный глас вещает мне, пребудет нечто вовеки живо.

С течением времен все звезды помрачатся,
померкнет солнца блеск; природа, обветшав
лет дряхлостью, падет.
Но ты во юности бессмертной процветешь,
незыблемый среди сражения стихиев,
развалин вещества, миров всех разрушенья¹.

ЗАЙЦОВО

В Зайцове на почтовом дворе нашел я давнышнего моего приятеля г. Крестьянкина. Я с ним знаком был с ребячества. Редко мы бывали в одном городе; но беседы наши, хотя не часты, были, однако же, откровенны. Г. Крестьянкин долго находился в военной службе и, наскучив жестокостями оной, а особливо во время войны, где великие насилия именем права войны прикрываются, перешел в статскую. По несчастию его, и в статской службе не избежал того, от чего, оставляя военную, удалиться хотел. Душу он имел очень чувствительную и сердце человеколюбивое. Дознанные его столь превосходные качества доставили ему место председателя уголовной палаты. Сперва не хотел он на себя принять сего звания, но, помыслив несколько, сказал он мне:

— Мой друг, какое обширное поле отверзается мне на удовлетворение любезнейшей склонности моего души! какое упражнение для мягкосердия! Сокрушим скипетр жестокости, который столь часто тягчит рамена невинности; да опустеют темницы и да не узрит их оплошная слабость, нерадивая неопытность, и случай во злодеяние да не вменится николи. О мой друг! исполнением моего должности источу слезы родителей о чадах, воздыхания супругов; но слезы сии будут слезы обновления во благо; но иссякнут слезы страждущей невинности и простодушия. Колико мысль сия меня восхищает. Пойдем, ускорим отъезд мой. Может быть, скорее прибытие мое там нужно. Замедля, могу быть убийцею, не предупреждая заключения или обвинения прощением или разрешением от уз.

С таковыми мыслями поехал приятель мой к своему месту. Сколь же много удивился я, узнав от него, что он оставил службу и намерен жить всегда в отставке.

¹ Смерть Катонина, трагедия Едессонова, дейс. V, явлен. I.

— Я думал, мой друг, — говорил мне г. Крестьянкин, — что усаждающую рассудок и обильную найду жатву в исполнении моей должности. Но вместо того нашел я в оной желчь и терние. Теперь, наскучив оною, не в силах будучи делать добро, оставил место истинному хищному зверю. В короткое время он заслужил похвалу скорым решением залежавшихся дел; а я прослыл копотким. Иные почитали меня иногда мздоимцем за то, что не спешил отягчить жребия несчастных, впадающих в преступление нередко поневоле. До вступления моего в статскую службу приобрел я лестное для меня название человеколюбивого начальника. Теперь самое то же качество, коим сердце мое толико гордилось, теперь почитают послаблением или непозволительною понововкою. Видел я решения мои осмеянными в том самом, что их изящными делало; видел их оставляемыми без действия. С презрением взирал, что для освобождения действительного злодея и вредного обществу члена или дабы наказать мнимые преступления лишением имени, чести, жизни начальник мой, будучи не в силах меня преклонить на незаконное очищение злодейства или обвинение невинности, преклонял к тому моих сочленов, и нередко я видел благие мои расположения исчезающими, яко дым в пространстве воздуха. Они же, во мзду своего гнусного послушания, получили почести, кои в глазах моих столь же были тусклы, сколь их прельщали своим блеском. Нередко в затруднительных случаях, когда уверение в невинности названного преступником меня побуждало на мягкосердие, я прибегал к закону, дабы искати в нем подпору моей нерешимости; но часто в нем находил вместо человеколюбия жестокость, которая начало свое имела не в самом законе, но в его обветшалости. Несоразмерность наказания преступлению часто извлекала у меня слезы. Я видел (да и может ли быть иначе), что закон судит о деяниях, не касаясь причин, оные производивших. И последний случай, к таковым деяниям относящийся, понудил меня оставить службу. Ибо, не возмогши спасти виновных, мощною судьбы рукою в преступление вовлеченных, я не хотел быть участником в их казни. Не возмогши облегчить их жребия, омыл руки мои в моей невинности и удалился жестокосердия.

В губернии нашей жил один дворянин, который за несколько уже лет оставил службу. Вот его послужной список. Начал службу свою при дворе истошником, произведен лакеем, камер-лакеем, потом мундшенком, какие достоинства надобны для прехождения сих степеней придворных служб, мне неизвестно. Но знаю то, что он вино любил до послед-

него издыхания. Пробыв в мундшенках лет 15, отослан был в герольдию, для определения по его чину. Но он, чувствуя свою неспособность к делам, выпросился в отставку и награжден чином коллежского асессора, с которым он приехал в то место, где родился, то есть в нашу губернию, лет шесть тому назад. Отличная привязанность к своей отчизне нередко основание имеет в тщеславии. Человек низкого состояния, добившийся в знатность, или бедняк, приобретший богатство, сотрясши всю стыдливости застенчивость, последний и слабейший корень добродетели, предпочитает место своего рождения на распростертые своея пышности и гордыни. Там скоро асессор нашел случай купить деревню, в которой поселился с немалою своею семьею. Если бы у нас родился Гогард, то бы обильное нашел поле на карикатуры в семействе г. асессора. Но я худой живописец; или если бы я мог в чертах лица читать внутренности человека с Лаватеровою проницательностью, то бы и тогда картина асессоровой семьи была примечания достойна. Не имея сих свойств, заставляю вещать их деяния, кои всегда истинные суть черты душевного образования.

Г. асессор, произошед из самого низкого состояния, зрел себя повелителем нескольких сотен себе подобных. Сие вскружило ему голову. Не один он жаловаться может, что употребление власти вскружает голову. Он себя почел высшего чина, крестьян почитал скотами, данными ему (едва не думал ли он, что власть его над ними от бога проистекает), да употребляет их в работу по произволению. Он был корыстолюбив, копил деньги, жесток от природы, вспыльчив, подл, а потому над слабейшими его надменен. Из сего судить можешь, как он обходился с крестьянами. Они у прежнего помещика были на оброке, он их посадил на пашню; отнял у них всю землю, скотину всю у них купил по цене, какую сам определил, заставил работать всю неделю на себя, а дабы они не умирали с голоду, то кормил их на господском дворе; и то по одному разу в день, а иным давал из милости мясину. Если который казался ему ленив, то сек розгами, плетью, батожем или кошками, смотря по мере лености; за действительные преступления, как то — кражу не у него, но у посторонних, не говорил ни слова. Казалось, будто хотел в деревне своей возобновить нравы древнего Лакедемона или Запорожской сечи. Случилось, что мужики его для пропитания на дороге ограбили проезжего, другого потом убили. Он их в суд за то не отдал, но скрыл их у себя, объявля правительству, что они бежали; говоря, что ему прибыли не будет, если крестьянина его высекут

кнутом и сошлют в работу за злодеяние. Если кто из крестьян что-нибудь украл у него, того он сек как за ленность или за дерзкий или остроумный ответ, но сверх того надевал на ноги колодки, кандалы, а на шею рогатку. Много бы мог я тебе рассказать его мудрых распоряжений; но сего довольно для познания моего ироя. Сожительница его полную власть имела над бабами. Помощниками в исполнении ее велений были ее сыновья и дочери, как то и у ее мужа. Ибо сделали они себе правилом, чтобы ни для какой нужды крестьян от работы не отвлекать. Во дворе людей было один мальчик, купленный им в Москве, парикмахер дочернин да повариха-старуха. Кучера у них не было, ни лошадей; разъезжал всегда на пахотных лошадях. Плетьми или кошками секли крестьян сами сыновья. По щекам били или за волосы таскали баб и девок дочери. Сыновья в свободное время ходили по деревне или в поле играть и бесчинничать с девками и бабами, и никакая не избегала их насилия. Дочери, не имея женихов, вымещали свою скуку над прядильницами, из которых они многих изувечили.

Суди сам, мой друг, какой конец мог быть таковым поступкам. Я заметил из многочисленных примеров, что русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость. Сие самое и случилось с ассессором. Случай к тому подал неистовый и беспутный или, лучше сказать, зверский поступок одного из его сыновей.

В деревне его была крестьянская девка, недурна собою, сговоренная за молодого крестьянина той же деревни. Она понравилась среднему сыну ассессора, который употребил все возможное, чтобы ее привлечь к себе в любовь; но крестьянка верна пребывала в данном жениху ее обещании, что хотя редко в крестьянстве случается, но возможно. В воскресенье должно было быть свадьбе. Отец жениха, по введенному у многих помещиков обычаю, пошел с сыном на господский двор и понес повенечные два пуда меду к своему господину. Сию-то последнюю минуту дворянчик и хотел употребить на удовлетворение своей страсти. Взял с собой обоих своих братьев и, вызвав невесту чрез постороннего мальчика на двор, потащил ее в клеть, зажав ей рот. Не будучи в силах кричать, она сопротивлялась всеми силами зверскому намерению своего молодого господина. Наконец, превозможенная всеми тремя, принуждена была уступить силе; и уже сие скaredное чудовище начинал исполнением умышленное, как жених, возвратившись из господского до-

ма, вошел во двор и, увидя одного из господчиков у клетки, усумнился о их злом намерении. Кликнув отца своего к себе на помощь, он быстрее молнии полетел ко клетке. Какое зрелище представилося ему. При его приближении затворилась клетка; но совокупные силы двух братьев неможны были удержать стремления разъяренного жениха. Он схватил близлежащий кол и, вскоча в клетку, ударил вдоль спины хищника своею невесты. Они было хотели его схватить, но, видя отца женихова, бегущего с колом же на помощь, оставили свою добычу, выскочили из клетки и побежали. Но жених, догнав одного из них, ударил его колом по голове и ее проломил.

Сии злодеи, желая отомстить свою обиду, пошли прямо к отцу и сказали ему, что, ходя по деревне, они встретились с невестою, с ней пошутили; что, увидя, жених ее начал их бить, будучи вспомагаем своим отцом. В доказательство показывали проломленную у одного из братьев голову. Раздраженный до внутренности сердца болезнию своего рождения, отец воскипел гневом ярости. Немедля велел привести пред себя всех трех злодеев — так он называл жениха, невесту и отца женихова. Представшим им пред него первый вопрос его был о том, кто проломил голову его сыну. Жених в сделанном не отперся, рассказав все происшествие.

«Как ты дерзнул. — говорил старый асессор, — поднять руку на твоего господина? А хотя бы он с твоею невестою и ночь переспал накануне твоей свадьбы, то ты ему за это должен быть благодарен. Ты на ней не женишься; она у меня останется в доме, а вы будете наказаны».

По таковом решении жениха велел он сечь кошками немилосердно, отдав его в волю своих сыновей. Побой вытерпел он мужественно; неробким духом смотрел, как начали над отцом его то же производить истязание. Но не мог вытерпеть, как он увидел, что невесту господские дети хотели вести в дом. Наказание происходило на дворе. В одно мгновение выхватил он ее из рук, ее похищающих, и освобожденные побежали оба со двора. Сие видя, барские сыновья перестали сечь старика и побежали за ними в погоню. Жених, видя, что они его настигать начали, выхватил заборину и стал защищаться. Между тем шум привлек других крестьян ко двору господскому. Они, соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, асессор, подбежав сам, начал их бранить и первого, кто встретился, ударил своею тростию столь сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом к общему наступлению. Они окружили всех

четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте. Толико ненавидели они их, что ни один не хотел миновать, чтобы не быть участником в сем убийстве, как то они сами после призналися.

В самое то время случилось ехать тут исправнику той округи с командою. Он был частью очевидным свидетелем сему происшествию. Взяв виновных под стражу, а виновных было половина деревни, произвел следствие, которое постепенно дошло до уголовной палаты. Дело было выведено очень ясно, и виновные во всем призналися, в оправдание свое приводя только мучительские поступки своих господ, о которых уже вся губерния была известна. Таковому делу я обязан был по долгу моего звания положить окончательное решение, приговорить виновных к смерти и вместо оной к торговой казни и вечной работе.

Рассматривая сие дело, я не находил достаточной и убедительной причины к обвинению преступников. Крестьяне, убившие господина своего, были смертоубийцы. Но смертоубийство сие не было ли принужденно? Не причиною ли оного сам убитый ассессор? Если в арифметике из двух данных чисел третье следует непрекословно, то и в сем происшествии следствие было необходимо. Невинность убийц, для меня по крайней мере, была математическая ясность. Если, идущу мне, нападёт на меня злодей и, вознесши над головою моею кинжал, восхочет меня им пронзить, — убийцею ли я почтуся, если я предупрежду его в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну? Если нынешнего века скосырь, привлекий должное на себя презрение, восхочет оное на мне отомстить и, встретясь со мною в уединенном месте, вынув шпагу, сделает на меня нападение, да лишит меня жизни или, по крайней мере, да уязвит меня, — виновен ли я буду, если, извлеки мой меч на защищение мое, я избавлю общество от тревожащего спокойствие его члена? Можно ли почесть деяние оскорбляющим сохранность члена общественного, если я исполню его для моего спасения, если оно предупредит мою пагубу, если без того благосостояние мое будет плачевно навски?

Исполнен таковыми мыслями, можешь сам вообразить терзание души моей при рассмотрении сего дела. С обыкновенною откровенностью сообщил я мои мысли моим сочленам. Все возопили против меня единым гласом. Мягкосердие и человеколюбие почитали они виновным защищением злодеяний; называли меня поощрителем убийства; называли меня сообщником убийцев. По их мнению, при распространении моих вредных мнений исчезнет домашняя сохран-

ность. Может ли дворянин, говорили они, отныне жить в деревне покоен? Может ли он видеть веления его исполняемы? Если послушники воли господина своего, а паче его убийцы невинными признаваемы будут, то повиновение прервется, связь домашняя рушится, будет паки хаос, в начальных обществах обитающий. Земледелие умрет, орудия его сокрушатся, нива запустеет и бесплодным прорастет злаком; поселяне, не имея над собою власти, скитаться будут в лености, тунеядстве и разьидутся. Города почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло, рукоделия скончает свое прилежание и рачительность, торговля иссякнет в источнике своем, богатство уступит место скаредной нищете, великолепнейшие здания обветшают, законы затмятся и порастут недействительностию. Тогда огромное сложение общества начнет валиться на части и издыхати в отдаленности от целого; тогда престол царский, где ныне опора, крепость и сопряжение общества зиждуются, обветшает и сокрушится; тогда владыка народов почтется простым гражданином, и общество узрит свою кончину. Сию достойную адския кисти картину тщилися мои сотоварищи предлагать взорам всех, до кого слух о сем деле доходил.

«Председателю нашему, — вещали они, — сродно защищать убийство крестьян. Спросите, какого он происхождения? Если не ошибаемся, он сам в молодости своей изволил ходить за сохою. Всегда новостатейные сии дворянчики странные имеют понятия о природном над крестьянами дворянском праве. Если бы от него зависело, он бы, думаем, всех нас поверстал в однодворцы, дабы тем уравнять с нами свое происхождение».

Таковыми-то словами мнили сотоварищи мои оскорбить меня и ненавистным сделать всему обществу. Но сим не удовольствовались. Говорили, что я принял мзду от жены убитого асессора, да не лишится она крестьян своих отсылкою их в работу, и что сия-то истинная была причина странным и вредным моим мнениям, право всего дворянства вообще оскорбляющим. Несмысленные думали, что посмеяние их меня уязвит, что клевета поругает, что лживое представление доброго намерения от одного меня отвлечет! Сердце мое им было неизвестно. Не знали они, что нетрепетен всегда предстою собственному моему суду, что ланиты мои не рдели багровым румянцем совести.

Мздоимство мое основали они на том, что асессорша за мужнину смерть мстить не желала, а, сопровождаема своею корыстию и следуя правилам своего мужа, желала крестьян

избавить от наказания, дабы не лишиться своего имения, как то она говорила. С таковою просьбою она приезжала и ко мне. На прощение за убийство ее мужа я с ней был согласен; но разиствовали мы в побуждениях. Она уверяла меня, что сама довольно их накажет; а я уверял ее, что, оправдывая убийцев ее мужа, не надлежало их подвергать более той же крайности, дабы паки не были злодеями, как то их называли несвойственно.

Скоро *наместник* известей стал о моем по сему делу мнении, известен, что я старался преклонить сотоварищей моих на мои мысли и что они начинали колебаться в своих рассуждениях, к чему, однако же, не твердость и убедительность моих доводов способствовали, но деньги ассессорши. Будучи сам воспитан в правилах неоспоримой над крестьянами власти, с моими рассуждениями он не мог быть согласен и вознегодовал, усмотрев, что они начинали в суждении сего дела преимуществовать, хотя ради различных причин. Посылает он за моими сочленами, увещевает их, представляет гнусность таких мнений, что они оскорбительны для дворянского общества, что оскорбительны для верховной власти, нарушая ее законоположения; обещает награждение исполняющим закон, претя мщением не повинующимся оному; и скоро сих слабых судей, не имеющих ни правил в размышлениях, ни крепости духа, преклоняет на прежние их мнения. Не удивился я, увидев в них перемену, ибо не дивился и прежде в них воспоследовавшей. Сродно хвильным, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться ее приветствию.

Наместник наш, превратив мнения моих сотоварищей, вознамерился и ласкал себя, может быть, превратить и мое. Для сего намерения позвал меня к себе поутру в случившийся тогда праздник. Он принужден был меня позвать, ибо я не хаживал никогда на сии безрассудные поклонения, которые гордость почитает в подчиненных должностно, лестныжными, а мудрец мерзительными и человечеству поносными. Он избрал нарочно день торжественный, когда у него много людей было в собрании; избрал нарочно для слова своего публичное собрание, надеясь, что тем разительнее убедит меня. Он надеялся найти во мне или боязнь души, или слабость мыслей. Против того и другого устремил он свое слово. Но я за нужное не нахожу пересказывать тебе все то, чем надменность, ощущение власти и предубеждение к своему проницанию и учениости одушевляло его витийство. Надменности его отвечал я равнодушием и спокойствием, власти непоколебимостию, доводам дово-

дами и долго говорил хладнокровно. Но наконец содрогшееся сердце разлило свое избыточество. Чем больше видел я угождения в предстоящих, тем порывистее становился мой язык. Незыблемым гласом и звонким произношением возопил я наконец сице.

«Человек рождается в мир равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю. Следственно, человек без отношения к обществу есть существо, ни от кого не зависящее в своих деяниях. Но он кладет оным преградой, согласуется не во всем своей единой повиноваться воле, становится послушен велениям себе подобного, словом, становится гражданином. Какая же ради вины обуздывает он свои хотения? почто поставляет над собою власть? почто, беспределен в исполнении своей воли, послушания чертою оную ограничивает? Для своей пользы, скажет рассудок; для своей пользы, скажет внутреннее чувство; для своей пользы, скажет мудрое законоположение. Следственно, где нет его пользы быть гражданином, там он и не гражданин. Следственно, тот, кто восхощет его лишить пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сложения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние. Убийенный крестьянами асессор нарушил в них право гражданина своим зверством. В то мгновение, когда он потакал насилию своих сыновей, когда он к болезни сердечной супругов присовокуплял поругание, когда на казнь подвигался, видя сопротивление своему адскому властвованию, — тогда закон, стрегущий гражданина, был в отдаленности, и власть его тогда была неощутительна; тогда возрождался закон природы, и власть обиженного гражданина, не отъемлемая законом положительным в обиде его, приходила в действительность; и крестьяне, убившие зверского асессора, в законе обвинения не имеют. Сердце мое их оправдает, опираясь на доводы рассудка, и смерть асессора, хотя насильственная, есть правильна. Да не возмнит кто-либо искать в благоразумии политики, в общественной тишине довода к осуждению на казнь убийцев в злобе дух испустившего асессора. Гражданин, в каком бы состоянии небо родиться ему ни судило, есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право

природы, яко обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда; и тот, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник. Горе ему, если закон гражданский его не накажет. Он замечен будет чертою мерзвения в своих согражданах, и всяк, имеяй довольно сил, да отмстит на нем обиду, им соделанную».

Умолк. Наместник не говорил мне ни слова; изредка подымал на меня поникшие взоры, где господствовала ярость бессилия и мести злорадия. Все молчали в ожидании, что, оскорбитель всех прав, я взят буду под стражу. Изредка из уст раболепия слышалось журчание негодования. Все отвращали от меня свои очи. Казалось, что близстоящих меня объял ужас. Неприметно удалились они, как от зараженного смертоносною язвою. Наскучив зрелищем толикого смещения гордыни с низайшею подлостью, я удалился из сего собрания льстецов.

Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями. — Сказав сие, мы расстались и поехали всяк в свою сторону.

Сей день путешествие мое было неудачно; лошади были худы, выпрягались поминутно; наконец, спускаясь с небольшой горы, ось у кибитки переломилась, и я далее ехать не мог. Пешком ходить мне в привычку. Взяв посошок, отправился я вперед к почтовому стану. Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя, не похожа на гулянье в Летнем саду или в Баба, скоро она меня утомила, и я принужден был сесть.

Между тем как я, сидя на камне, чертил на песке фигуры кой-какие, нередко кривобокие и кривоугольные, думал я и то и се, скачет мимо меня коляска. Сидящий в ней, увидев меня, велел остановиться, — и я в нем узнал моего знакомого.

— Что ты делаешь? — сказал он мне.

— Думаю думаю. Времени довольно мне на размышление; ось переломилась. Что нового?

— Старая дрянь. Погода по ветру, то слякоть, то ведро. А!.. Вот новенькое, Дурындин женился.

— Неправда. Ему уже лет с восемьдесят.

— Точно так. Да вот к тебе письмо... Читай на досуге, а мне нужно поспешать. Прости, — и расстались.

Письмо было от моего приятеля. Охотник до всяких но-

востей, он обещал меня в отсутствии снабжать оными и сдержал слово. Между тем к кибитке моей подделали новую ось, которая, по счастью, была в запасе. Едучи, я читал:

Петербург

Любезный мой!

На сих днях совершился здесь брак между 78-летним молодцом и 62-летней молодкою. Причину толь престарелому спарению отгадать тебе трудненько, если оной не скажу. Распусти уши, мой друг, и услышишь. Госпожа Ш... — витязь в своем роде не последний, 62 лет, вдова с 25-летнего своего возраста. Была замужем за купцом, неудачно торговавшим; лицом смазлива; оставшись после мужа бедною сиротою и ведая о жестокосердии собратий своего мужа, не захотела прибегнуть к прошению надменной милостыни, но за благо рассудила кормиться своими трудами. Доколе красота юности водилась на ее лице, во всегдашней была работе и щедро получала от охотников плату. Но сколь скоро заметила, что красота ее начинала увядать и любовные заботы уступили место скучливому одиночеству, то взялась она за ум и, не находя больше покупателей на обветшалые свои прелести, начала торговать чужими, которые, если не всегда имели достоинство красоты, имели хотя достоинство новости. Сим способом нажив себе несколько тысяч, она с честью изъяслась из презрительного общества сводень и начала в рост отдавать деньги, своим и чужим бесстыдством нажитые. По времени забыто прежнее ее ремесло; и бывшая сводня стала нужная в обществе мотов тварь. Прожив покойно до 62 лет, нелегкое надоумило ее собраться замуж. Все ее знакомые тому дивятся. Приятельница ее ближняя Н... приехала к ней.

— Слух носится, душа моя, — говорит она поседелой невесте, — что ты собралась замуж. Мне кажется, солгано. Какой-нибудь насмешник выдумал сию басню.

Ш. Правда совершенная. Завтра сговор, приезжай пировать с нами.

Н. Ты с ума сошла. Неужели старая кровь разыгралась; неужели какой молокосос подбил к тебе под крылышко?

Ш. Ах, матка моя! некстати ты меня наравне с молодыми считаешь ветреницами. Я мужа беру по себе...

Н. Да то я знаю, что придет по тебе. Но вспомни, что уже нас любить нельзя и не для чего, разве для денег.

Ш. Я такого не возьму, который бы мне мог изменить. Жених мой меня старее 16 годами.

Н. Ты шутишь!

Ш. По честн правда; барон Дурындин.

Н. Нельзя этому статься.

Ш. Прнезжай завтра ввечеру; ты увидишь, что лгать не люблю.

Н. А хотя н так, ведь он не на тебе женнтся, но на твоих деньгах.

Ш. А кто ему их даст? Я в первую ночь так не обезумею, чтобы ему отдать все мое нменне; уже то время давно прошло. Табакерочка золотая, пряжки серебряные н другая дрянь, оставшаяся у меня в закладе, которой с рук нельзя сбыть. Вот весь барыш любезного моего женишка. А если он неугомонно спит, то сгоню с постели.

Н. Ему хоть табакерочка перепадет, а тебе в нем что проку?

Ш. Как, матка? Сверх того, что в нынешние времена не худо иметь хороший чин, что меня называть будут: ваше высокородне, а кто поглупее — ваше превосходительство; но будет-таки кто-нибудь, с кем в долгие зимние вечера можно хоть поиграть в бирюльки. А ныне сиди, сиди, все одна; да н того удовольствия не имею, когда чхну, чтоб кто говорил: здравствуй. А как муж будет свой, та какой бы насморк ни был, все слышать буду: здравствуй, мой свет, здравствуй, моя душенька...

Н. Прости, матушка.

Ш. Завтра сговор, а через неделю свадьба.

Н. (Уходит.)

Ш. (Чхает.) Небось, не воротнтся. То ли дело, как муж свой будет!

Не дивись, мой друг! На свете все колесом вертится. Сегодня умное, завтра глупое в моде. Надеюсь, что н ты много увидишь дурындиных. Если не женитьбою всегда они отличаются, то другим чем-либо. А без дурындиных свет не простоял бы трех дней.

КРЕСТЬЦЫ

В Крестьяцах я был свидетелем расставания у отца с детьми, которое меня тем чувствительнее тронуло, что я сам отец и скоро, может быть, с детьми расставаться буду. Несчастный предрассудок дворянского звания велит им идти в службу. Одно название мне приводит всю кровь в необычайное движение! Тысячу против одного держать можно, что из ста дворянчиков, вступающих в службу, 98 становятся повесами, а два под старость, или, правильное ска-

зять, два в дряхлые их, хотя не старые лета, становятся добрыми людьми. Прочие происходят в чины, расточают или наживают имение и проч. ...Смотря иногда на большого моего сына и размышляя, что он скоро войдет в службу или, другими сказать словами, что птичка вылетит из клетки, у меня волосы дыбом становятся. Не для того, чтобы служба сама по себе развращала нравы; но для того, чтобы со зрелыми нравами надлежало начинать службу.

Иной скажет: а кто таких молокососов толкает в шею? — Кто? Пример общий. Штаб-офицер семнадцати лет; полковник двадцатилетний; генерал двадцатилетний; камергер, сенатор, наместник, начальник войск. И какому отцу не захочется, чтобы дети его, хотя в малолетстве, были в знатных чинах, за которыми идут вслед богатство, честь и разум. Смотря на сына моего, представляется мне: он начал служить, познакомился с вертопрахами, распутными, игроками, щеголями. Выучился чистенько наряжаться, играть в карты, картами доставать прокормление, говорить обо всем, ничего не мысля, таскаться по девкам или врать чепуху барыням. Каким-то образом фортуна, вертясь на курей ножке, приголубила его; и сынок мой, не брея еще бороды, стал знатным боярином. Возмечтал он о себе, что умнее всех на свете. Чего доброго ожидать от такого полководца или градоначальника?

Скажи по истине, отец чадолюбивый, скажи, о истинный гражданин! не захочется ли тебе сынка твоего лучше удавить, нежели отпустить в службу? Не больно ли сердцу твоему, что сынок твой, знатный боярин, презирает заслуги и достоинства, для того, что их участь пресмыкаться в стезе чинов, пронырства гнушаяся? Не возрыдаешь ли ты, что сынок твой любезный с приятною улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев.

Крестичский дворянин, казалось мне, был лет пятидесяти. Редкие седины едва пробивались сквозь светло-русые власы главы его. Правильные черты лица его знаменовали души его спокойствие, страстям неприступное. Нежная улыбка безмятежного удовольствия, незлобием рождаемого, изрыла ланиты его ямками, в женщинах столь прельщающими; взоры его, когда я вошел в ту комнату, где он сидел, были устремлены на двух его сыновей. Очи его, очи благородного рассудка, казались подёрнуты легкою пленюю печали; но искры твердости и упования пролетали оную быстро. Пред ним стояли два юноши, возраста почти равного, единым годом во времени рождения, но не в ше-

ствии разума и сердца они разнствовали между собою. Ибо горячность родителя ускоряла во младшем развержение ума, а любовь братня умеряла успех в науках во старшем. Понятия о вещах были в них равные, правила жизни знали они равно, но остроту разума и движения сердца природа в них насадила различно. В старшем взоры были тверды, черты лица незыбки, являли начатки души неробкой и непоколебимости в предприятиях. Взоры младшего были остры, черты лица шатки и непостоянны. Но плавное движение оных необманчивый был знак благих советов отчих. На отца своего взирали они с несвойственною им робостию, от горести предстоящей разлуки происходящею, а не от чувствования над собою власти или начальства. Редкие капли слез точились из их очей.

— Друзья мои, — сказал отец, — сегодня мы расстанемся, — и, обняв их, прижал возрыдавших к перси своей. Я уже несколько минут был свидетелем сего зрелища, стоя у дверей неподвижен, как отец, обратясь ко мне:

— Будь свидетелем, чувствительный путешественник, будь свидетелем мне перед светом, сколь тяжко сердцу моему исполнять державную волю обычая. Я, отлучая детей моих от бдящего родительского ока, единственное к тому имею побуждение, да приобретут опытности, да познают человека из его деяний и, наскучив гремлением мирского жития, да оставят его с радостию; но да имут отишие в гонении и хлеб насущный в скудости. А для сего-то остаюся я на ниве моей. Не даждь, владыко всещедрый, не даждь им скитаться за милостынею вельмож и обретати в них утешителя! Да будет соболезнуяй о них их сердце; да будет им творяй благостыню их рассудок.

Воссядите и внемлите моему слову, еже пребывати во внутренности душ ваших долженствует. Еще повторю вам, сегодня мы разлучимся. С неизреченным услаждением зрю слезы ваши, орошающие ланиты вашего лица. Да отнесет сие души вашей зыбление совет мой во святая ея, да восколеблется она при моем воспоминовении и да буду отсутствен оградою вам от зол и печалей.

Прияв вас даже от чрева матерня в объятия мои, не восхотел николи, чтобы кто-либо был рачителем в исполнениях, до вас касающихся. Никогда наемная рачительница не касалася телеси вашего и никогда наемный наставник не коснулся вашего сердца и разума. Неусыпное око моего горячности бдело над вами денно-ночно, да не приблизится вас оскорбление; и блажен нарицаюся, доведши вас до разлучения со мною. Но не воображайте себе, чтобы я хотел

исторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственныя корысти побуждением, приемлемое на вашу пользу имело всегда в виду собственное мое услаждение. Итак, изжените из мыслей ваших, что вы есте под властию моею. Вы мне ничем не обязаны. Не в рассудке, а меньше еще в законе хочу искати твердости союза нашего. Он оснуется на вашем сердце. Горе вам, если его в забвении оставите! Образ мой, преследуя нарушителя союза нашей дружбы, поженет его в сокровенности его и устроит ему казнь несносную, дондеже не возвратится к союзу. Еще вещаю вам, вы мне ничем не должны. Воззрите на меня, яко на странника и пришельца, и если сердце ваше ко мне ощутит некую нежную наклонность, то поживем в дружбе, в сем наивеличайшем на земли благоденствии. Если же оно без ощущения пребудет — да забвении будем друг друга, яко же нам не родитися. Дажь, всещедрый, сего да не узрю, отошед в недра твоя сие предваряя! Не должны вы мне ни за вскармлиение, ни за наставление, а меньше всего за рождение.

За рождение? — Участники были ли вы в нем? Вопросаемы были ли, да рождени будете? На пользу ли вашу родитися имели или во вред? Известен ли отец и мать, рождая сына своего, блажен будет в житии или злополучен? Кто скажет, что, вступая в супружество, помышлял о наследии и потомках; а если имел сие намерение, то блаженства ли их ради произвести их желал или же на сохранение своего имени? Как желать добра тому, кого не знаю, и что сие? Добром назваться может ли желание неопределенное, помаваемое неизвестностию?

Побуждение к супруеству покажет и вину рожденья. Прельщенный душевною паче добротою матери вашей, нежели лепотою лица, я употребил способ верный на взаимную горячность, любовь искреннюю. Я получил мать вашу себе в супруги. Но какое было побуждение нашей любви? Взаимное услаждение; услаждение плоти и духа. Вкушая веселне, природой повеленное, о вас мы не мыслили. Рождение ваше нам было приятно, но не для вас. Произведение самого себя льстило тщеславию; рождение ваше было новый и чувственный, так сказать, союз, союз сердец подтверждающий. Он есть источник начальной горячности родителей к сынам своим; подкрепляется он привычкою, ощущением своея власти, отражением похвал сыновних к отцу.

Мать ваша равного со мною была мнения о ничтожности должностей ваших, от рожденья пронстекающих. Не

гордилася она пред вами, что носила вас во чреве своем, не требовала признательности, питая вас своею кровию; не хотела почтения за болезни рождения, ни за скуку вскармливания сосцами своими. Она тщилася благоую вам дать душу, яко же и сама имела, и в ней хотела насадить дружбу, но не обязанность, не должность или рабское повиновение. Не допустил ее рок зрети плодов ее насажденных. Она нас оставила с твердостью хотя духа, но кончины еще не желала, зря ваше младенчество и мою горячность. Уподобляясь ей, мы совсем ее не потеряем. Она поживет с нами, доколе к ней не отыдем. Ведаете, что любезнейшая моя с вами беседа есть беседовати о родшей вас. Тогда, мнится, душа ее беседует с нами, тогда становится она нам присутственна, тогда в нас она является, тогда она еще жива. — И отирал вещающий капли задержанных в душе слез.

— Сколь мало обязаны вы мне за рождение, толико же обязаны и за вскармливание. Когда я угощаю пришельца, когда питаю птенцов пернатых, когда даю пищу псу, лижущему мою десницу, — их ли ради сие делаю? Отраду, увеселение или пользу в том нахожу мою собственную. С таковым же побуждением производят вскармливание детей. Родившись в свет, вы стали граждане общества, в коем живете. Мой был долг вас вскормить; ибо если бы допустил до вас кончину безвременную, был бы убийца. Если я рачительнее был в вскармлении вашем, нежели бывают многие, то следовал чувствованию моего сердца. Власть моя, да пекуся о вскармлении вашем или небрегу о нем; да сохраню дни ваши или расточителем в них буду; оставлю вас живых или дам умерети завершенно — есть ясное доказательство, что вы мне не обязаны в том, что живы. Если бы умерли от моего о вас небрежения, как то многие умирают, мщение закона меня бы не преследовало.

Но, скажут, обязаны вы мне за учение и наставление. Не моей ли я в том искал пользы, да благи будете. Похвалы, воздаваемые доброму вашему поведению, рассудку, знаниям, искусству вашему, распростираясь на вас, отражаются на меня, яко лучи солнечны от зеркала. Хваля вас, меня хвалят. Что успел бы я, если бы вы вдалились пороку, чужды были учения, тупы в рассуждениях, злобны, подлы, чувствительности не имея? Не только сострадатель был бы я в вашем косвенном хождении, но жертва, может быть, вашего неистовства. Но ныне спокоен остаюсь, отлучая вас от себя; разум прям, сердце ваше крепко, и я живу в нем. О друзья мои, сыны моего сердца! родив вас, многие имел я должности в отношении к вам, но вы мне ничем не долж-

ны; я ищу вашей дружбы и любви; если вы мне ее дадите, блажен отыду к началу жизни и не возмущуся при кончине, оставляя вас навек, ибо проживу на памяти вашей.

Но если я исполнил должность мою в воспитании вашем, обязан сказать ныне вам вину, почто вас так, а не иначе воспитывал и для чего сему, а не другому вас научил; и для того услышите повесть о воспитании вашем и познайте вину всех монахов над вами деяний.

Со младенчества вашего принуждения вы не чувствовали. Хотя в деяниях ваших вождаемы были рукою моею, не ощущали, однако же, николи ее направления. Деяния ваши были предузнаны и предваряемы; не хотел я, чтобы робость или послушание повиновения малейшею чертою ознаменовала на вас тяжесть своего перста. И для того дух ваш, не терпящий веления безрассудного, кроток к совету дружества. Но если, младенцам вам сущим, находил я, что уклонился от пути, мною назначенного, устремляемы случайным ударением, тогда останавливал я ваше шествие или, лучше сказать, не приметно вводил в прежний путь, яко поток, оплоты прорывающий, искусною рукою обращается в свои берега.

Робкая нежность не присутствовала во мне, когда, казалось, не рачил об охранении вас от неприязненности стихий и погоды. Желал лучше, чтобы на мгновенное тело ваше оскорбилось преходящею болью, нежели дебели пребудете в возрасте совершенном. И для того почасту ходили вы босы, непокровенную имея главу; в пыли, в грязи возлежали на отдохновение на скамьи или на камени. Не меньше старался я удалить вас от убийственной пищи и питья. Труды наши лучшая была приправа в обеде вашем. Воспомините, с каким удовольствием обедали мы в деревне нам неизвестной, не найдя дороги к дому. Сколь вкусен нам казался тогда хлеб ржаной и квас деревенский!

Не ропщите на меня, если будете иногда осмеяны, что не имеете казистого восшествия, что стоите, как телу вашему покойнее, а не как обычай или мода велит; что одеваетесь не со вкусом, что волосы ваши кудрятся рукою природы, а не чесателя. Не ропщите, если будете небрежны в собраниях, а особливо от женщин, для того что не умеете хвалить их красоту; но вспомните, что вы бегаєте быстро, что плаваете не утомляясь, что подымаете тяжести без натуги, что умеете водить соху, вскопать гряду, владеете косою и топором, стругом и долотом; умеете ездить верхом, стрелять. Не опечальтесь, что вы скакать не умеете как скомоходы. Ведайте, что лучшее плясанье иного не представляет величественного; и если некогда тронуты будете зрением

оного, то любострастие будет тому корень, все же другое оному постороннее. Но вы умеете изображать животных и неодушевленных, изображать черты царя природы, человека. В живописи найдете вы истинное услаждение не токмо чувств, но и разума. Я вас научил музыке, дабы дрожащая струна согласно вашим нервам возбуждала дремлющее сердце; ибо музыка, приводя внутренность в движение, делает мягкосердие в нас привычкою. Научил я вас и варварскому искусству сражаться мечом. Но сие искусство да пребудет в вас мертво, доколе собственная сохранность того не востребует. Оно, уповаю, не сделает вас наглыми; ибо вы твердый имеете дух и обидою не сочтете, если осел вас улягнет или свинья смрадным до вас коснется рылом. Не бойтесь сказать никому, что вы корову доить умеете, что шти и кашу сварите или зажаренный вами кусок мяса будет вкусен. Тот, кто сам умеет что сделать, умеет заставить сделать и будет на погрешности снисходителен, зная все в исполнении трудности.

Во младенчестве и отрочестве не отягощал я рассудка вашего готовыми размышлениями или мыслями чуждыми, не отягощал памяти вашей излишними предметами. Но, предложив вам пути к познаниям, с тех пор, как начали разума своего ощущать силы, сами шествуете к отверстой вам стезе. Познания ваши тем основательнее, что вы их приобрели не твердя, как то говорят по пословице, как сорока Якова. Следуя сему правилу, доколе силы разума не были в вас действующи, не предлагал я вам понятия о всевышнем существе и еще менее об откровении. Ибо то, что бы вы познали прежде, нежели были разумны, было бы в вас предрассудок и рассуждению бы мешало. Когда же я узрел, что вы в суждениях ваших вождаетесь рассудком, то предложил вам связь понятий, ведущих к познанию бога; уверен во внутренности сердца моего, что всещедрому отцу приятнее зрети две непорочные души, в коих светильник познаний не предрассудком возжигается, но что они сами возносятся к начальному огню на возгорение. Предложил я вам тогда и о законе откровенном, не сокрывая от вас все то, что в опровержение оного сказано многими. Ибо желал, чтобы вы могли сами избирать между млеком и желчью, и с радостью видел, что восприяли вы сосуд утешения неробко.

Преподавая вам сведения о науках, не оставил я ознакомить вас с различными народами, изучив вас языкам иностранным. Но прежде всего попечение мое было, да познаете ваш собственный, да умеете на оном изъяснять ваши мысли словесно и письменно, чтобы изъяснение сие бы-

до в вас непринужденно и поту на лице не производило. Аглинский язык, а потом латинский старался я вам известнее сделать других. Ибо упругость духа вольности, переходя в изображение речи, приучит и разум к твердым понятиям, столь во всяких правлениях нужным.

Но если рассудку вашему предоставлял я направлять стопы ваши в стезях наук, тем бдительнее тщился быть во нравственности вашей. Старался умерять в вас гнев мгновения, подвергая рассудку гнев продолжительный, мщенье производящий. Мщение!.. душа ваша мерзнит его. Вы из природного сего чувствительныя твари движения оставили только оберегательность своего сложения, поправ желанье возвращать уязвления.

Ныне настало то время, что чувства ваши, дошед до совершенства возбуждения, но не до совершенства еще понятия о возбуждаемом, начинают тревожиться всякою внешностию и опасную производить зыбь во внутренности вашей. Ныне достигли времени, в которое, как то говорят, рассудок становится определителем делания и неделания; а лучше сказать, когда чувства, доселе одержимые плавностию младенчества, начинают ощущать дрожание или когда жизненные соки, исполнив сосуд юности, превышать начинают его воскраия, нища стезю свойственным для них стремлениям. Я сохранил вас неприступным доселе превратным чувств потрясениям, но не сокрыл от вас неведения покровом пагубных следствий совращения от пути умеренности в чувственном услаждении. Вы свидетели были, сколь гнусно избыточество чувственного насыщения, и возгнушались; свидетели были страшного волнения страстей, превысивших берега своего естественного течения, познали губельные их опустошения и ужаснулись. Опытность моя, носяся над вами, яко новый Егид, охраняла вас от неправильных уязвлений. Ныне будете сами себе вожди, и хотя советы мои будут всегда свечильником ваших начинаний, ибо сердце и душа ваша мне отверсты; но яко свет, отдаляясь от предмета, менее его освещает, тако и вы, отринувши моего присутствия, слабое ощутите согренье моея дружбы. И для того преподам вам правила единожития и общежития, дабы по усмирении страстей не возгнушались деяний, во оных свершенных, и не познали, что есть раскаяние.

Правила единожития, елико то касаться может до вас самих, должны относиться к телесности вашей и нравственности. Не забывайте никогда употреблять ваших телесных сил и чувств. Упражнение оных умеренное укрепит их не исто-

шевая и послужит ко здравью вашему и долгой жизни. И для того упражняйтесь в искусствах, художествах и ремеслах, вам известных. Совершенствование в оных иногда может быть нужно. Неизвестно нам грядущее. Если неприятное счастье отымет у вас все, что оно вам дало, — богаты пребудете во умеренности желаний, кормясь делом рук ваших. Но если во дни блаженства все небрежете, поздно о том думать во дни печали. Нега, излечение и неумеренное чувств услаждение губят и тело и дух. Ибо, изнуряя тело невоздержностию, изнуряет и крепость духа. Употребление же сил укрепит тело, а с ним и дух. Если почувствуешь отвращение к яствам, и болезнь постучится у дверей, воспрями тогда от одра твоего, на нем же лелеешь чувства твои, приведи уснувшие члены твои в действие упражнением и почувствуешь мгновенное сил обновление; воздержи себя от пищи, нужной во здравии, и глад сделает пищу твою сладкою, огорчавшую от сытости. Помните всегда, что на утоление глада нужен только кусок хлеба и ковш воды. Если благодетельное лишение внешних чувствований, сон, удалится от твоего возглавия и не сможешь возобновить сил разумных и телесных, — беги из чертогов твоих и, утомив члены до усталости, возляги на одре твоем и почишь во здравие.

Будьте опрятны в одежде вашей; тело содержите в чистоте; ибо чистота служит ко здравью, а неопрятность и смрадность тела нередко отверзает неприметную стезю к гнусным порокам. Но не будьте и в сем неумеренны. Не гнушайтесь пособить, поднимая погрязшую во рве телегу, и тем облегчить упавшего; вымараете руки, ноги и тело, но просветите сердце. Ходите в хижины унижения; утешайте томящегося нищетою; вкусите его брашна, и сердце ваше усладится; дав отраду скорбящему.

Ныне достигли вы, повторю, того страшного времени и часа, когда страсти пробуждаться начинают, но рассудок слаб еще на их обуздание. Ибо чаша рассудка без опытности на весах воли воздымается; а чаша страстей опустится мгновенно долу. Итак, к равновесию не иначе приблизиться можно, как трудолюбием. Трудитесь телом; страсти ваши не столь сильное будут иметь волнение; трудитесь сердцем, упражняясь в мягкосердии, чувствительности, соболезновании, щедроте, отпущении, и страсти ваши направятся ко благому концу. Трудитесь разумом, упражняясь в чтении, размышлении, разыскании истины или происшествий; и разум управлять будет вашею волею и страстями. Но не забудьте в восторге рассудка, что можете сокрушить корени

страстей, что нужно быть совсем бесстрастну. Корень страстей благ и основан на нашей чувствительности самою природою. Когда чувства наши, внешние и внутренние, ослабевают и притупляются, тогда ослабевают и страсти. Они благоу в человеке производят тревогу, без нее же уснул бы он в бездействии. Совершенно бесстрастный человек есть глупец и истукан нелепый, не возмогаяй ни благого, ни злого. Не достоинство есть воздержатися от худых помыслов, не могши их сотворить. Безрукий не может уязвить никого, но не может подать помощи утопающему, ни удержати на бреге падающего в пучину моря.

Итак, умеренность во страсти есть благо; шествие во стезе средою есть надежно. Чрезвычайность во страсти есть гибель; бесстрастие есть нравственная смерть. Яко же шественник, отдаляясь среды стези, вдается опасности ввергнуться в тот или другой ров, такого бывает шествия во нравственности. Но буде страсти ваши опытностию, рассудком и сердцем направлены к концу благому, скинь с них бразды томного благоразумия, не сокращай их полета; мета их будет всегда величие; на нем едином остановиться они умеют.

Но если я вас побуждаю не быть бесстрастными, паче всего потребно в юности вашей умеренность любовныя страсти. Она природою насаждена в сердце нашем ко блаженству нашему. И так в возрождении своем никогда ошибиться не может, но в своем предмете и неумеренности. И так блюдитесь, да не ошибетесь в предмете любви вашей и да не почтете взаимною горячностью оныя образ. С благим же предметом любви неумеренность страсти сея будет вам неизвестна. Говоря о любви, естественно бы было говорить и о супружестве, о сем священном союзе общества, коего правила не природа в сердце начертала, но святость коего из начального обществ положения проистекает. Разуму вашему, едва шествие свое начинающему, сие бы было непонятно, а сердцу вашему, не испытавшему самолюбивую в обществе страсть любви, повесть о сем была бы вам неощутительна, а потому и бесполезна. Если желаете о супружестве иметь понятие, вспомните о родшей вас. Представьте меня с нею и с вами, возобновите слуху вашему глаголы наши и взаимные лобызания и приложите картину сию к сердцу вашему. Тогда почувствуете в нем приятное некое содрогание. Что оно есть? Познаете со временем; а днесь довольны будьте оною ощущением.

Приступим ныне вкратце к правилам общежития. Предписать их не можно с точностию, ибо располагаются они часто по обстоятельствам мгновения. Но, дабы колико воз-

можно менее ошибаться, при всяком начинании воспросите ваше сердце; оно есть благо и николи обмануть вас не может. Что вещает оно, то и творите. Следуя сердцу в юности, не ошибетесь, если сердце имеете благое. Но следовати возмнивый рассудку, не имея на браде власов, опытность возвещающих, есть безумец.

Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону, если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все известные нам многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противоположности.

Понеже добродетель есть вершина деяний человеческих, то исполнение ее ничем не долженствует быть прерываемо. Небреги обычаев и нравов, небреги закона гражданского и священного, столь святая в обществе вещь, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели. Не дерзай николи нарушения ее прикрывать робостию благоразумия. Благодарствен без нее будешь во внешности, но блажен николи.

Последуя тому, что налагают на нас обычаи и нравы, мы приобретем благоприятство тех, с кем живем. Исполняя предписание закона, можем приобрести название честного человека. Исполняя же добродетель, приобретем общую доверенность, почтение и удивление, даже и в тех, кто бы не желал их ощущать в душе своей. Коварный афинский сенат, подавая чашу с отравою Сократу, трепетал во внутренности своей пред его добродетелию.

Не дерзай никогда исполнять обычая в предосуждение закона. Закон, каков ни худ, есть связь общества. И если бы сам государь велел тебе нарушить закон, не повинуйся ему, ибо он заблуждает себе и обществу во вред. Да уничтожит закон, яко же нарушение одного повелевает, тогда повинуйся, ибо в России государь есть источник законов.

Но если бы закон, или государь, или бы какая-либо на земле власть подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной непоколебим. Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ

до скончания веков. Убойся заранее именовать благоразумием слабость в деяниях, сего первого добродетели врага. Сегодня нарушишь ее уважения ради какового, завтра нарушение ее казаться будет самою добродетелию; и так порок воцарится в сердце твоём и исказит черты непорочности в душе и на лице твоём.

Добродетели суть или частные или общественные. Побуждения к первым суть всегда мягкосердие, кротость, соболезнование, и корень всегда их благ. Побуждения к добродетелям общественным нередко имеют начало свое в тщеславии и любочестии. Но для того не надлежит останавливаться в исполнении их. Предлог, над ним же вращаются, придаст им важности. В спасшем Курции отечество свое от пагубоносных язвы никто не зрит ни тщеславного, ни отчаянного или наскучившего жизни, но ироя. Если же побуждения наши к общественным добродетелям начало свое имеют в человеколюбивой твердости души, тогда блеск их будет гораздо больший. Упражняйтесь всегда в частных добродетелях, дабы могли удостоиться исполнения общественных.

Еще преподам вам некоторые исполнительные правила жизни. Старайтесь паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение, дабы, обращая во уединении взоры свои во внутрь себя, не токмо не могли бы вы раскаяваться о сделанном, но взирали бы на себя со благоговением.

Следуя сему правилу, удаляйтесь, елико то возможно, даже вида раболепствования. Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ; обычай скаредный, ничего не значащий, показующий в посетителях дух робости, а в посещаемом дух надменности и слабый рассудок. У римлян было похожее сему обыкновение, которое они называли амбицио, то есть снискание или обхождение; а оттуда и любочестие названо амбицио, ибо посещениями именитых людей юноши снискивали себе путь к чинам и достоинствам. То же делается и ныне. Но если у римлян обычай сей введен был для того, чтобы молодые люди обхождением с испытанными научались, то сомневаюсь, чтобы цель в обычае сем всегда непорочна сохранилась. В наши же времена, посещая знатных господ, учения целию своею никто не имеет, но снискание их благоприятства. Итак, да не преступит нога ваша порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Не посещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы

презренной и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя хотя с негодованием, но от нее отличит.

Если случится, что смерть пресечет дни мои прежде, нежели в благом пути отвердеете, и, юны еще, восхитят вас страсти из стези рассудка, — то не отчаивайтесь, соглядая иногда превратное ваше шествие. В заблуждении вашем, в забвении самих себя, возлюбите добро. Распутное житие, безмерное любочестие, наглость и все пороки юности оставляют надежду исправления, ибо скользят по поверхности сердца, его не уязвляя. Я лучше желаю, чтобы во младых летах ваших вы были распутны, расточительны, наглы, нежели сребролюбивы или же чрезмерно бережливы, щеголеваты, занимаясь более убранством, нежели чем другим. Систематическое, так сказать, расположение в щегольстве означает всегда сжатый рассудок. Если повествуют, что Юлий Кесарь был щеголь; но щегольство его имело цель. Страсть к женщинам в юности его была к сему побуждением. Но он из щеголя облекся бы мгновенно во смраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желаний.

Во младом человеке не токмо щегольство преходящее простительно, но и всякое почти дурачество. Если же наикраснейшими деяниями жизни прикрывать будете коварство, ложь, вероломство, сребролюбие, гордость, любомщение, зверство, — то хотя ослепите современников ваших блеском ясной наружности, хотя не найдете никого столь любящего вас, да представит вам зеркало истины, не мните, однако же, затмить взоры прозорливости. Проникнет она светозарную ризу коварства, и добродетель черноту души вашей обнажит. Возненавидит ее сердце твое и, яко чувственница, увядать станет прикосновением твоим, но мгновенно, но стрелы ее издалека язвить тебя станут и терзать.

Простите, возлюбленные мои, простите, друзья души моей; днесь при сопутном ветре отчальте от берега чуждая опытности ладью вашу; стремитесь по валам жития человеческого, да научитесь управлять сами собою. Блажены, не претерпев крушения, если достигнете пристанища, его же жаждем. Будьте счастливы во плавании вашем. Се искренное мое желание. Естественные силы мои, истощав движением и жизнью, изнемогут и угаснут; оставлю вас навеки; но се мое вам завещание. Если ненавистное счастье истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли не останется, если, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, — тогда вспомни, что ты

человек, воспомани величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. Умри.

В наследие вам оставляю слово умирающего Катона. — Но если во добродетели умерети можешь, умеи умереть и в пороке и будь, так сказать, добродетелен в самом зле. Если, забыв мои наставления, поспешать будешь на злые дела, обыкшая душа добродетели востревожится; явлюся тебе в мечте. Воспряни от ложа твоего, преследуй душевно моему видению. Если тогда источится слеза из очей твоих, то усни паки; пробудишься на исправление. Но если среди злых твоих начинаний, вспоминая обо мне, душа твоя не зыбнется и око пребудет сухо... Се сталь, се отрава. Избавь меня скорби; избавь землю поносных тяжести. Будь мой еще сын. Умри на добродетель.

Вещавшу сие старцу, юношеский румянец покрыл сморщенные ланиты его; взоры его испускали лучи надежного радования, черты лица сияли сверхъестественным веществом. Он облобызал детей своих и, проводив их до повозки, пребыл тверд до последнего расставания. Но едва звон почтового колокольчика возвестил ему, что они начали от него удаляться, упругая сия душа смягчилась. Слезы проникли сквозь очей его, грудь его воздымалась: он руки свои простирал вслед за отъезжающими; казалось, будто желает остановить стремление коней. Юноши, узрев издали родного их в такой печали, возрыдали столь громко, что ветер доносил жалостный их стон до слуха нашего. Они простирали также руки к отцу своему; и казалось, будто его к себе звали. Не мог старец снести сего зрелища; силы его ослабевали, и он упал в мои объятия. Между тем пригорок скрыл отъехавших юношей от взоров наших; пришел в себя, старец стал на колени и возвел руки и взоры на небо.

— Господи, — возопил он, — молю тебя, да укрепишь их в стезях добродетели, молю, блажени да будут. Веси, николи не утруждал тебя, отец всещедрый, бесполезною молитвою. Уверен в душе моей, яко благ еси и правосуден. Любезнейшее тебе в нас есть добродетель; деяния чистого сердца суть наилучшая для тебя жертва... Отлучил я ныне от себя сынов моих... Господи, да будет на них воля твоя. — Смущен, но тверд в надеянии своем отъехал он в свое жилище.

Слово крестийского дворянина не выходило у меня из головы. Доказательства его о ничтожестве власти родителей над детьми казались мне неоспоримы. Но если в благоустроенном обществе нужно, чтобы юноши почитали старцев и неопытность — совершенство, то нет, кажется, нужды

власть родительскую делать беспредельною. Если союз между отцом и сыном не на нежных чувствованиях сердца основан, то он, конечно, нетверд; и будет нетверд, вопреки всех законоположений. Если отец в сыне своем видит своего раба и власть свою ищет в законоположении, если сын почитает отца наследия ради, то какое благо из того обществу? Или еще один невольник в прибавок ко многим другим, или змия за пазухой... Отец обязан сына воскормить и научить и должен наказан быть за его проступки, доколе он не войдет в совершеннолетие; а сын должности свои да обрящет в своем сердце. Если он ничего не ощущает, то виновен отец, почто ничего не насадил. Сын же вправе требовать от отца вспомоществования, доколе пребывает немощен и малолетен; но в совершеннолети естественная сия и природная связь рушится. Птенец пернатых не ищет помощи от произведших его, когда сам начнет находить пищу. Самец и самка забывают о птенцах своих, когда они возмужают. Се есть закон природы. Если гражданские законы от него удалятся, то производят всегда урода. Ребенок любит своего отца, мать или наставника, доколе любление его не обратится к другому предмету. Да не оскорбится сим сердце твое, отец чадолюбивый; естество того требует. Единое в том тебе утешение да будет, вспоминая, что и сын сына твоего возлюбит отца до совершенного только возраста. Тогда же от тебя зависеть будет обратить его горячность к тебе. Если ты в том успеешь, блажен и почтения достоин. В таковых размышлениях досхал я до почтового стана.

ЯЖЕЛБИЦЫ

Сей день определен мне был судьбою на испытание. Я отец, имею нежное сердце к моим детям. Для того то слово крестичьего дворянина меня столь тронуло. Но потрясши меня до внутренности, излило некое усладительное чувствование надежды, что блаженство наше в отношении детей наших зависит много от нас самих. Но в Яжелбицах определено мне было быть зрителем позорища, которое глубокий корень печали оставило в душе моей, и нет надежды на его истребление. О юность! услыши мою повесть, познай свое заблуждение; воздержись от произвольных гибели и пресеки путь к будущему раскаянию.

Я проезжал мимо кладбища. Необыкновенный вопль терзающего на себе власы человека понудил меня остано-

виться. Приближаясь, увидел я, что там совершалось погребение. Надлежало уже гроб опускать в могилу, но тот, которого я издали зрел терзающего на себе волосы, повергся на гроб и, ухватясь за оный весьма крепко, не позволял оный опускать в землю. С великим трудом отвлекли его от гроба и, опустя оный в могилу, зарыли се поспешно. Тут страждущий вещал к предстоящим:

— Почто вы меня его лишили, почто меня с ним не погребли живого и не скончали моей скорби и раскаяния. Ведайте, ведайте, что я есмь убийца возлюбленного моего сына, его же мертвца предали земле. Не дивитесь сему. Я не прекратил жизни его ни мечом, ни отравою. Нет, я более сего сделал. Я смерть его уготовал до рождения его, дав жизнь ему отравленную. Я есмь убийца, каковых много, но есмь убийца лютейший других. Убийца сына моего до рождения его. Я, я один прекратил дни его, изливав томный яд в начало его. Он воспретил укрепиться силам тела его. Во все время жития своего не наслаждался он здравием ни дня единого; и томящегося в силах своих разверстие яда пресекло течение жизни. Никто, никто меня не накажет за мое злодеяние! — Отчаяние ознаменовалось на лице его, и бездыханна почти отнесли его с сего места.

Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел. Казалось мне, я слышал мое осуждение. Воспомню дни распутныя моя юности. Привел на память все случаи, когда востреженная чувствами душа гонялась за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовныя утехы истинным предметом горячности. Воспомню, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испускала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалась! Прияв отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но даем ее в наследие нашему потомству. О друзья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, сколько согреших пред вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой. Возненавидите, может быть, меня и в ненависти вашей будете справедливы. Кто уверит вас и меня, что вы не носите в крови вашей сокровенного жала, определенного, да скончает дни ваши безвременно. Прияв сей смрадный яд в тело мое в совершенном возрасте, затверделость моих членов противилась его распространению и борется с его смертоносностию. Но вы, прияв его от рождения вашего, нося его в себе как нужную часть сложения, — как воспротивитесь разрушительному его сожжению? Все ваши болезни

суть следствия сия отравы. О возлюбленные мои! Плачьте о заблуждении моего юношества, призовите на помощь врачебное искусство и, если можете, не ненавидьте меня.

Но теперь отверзается очам моим все пространство сего любострастного злодеяния. Согрешил предо мною, навлекши себе безвременную старость и дряхлость в юношеских еще летах. Согрешил пред вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне в казнь, согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаясь в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил непорочные ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровеннее. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь; она же не остерегалась отравителя своего в горячности своей к нему. Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей мною отравы... О возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!

Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиною, разве не правительство? Оно, дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан. Публичные женщины находят защитников и в некоторых государствах состоят под покровительством начальства. Если бы, говорят некоторые, запрещено было наемное удовлетворение любовных страсти, то бы нередко были чувствуемы сильные в обществе потрясения. Увозы, насилия, убийство нередко бы источник свой имели в любовной страсти. Могли бы они потрясти и самые основания обществ. — И вы желаете лучше тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и мужество. Молчите, скаредные учителя, вы есте наемники мучительства; оно, проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы. Боится оно даже посторонния тревоги. Желало бы, чтоб везде одинако с ним мыслили, дабы надежно лелеяться в величестве и утопать в любострастии... Я не удивляюсь глаголам вашим. Сродно рабам желати всех зреть в оковах. Одинаковая участь облегчает их жребий, а превосходство чье-либо тягчит их разум и дух.

ВАЛДАИ

Новый сей городок, рассказывают, населен при царе Алексее Михайловиче взятыми в плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних.

Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских развратных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сея в города произведенных деревни со нравами других российских городов, подумаешь, что она есть наидревнейшая и что развратные нравы суть единые токмо остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были и первые ее жители.

Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пребывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожжаемой Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, рассказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его именем. Не ведаю, правда ли сие, но то правда, что наглость валдайских девок сократилась. И хотя они не откажутся и ныне удовлетворить желаниям путешественника, но прежней наглости в них не видно.

Валдайское озеро, над которым построен сей город, достопамятно останется в повествованиях жертвовавшего монаха жизнью своею ради своей любовницы. В полуторе версте от города, среди озера, на острове находится Иверский монастырь, славным Никоном патриархом построенный. Один из монахов сего монастыря, посещая Валдаи, влюбился в дочь одного валдайского жителя. Скоро любовь их стала взаимною, скоро стремились они к совершению ее. Единжды насладившиеся ее веселием, не в силах они были

противиться ее стремлению. Но состояние их полагало оно-
му преграду. Любовнику нельзя было отлучаться часто из
монастыря своего; любовнице нельзя было посещать кельи
своего любовника. Но горячность их все преодолела; из лю-
бострастного монаха она сделала неустрашимого мужа
и дала ему силы почти чрезвычайные. Сей новый
Леандр, дабы наслаждаться веселием ежедневно в объятиях
своей любовницы, едва ночь покрывала черным покровом
все зримое, выходил тихо из своей кельи и, совлекая свои
ризы, преплывал озеро до противустоящего берега, где вос-
приемлем был в объятия своей любезной. Баня и в ней уте-
хи любовные для него были готовы; и он забывал в них
опасность и трудность преплывания и боязнь, если бы от-
лучка его стала известна. За несколько часов до рассвета
возвращался он в свою келью. Тако препроводил он долгое
время в сих опасных преплывтиях, награждая веселием
ночным скуку дневного заключения. Но судьба положила
конец его любовным подвигам. В одну из ночей, когда сей
неустрашимый любовник отправился чрез валы на зрение
своей любезной, внезапно восстал ветер, ему противный, буду-
щу ему на среде пути его. Все силы его немощны были на
преодоление разъяренных вод. Тщетно он утомлялся, напря-
гая свои мышцы; тщетно возвышал глас свой, да услышан
будет в опасности. Видя невозможность достигнуть берега,
вознамерился он возвратиться к монастырю своему, дабы,
имея попутный ветер, тем легче одного достигнуть. Но едва
обратил он шествие свое, как валы, осилив его утомленные
мышцы, затопили его в пучине. На утрие тело его найдено
на отдаленном берегу. Если бы я писал поэму на сие, то бы
читателю моему представил любовницу его в отчаянии. Но
сие было бы здесь излишнее. Всяк знает, что любовнице, хо-
тя на первое мгновение, скорбно узнать о кончине любезно-
го. Не ведаю и того, бросилась ли сия новая Геро
в озеро или же в следующую ночь паки топила баню
для путешественника. Любовная летопись гласит, что вал-
дайские красавицы от любви не умирали... разве в боль-
нице.

Нравы валдайские переселились и в близлежащий по-
чтовый стан, Зимногорье. Тут для путешественника такая
же бывает встреча, как и в Валдаях. Прежде всего предста-
вятся взорам разуряненные девки с баранками. Но как мо-
лодые мои лета уже прошли, то я поспешно расстался с ма-
заными валдайскими и зимногорскими сиренами.

ЕДРОВО

Доехав до жилья, я вышел из кибитки. Неподалеку от дороги над водою стояло много баб и девок. Страсть, господствовавшая во всю жизнь надо мною, но уже угасшая, по обыкшему ее стремлению направила стопы мои к толпе сельских сих красавиц. Толпа сия состояла более нежели из тридцати женщин. Все они были в праздничной одежде, шеи голые, ноги босые, локти наруже, платье заткнутое спереди за пояс, рубахи белые, взоры веселые, здоровье на щеках начертанное. Приятности, заглубившие хотя от зноя и холода, но прелестны без покрова хитрости; красота юности в полном блеске, в устах улыбка или смех сердечный; а от него виден становился ряд зубов белее чистейшей слоновой кости. Зубы, которые бы щеголих с ума свели. Приезжайте сюда, любезные наши боярыньки московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Станьте, с которою из них вы хотите, рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, ваше, может быть, положит в них начало... болезни... боюсь сказать какой; хотя не покраснеете, но рассердитесь. Разве я говорю неправду? Муж одной из вас таскается по всем скверным девкам; получив болезнь, пьет, ест и спит с тобою же; другая же сама изволит иметь годовых, месячных, недельных или, чего боже спаси, ежедневных любовников. Познакомясь сегодня и совершив свое желание, завтра его не знает; да и того иногда не знает, что уже она одним его поцелуем заразилась. А ты, голубушка моя, пятнадцатилетняя девушка, ты еще непорочна, может быть; но на лбу твоём я вижу, что кровь твоя вся отравлена. Блаженной памяти твой батюшка из докторских рук не выхаживал; а государыня матушка твоя, направляя тебя на свой благочестивый путь, нашла уже тебе женишка, заслуженного старика генерала, и спешит тебя выдать замуж для того только, чтобы не сделать с тобой визита воспитательному дому. А за стариком-то жить нехудо, своя воля; только бы быть замужем, дети все его. Ревнив он будет, тем лучше: более удовольствия в украденных утех; с первой ночи приучить его можно не следовать глупой старой моде с женою спать вместе.

И не заметил, как вы, мои любезные городские сватьяшки, тетюшки, сестрицы, племянницы и проч., меня долго задержали. Вы, право, того не стоите. У вас на щеках румя-

на, на сердце румяна, на совести румяна, на искренности... сажа. Все равно, румяна или сажа. Я побегу от вас во всю конскую рысь к моим деревенским красавицам. Правда, есть между ими на вас похожие, но есть такие, каковых в городах слыхом не слыхано и видом не видано... Посмотрите, как все члены у моих красавиц круглы, рослы, не искривлены, не испорчены. Вам смешно, что у них ступни в пять вершков, а может быть, и в шесть. Ну, любезная моя племянница, с трехвершковой твоею ножкою стань с ними рядом, и бегите взапуски; кто скорее достигнет высокой березы, по конец луга стоящей? а... а... это не твое дело. А ты, сестрица моя голубушка, с трехчетвертным своим станом в охвате, ты изволишь издеваться, что у сельской моей русалки брюшко на воле выросло. Постой, моя голубушка, посмеюсь и я над тобою. Ты уж десятый месяц замужем, и уж трехчетвертной твой стан изуродовался. А как то дойдет до родов, запоешь другим голосом. Но дай бог, чтобы обошлось все смехом. Дорогой мой зятюшка ходит повеся нос. Уже все твои шнурованья бросил в огонь. Кости из всех твоих платьев повытаскал, но уже поздно. Сросшихся твоих накриво составов тем не спрямит. Плачь, мой любезный зять, плачь. Мать наша, следуя плачевной и смертию разрешающихся от бремени жен озаменованной моде, уготовала за многие лета тебе печаль, а дочери своей болезнь, детям твоим слабое телосложение. Она теперь возносит над главою ее смертоносное острие; и если оно не коснется дней твоея супруги, благодари случай; а если веришь, что providение божие о том заботилось, то благодари и его, коли хочешь. Но я еще с городскими боярыньками. Вот что привычка делает; отвязаться от них не хочется. И, право, с вами бы не расстался, если бы мог довести вас до того, чтобы вы лица своего и искренности не румянили. Теперь прощайте.

Покуда я глядел на моющих платье деревенских нимф, кибитка моя от меня уехала. Я намерялся идти за нею вслед, как одна девка, по виду лет двадцати, а, конечно, не более семнадцати, положила мокрое свое платье на коромысло, пошла одною со мной дорогою. Поровнявшись с ней, начал я с нею разговор.

— Не трудно ли тебе нести такую тяжелую ношу, любезная моя, как назвать, не знаю?

— Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить.

— К чему такая суровость, Аннушка, душа моя? я тебе худого не желаю.

— Спасибо, спасибо; часто мы видим таких щелкунов, как ты; пожалуй, проходи своею дорогою.

— Анютушка, я, право, не таков, как я тебе кажуся, и не таков, как те, о которых ты говоришь. Те, думаю, так не начинают разговора с деревенскими девками, а всегда поцелуем; но я хотя бы тебя поцеловал, то, конечно бы, так, как сестру мою родную.

— Не подъезжай, пожалуй; рассказы таковые я слыхала; а коли ты худого не мыслишь, чего же ты от меня хочешь?

— Душа моя, Аннушка, я хотел знать, есть ли у тебя отец и мать, как ты живешь, богато ли или убого, весело ли, есть ли у тебя жених?

— А на что это тебе, барин? Отроду в первый раз такие слышу речи.

— Из чего судить можешь, Анюта, что я не негодяй, не хочу тебя обругать или обесчестить. Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности; а более люблю сельских женщин или крестьянок для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворной любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно...

Девка в сие время смотрела на меня, выпяля глаза с удивлением. Да и так быть должно; ибо кто не знает, с какою наглостию дворянская дерзкая рука поползается на непристойные и оскорбительные целомудрию шутки с деревенскими девками. Они в глазах дворян старых и малых суть твари, созданные на их угождение. Так они и поступают; а особливо с несчастными, подвластными их велениям. В бывшее пугачевское возмущение, когда все служители вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нелжива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь. Какая тому была причина? Он во всем был господин добрый и человеколюбивый, но муж не был безопасен в своей жене, отец в дочери. Каждую ночь посланные его приводили к нему на жертву бесчестия ту, которую он того дня назначил. Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен. Блажен, если близкий взор смерти образ мыслей его переменял и дал жизненным его сокам другое течение. Но крестьянин в законе мертв, сказали мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...

— Если, барин, ты не шутишь, — сказала мне Анюта, — то вот что я тебе скажу; у меня отца нет, он умер уже года с два, есть матушка да маленькая сестра. Батюшка нам оставил пять лошадей и три коровы. Есть и мелкого скота и птиц довольно; но нет в доме работника. Меня было сватали в богатый дом за парня десятилетнего; но я не захотела. Что мне в таком ребенке; я его любить не буду. А как он придет в пору, то я состареюсь, и он будет таскаться с чужими. Да сказывают, что свекор сам с молодыми невестками спит, покуда сыновья вырастают. Мне для того-то не захотелось идти к нему в семью. Я хочу себе ровню. Мужа буду любить, да и он меня любить будет, в том не сомневаюсь. Гулять с молодцами не люблю, а замуж, барин, хочется. Да знаешь ли для чего? — говорила Анюта, потупя глаза.

— Скажи, душа моя Анютушка, не стыдись; все слова в устах невинности непорочны.

— Вот что я тебе скажу. Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделки. Муж ее любит, а она его столько любит, что на десятом месяце после венчанья родила ему сына. Всякий вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему: агу, агу, он и засмеется. Мне-то до слез каждый день; мне бы уж хотелось самой иметь такого же паренька...

Я не мог тут вытерпеть и, обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего сердца.

— Смотри, барин, какой ты обманщик, ты уж играешь со мною. Поди, сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту, — сказала Анюта, заплакав. — Кабы батюшка жив был и это видел, то бы, даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею.

— Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка, не оскорбляйся, поцелуй мой не осквернит твоей непорочности. Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения и был исторгнут восхищением глубоко тронутых души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен я хищному зверю, как наши молодые господчики, которые отъятие непорочности ни во что вменяют. Если бы я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, то клянусь тебе богом, чтобы не дерзнул на него.

— Рассуди сам, барин, как не осердиться за поцелуй, когда все они уже посулены другому. Они заранее все уж отданы, и я в них не властна.

— Ты меня восхищаешь. Ты уже любить умеешь. Ты нашла сердцу своему другое, ему соответствующее. Ты будешь блаженна. Ничто не развратит союза вашего. Не будешь ты окружена соглядателями, в сети пагубы уловить тебя стрегущими. Не будет слух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим гласом, на нарушение его к тебе верности призывающим. Но почто же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастьем в объятиях твоего милого друга?

— Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом. Просят ста рублей. А матушка меня не отдаст; я у ней одна работница.

— Да, любит ли он тебя?

— Как же не так. Он приходит по вечерам к нашему дому, и мы вместе смотрим на паренька моей подруги... Ему хочется такого же паренька. Грустно мне будет; но быть терпеть. Ванюха мой хочет идти на барках в Питер в работу и не воротится, покуда не выработает ста рублей для своего выкупа.

— Не пускай его, любезная Анютушка, не пускай его; он идет на свою гибель. Там он научится пьянствовать, мотать, лакомиться, не любить пашню, а больше всего он и тебя любить перестанет.

— Ах, барин, не страшай меня, — сказала Анюта, почти заплакав.

— А тем скорее, Анюта, если ему служить в дворянском доме. Господский пример заражает верхних служителей, нижние заражаются от верхних, а от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума; кто что видит, тот то и делает.

— Да как же быть? Так мне и век за ним не бывать за мужем. Ему пора уже жениться; по чужим он не гуляет; меня не отдают к нему в дом; то высватают за него другую, а я, бедная, умру с горя... — Сие говорила она, проливая горькие слезы.

— Нет, моя любезная Анютушка, ты завтра же будешь за ним. Поведи меня к своей матери.

— Да вот наш двор, — сказала она, остановясь. — Проходи мимо, матушка меня увидит и худое подумает. А хотя она меня и не бьет, но одно ее слово мне тяжелее всяких побоев.

— Нет, моя Анюта, я пойду с тобою... — и, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед:

— Постой, барин, постой.

Но я ей не внимал. В избе я нашел Анютину мать, которая квашню месила; подле нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальних околичностей ей сказал, что я желаю, чтобы дочь ее была замужем за Иваном, и для того принес ей то, что надобно для отвлечения препятствия в сем деле.

— Спасибо, барин, — сказала старуха, — в этом теперь уж нет нужды. Ванюха теперь пришел сказывал, что отец уж отпускает его ко мне в дом. И у нас в воскресенье будет свадьба.

— Пускай же посуленное от меня будет Анюте в приданое.

— И на том спасибо. Приданого бояре девушкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают.

Я не мог надивиться, нашел толико благородства в образе мыслей у сельских жителей. Анюта между тем вошла в избу и матери своей меня расхвалила. Я было еще попытался дать им денег, отдавая их Ивану на заведение дому; но он мне сказал:

— У меня, барин, есть две руки, я ими дом и заведу.

Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке.

Едущу мне из Едрова, Анюта из мысли моей не выходила. Невинная ее откровенность мне нравилась безмерно. Благородный поступок ее матери меня пленил. Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником подле коровы сравнивал с городскими матерями. Крестьянка не хотела у меня взять непорочных, благоумышленных ста рублей, которые в соразмерности состояний должны быть для полковницы, советницы, майорши, генеральши пять, десять, пятнадцать тысяч или более; если же госпоже полковнице, майорше, советнице или генеральше (в соразмерности моего посула едровской ямщицхихе), у которой дочка лицом недурна, или только что непорочна, и того уже довольно, знатный боярин седмицой или, чего боже сохрани, семьдесят второй пробы, посулит пять, десять, пятнадцать тысяч, или глухо знатное приданое, или сыщет чиновного жениха, или выпросит в почетные девицы, то я вас вопрошаю, городские матушки, не екнет ли у вас сердечко? не захочется ли видеть дочку в позлащенной карете, в бриллиантах, едущую четвернею, если она ходит пешком, или едущую цугом, вместо двух замо-

ренных ключ, которые ее таскают? Я согласен в том с вами, чтобы вы обряд и благочиние сохранили и не так легко сдались, как феатральные девки. Нет, мои голубушки, я вам даю срок на месяц или на два, но не более. А если доле заставите вздыхать первостатейного бесплодно, то он, будучи занят делами государственными, вас оставит, дабы не терять с вами драгоценнейшего времени, которое он лучше употребить может на пользу общественную. — Тысяча голосов на меня подымаются; ругают меня всякими мерзкими названиями: мошенник, плут, кан... бес... и пр. и пр. Голубушки мои, успокойтесь, я вашей чести не поношу. Ужели все таковы? Поглядитесь в сие зеркало; кто из вас себя в нем узнает, та брани меня без всякого милосердия. Жалобницы и на ту я не подам, суда по форме говорить с ней не стану.

Анюта, Анюта, ты мне голову скружила! Для чего я тебя не узнал 15 лет тому назад. Твоя откровенная невинность, любострастному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить во стезях целомудрия. Для чего первый мой в жизни поцелуй не был тот, который я на щеке твоей прилепил в душевном восхищении. Отражение твоея жизненности проникнуло бы во глубину моего сердца, и я бы избегнул скаредностей, житие мое исполнивших. Я бы удалился от смрадных наемниц любострастия, почтил бы ложе супружества, не нарушил бы союза родства моею плотскою несытостью; девственность была бы для меня святая святых, и ее коснуться не дерзнул бы. О моя Анютушка! сиди всегда у околицы и давай наставления твоею незастенчивою невинностью. Уверен, что обратишь на путь доброделания начинающего с оного совращатися и укрепишь в нем к совращению наклонного. Не встревожись, если закоренелый в развратности, поседевший в объятиях бесстыдства мимо тебя пройдет и тебя презрит; не тщишься воспретить его шествию услаждением твоего разговора. Сердце его уже камень; душа его покрылася алмазною корою. Не может благодетельное жало невинных добродетели положить на нем глубокие черты. Конец ее скользнет по поверхности гладко затверделого порока. Блюди, да о нее острие твое не притупится. Но не пропусти юношу, опасными лепоты прелестями обложенного; улови его в твои сети. Он горд, надменен, порывист, нагл, дерзновенен, обидящ, уязвляющ кажется. Но сердце его уступит твоему впечатлению и отвернется на восприятие твоего благотворного примера. — Анюта, я с тобой не могу расстаться, хотя уже вижу двадцатый столп от тебя.

Но что такое за обыкновение, о котором мне Анята сказывала? Ее хотели отдать за десятилетнего ребенка! Кто мог такой союз позволить? Почто не ополчится рука, законы хранящая, на искоренение толикого злоупотребления? В христианском законе брак есть таинство, в гражданском — соглашение или договор. Какой священнослужитель может неравный брак благословить или какой судия может его вписать в свой дневник? Где нет соразмерности в летах, там и брака быть не может. Сие запрещают правила естественности, яко вещь бесполезную для человека, сие запрещать долженствовал бы закон гражданский, яко вредное для общества. Муж и жена в обществе суть два гражданина, делающие договор, в законе утвержденный, которым обещаются прежде всего на взаимное чувств услаждение (да не дерзнет здесь никто оспорить первейшего закона сожития и основания брачного союза, начало любви непорочнейшия и твердый камень основания супружнего согласия), обещаются жить вместе, общее иметь стяжание, возвращать плоды своея горячности и, дабы жить мирно, друг друга не уязвлять. При неравенстве лет можно ли сохранить условия сего соглашения? Если муж десяти лет, а жена двадцати пяти, как то бывает часто во крестьянстве; или если муж пятидесяти, а жена пятнадцати или двадцати лет, как то бывает во дворянстве, — может ли быть взаимное чувств услаждение? Скажите вы мне, мужья старички, но скажите по совести, стоите ли вы названия мужа? Вы можете только возжечь огонь любовный, не в состоянии его утушить.

Неравенством лет нарушается единый из первейших законов природы; то может ли положительный закон быть тверд, если основания не имеет в естественности? Скажем яснее: он и не существует. — Возвращать плоды взаимной горячности. — Но может ли тут быть взаимность, где с одной стороны пламя, а с другой нечувствительность? Может ли быть тут плод, если насажденное древо лишается благотельного дождя и питающих росы? А если плод когда и будет, то будет он тощ, невзрачен и скорому подвержен тлению.

Не уязвлять друг друга. — Се правило предвечное, верное; буде счастливою в супругах симпатиею чувства их равномерно услаждаются, то союз брачный будет благополучен; малые домашние волнения скоро утихают при нашествии веселия. И когда мраз старости подернет чувственное веселие непроницаемою корою, тогда напоминовение прежних утех успокоит брюзгливую древность лет. — Одно условие брачного договора может и в неравенстве быть испол-

няемо: жить вместе. Но будет ли в том взаимность? Один будет начальник самовластный, имея в руках силу, другой будет слабый подданный и раб совершенный, веление господского своего исполнять только могущий.— Вот, Аня, благие мысли, тобою мне внушенные. Прости, любезная моя Аня, поучения твои вечно пребудут в сердце моем впечатленны, и сыны сынов моих наследят в них.

Хотилковский ям был уже в виду, а я еще размышлял о едровской девке и в восторге души моей воскликнул громко: «О Аня! Аня!» Дорога была негладка, лошади шли шагом; повозчик мой вслушался в мою речь, оглянувшись на меня:

— Видно, барин, — говорил он мне, улыбаясь и поправляя шляпу, — что ты на Анятку нашу призарился. Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла... Всем взяла... На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! всех за пояс заткнет, хоть бы кого... А как пойдет в поле жать... загляденье. Ну... брат Ванька счастлив.

— Иван брат тебе?

— Брат двоюродный. Да ведь и парень! Трое вдруг молодцов стали около Анятки свататься; но Иван всех отбоярил. Они и тем и сем, но не тут-то. А Ванюха тотчас и подцепил... (Мы уже въезжали в околицу...) То-то, барин! Всяк пляшет, да не как скоморох. — И к почтовому двору подъехал.

— Всяк пляшет, да не как скоморох, — твердил я, вылезая из кибитки... — Всяк пляшет, да не как скоморох, — повторил я, наклоняясь и, подняв, развертывая...

ХОТИЛОВ

ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Доведя постепенно любезное отечество наше до цветущего состояния, в котором оно ныне находится; видя науки, художества и рукоделия, возведенные до высочайшего совершенства степени, до коей человеку достигнути дозволяется; видя в областях наших, что разум человеческий, вольно распростирая свое крылье, беспрепятственно и незаблужденно возносится везде к величию и надежным ныне стал стражею общественных законоположений, — под державным его покровом свободно и сердце наше в молитвах, ко всевышнему творцу воссылаемых, с неизреченным радо-

ванием сказать может, что отечество наше есть приятное божеству обиталище; ибо сложение его не на предрассудках и суевериях основано, но на внутреннем нашем чувствовании щедрот отца всех. Неизвестны нам вражды, столь часто людей разделявшие за их исповедание, неизвестно нам в оном и принуждение. Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлежа семейству, единого имея отца, бога.

Светильник науки, носяся над законоположением нашим, отличает ныне его от многих земных законоположений. Равновесие во властях, равенство в имуществах отъемлют корень даже гражданских несогласий. Умеренность в наказаниях, заставляя почитать законы верховная власти яко веления нежных родителей к своим чадам, предупреждает даже и бесхитростные злодеяния. Ясность в положениях о приобретении и сохранении имений не дозволяет возродиться семейным распрям. Межа, отделяющая гражданина в его владении от другого, глубока и всеми зрима и всеми свято почитаема. Оскорбления частные между нами редки и дружелюбно примиряются. Воспитание народное пеклося о том, да кротки будем, да будем граждане миролюбивые, но прежде всего да будем человеки.

Наслаждаясь внутреннею тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданско-го сожития, неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверский обычай поработать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленях земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили его нерушимо даже до сего дня.

Известно вам из деяний отцов ваших, известно всем из наших летописей, что мудрые правители нашего народа, истинным подвизаемы человеколюбием, познав естественную связь общественного союза, старались положить предел стоглавному сему злу. Но державные их подвиги утщети-

ся известным тогда гордыми своими преимуществами в государстве нашем чиновостоянием, но ныне обветшалым и в презрение впадшим дворянством наследственным. Державные предки наши среди могущества сил скипетра своего немощны были на разрушение оков гражданския неволи. Не токмо они не могли исполнить своих благих намерений, но ухищрением помянутого в государстве чиновостояния подвинуты стали на противные рассудку их и сердцу правила. Отцы наши зрели губителей сих, со слезами, может быть, сердечными, сожимающих узы и отягчающих оковы наипольнейших в обществе сочленов. Земледельцы и доднесь между нами рабы; мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека. О возлюбленные наши сограждане! о истинные сыны отечества! Воззрите окрест вас и познайте заблуждение ваше. Служители божества предвечного, подвигаемые ко благу общества и ко блаженству человека, единомыслием с нами изъясняли вам в поучениях своих во имя всещедрого бога, ими проповедуемого, колико мудрости его и любви противно властвовать над ближним своим самопроизвольно. Старались они доводами, в природе и сердце нашем почерпнутыми, доказать вам жестокость вашу, неправду и грех. Еще глас их торжественно во храмах живого бога вопиет громко: опомнитесь, заблудшие, смягчитесь, жестокосердые; разрушьте оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития, к нему же всещедрым уготованы, яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются, одинаковые с вами у них члены и чувства, и право в употреблении оных должно быть одинаково.

Но если служители божества представили взорам вашим неправоту порабощения в отношении человека, за долг наш вменяем мы показать вам вред оной в обществе и неправильность оного во отношении гражданина. Излишне, казалось бы, при возникшем столь уже давно духе любомудрия изыскивать или поновлять доводы о существенном человеков, а потому и граждан равенстве. Возросшему под покровом свободы, исполненному чувствами благородства, а не предрассуждениями доказательства о первенственном равенстве суть движения его сердца обыкновенные. Но се несчастье смертного на земли: заблуждати среди света и не зрети того, что прямо взорам его предстоит.

В училищах, юным вам сущим, преподали вам основания права естественного и права гражданского. Право естественное показало вам человеков, мысленно вне общества, приравнявших одинаковое от природы сложение и потому

имеющих одинаковые права, следовательно, равных во всем между собою и единые другим не подвластных. Право гражданское показало вам человекoв, променявших беспредельную свободу на мирное оное употребление. Но если все они положили свободе своей предел и правило деяниям своим, то все равны от чрева материя в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной. Следовательно, и тут один другому не подвластен. Властитель первый в обществе есть закон; ибо он для всех один. Но какое было побуждение вступить в общество и полагати произвольные пределы деяниям? Рассудок скажет: собственное благо; сердце скажет: собственное благо; нерастленный закон гражданский скажет: собственное благо. Мы в обществе живем, уже многие степени усовершенствования протекшем, и потому запамятовали мы начальное оное положение. Но воззрите на все новые народы и на все общества естества, если так сказать можно. Во-первых, порабощение есть преступление; во-вторых, един злодей или неприятель испытует тягость неволи. Соблюдая сии понятия, познаем мы, колико удалилися мы от цели общественной, колико отстоим еще вершины блаженства общественногo далеко. Все сказанное нами вам есть обычно, и правила таковыe иссосали вы со млеко матерним. Един предрассудок мгновения, единая корысть (да не уязвитесь нашими изречениями), единая корысть отъемлет у нас взор и в темноте беснующим нас уподобляет.

Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее? Представим себе мысленно мужей, пришедших в пустыню для сооружения общества. Помышляя о прокормлении своем, они делят поросшую лаком землю. Кто жребий на уделе получает? Не тот ли, кто ее вспахать возможет; не тот ли, кто силы и желание к тому имеет достаточные? Младенцу или старцу, расслабленному, немощному и нерадивому, удел будет бесполезен. Она пребудет в запустении, и ветер класов на ней не взвеет. Если она бесполезна делателю ее, то бесполезна и обществу; ибо избытка своего делатель обществу не отдаст, не имея нужного. Следовательно, в начале общества тот, кто ниву обработать может, тот имел на владение ею право, и обрабатывающий ее пользуется ею исключительно. Но колико удалилися мы от первоначального общественногo положения относительно владения. У нас тот, кто есте-

ственное имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чуждую, зрит пропитание свое зависящее от власти другого! Просвещенным вашим разумами истины сии не могут быть непонятны, но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы, сказали уже мы, предрассуждением и корыстию. Неужели сердца ваши, любовью человечества полные, предпочтут корысть чувствованиям, сердце услаждающим? Но какая в том корысть ваша? Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, назваться блаженным? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Ненасытец кровей один скажет, что он блажен, ибо не имеет понятия о лучшем состоянии.

Мы постараемся опровергнуть теперь сии зверские властителей правила, яко же их опровергали некогда предшественники наши деяниями своими неуспешно.

Блаженство гражданское в различных видах представиться может. Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно кажется, когда нивы в нем не пустеют и во градах гордые воздымаются здания, блаженно называют его, когда далеко простирает власть оружия своего и властвует оно вне себя не токмо силою своею, но и словом своим над мнением других. Но все сии блаженства можно назвать внешними, мгновенными, преходящими, частными и мысленными.

Воззрим на предлежащую взорам нашим долину. Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их. Единое веление, единое руки мановение начальника движет весь стан, и движет его стройно. Но можем ли назвать воинов блаженными? Превращенные точностию воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движения воля, толико живым веществу свойственная. Они знают только веление начальника, мыслят, что он хочет, и стремятся, куда направляет. Толико всемогущ жезл над могущественнейшею силою государства. Совокупны возмогут вся, но разделенны и на едine па-сутся, яко скоты, амо же пастырь пожелает. Устройство на счет свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. Сто невольников, пригвожденных ко скамьям корабля, веслами двигаемого в пути своем, живут в тишине и устройстве; но загляни в их сердце и душу. Терзание, скорбь, отчаяние. Желали бы они нередко променять жизнь на кончину; но и ту им оспаривают. Конец страдания их

есть блаженство; а блаженство неволе не сродно, и потому они живы. И так да не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством и для сих только причин да не почтем оное блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину: се блаженны.

Европейцы, опустошив Америку, утучнив нивы ее кровию природных ее жителей, положили конец убийствам своим новою корыстию. Запустелые нивы сего обновленного сильными природы потрясениями полукружия почувствовали соху, недра их раздражающую. Злак, на тучных лугах выраставший и иссыхавший бесплодно, почувствовал былые своею острием косы подсекаемо. Валяются на горах гордые деревья, издревле вершины их осенявшие. Леса бесплодные и горные дебри претворяются в нивы плодоносные и покрываются стовидными произращениями, единой Америке свойственными или удачно в оную преселенными. Тучные луга потаптываются многочисленным скотом, на яству и работу человеком определяемым. Везде видна строящая рука делателя, везде кажется вид благосостояния и внешний знак устройства. Но кто же столь мощною рукою нудит скупую, ленивую природу давать плоды свои в толиком обилии? Заклав индейцев единовременно, злобствующие европейцы, проповедники миролюбия во имя бога истины, учителя кротости и человеколюбия, к корени яростного убийства завоевателей прививают хладнокровное убийство порабощения приобретением невольников куплею. Сии-то несчастные жертвы знойных берегов Нигера и Сенагала, отринутые своих домов и семейств, преселенные в неведомые им страны, под тяжким жезлом благоустройства вздирают обильные нивы Америки, трудов их гнушающейся. И мы страну опустошения назовем блаженною для того, что поля ее не поросли тернием и нивы их обилуют произращениями разнообразными. Назовем блаженною страну, где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова. О, дабы опустети паки обильным сим странам! дабы терние и волчец, простирая корень свой глубоко, истребил все драгие Америки произведения! Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас: «премени имя, повесть о тебе вещает».

Мы дивимся и ныне еще огромности египетских зданий. Неуподобительные пирамиды чрез долгое время доказывать будут смелое в созидании египтян зодчество. Но для чего сии столь нелепые кучи камней были уготованы? На погреб-

бение надменных фараонов. Кичливые сии властители, жаждая бессмертия, и по кончине хотели отличествовати внешностью своею от народа своего. И так огромность зданий, бесполезных обществу, суть явные доказательства его порабощения. В остатках погибших градов, где общее блаженство некогда водворялось, обрящем развалины училищ, больниц, гостиниц, водоводов, позорищ и тому подобных зданий; во градах же, где известнее было я, а не мы, находим остатки великолепных царских чертогов, пространных конюшен, жилища зверей. Сравните то и другое; выбор наш не будет затруднителен.

Но что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремящее, надутость и истощение. Я таковую славу применю к шарам, в 18-м столетии изобретенным: из шелковой ткани сложенные, наполняются они мгновенно горючим воздухом и взлетают с быстротою звука до выпретенных пределов эфира. Но то, что их составляло силу, истекает из среды тончайшими скважинами непрестанно; тяжесть, горé вращавшаяся, приемлет естественный путь падения долу; и то, что месяцы целые сооружалось со трудом, тщанием и иждивением, едва часов несколько может веселить взоры зрителей.

Но вопросы, чего жаждет завоеватель; чего он ищет, опустошая страны населенные или покоряя пустыни своей державе? Ответ получим мы от яростнейшего из всех, от Александра, Великим названного; но велик поистине не в делах своих, но в силах душевных и разорениях. «О афиняне! — вещал он, — колико стоит мне быть хвалиму вами». Несмысленный, воззри на шествие твое. Крутой вихрь твоего полета, преносся чрез твою область, затаскивает в вертение свое жителей ее и, влача силу государства во своем стремлении, за собою оставляет пустыню и мертвое пространство. Не рассуждаешь ты, о ярый вепрь, что, опустошая землю свою победою, в завоеванной ничего не обрящешь, тебя усаждающего. Если приобрел пустыню, то она соделается могилою для твоих сограждан, в коей они сокрываются будут; населяя новую пустыню, превратишь страну обильную в бесплодную. Какая же прибыль, что из пустыни соделал селидьбы, если другие населения тем сделал пустыми? Если же приобрел населенную страну, то исчисли убийства твои и ужаснися. Искоренить долженствуешь ты все сердца, тебя в громоносности твоей возненавидевшие; не мни убо, что любити можно, его же бояться нудятся. По истреблении мужественных граждан останутся и будут подвластны тебе робкие души, рабства иго восприя-

ти готовые; но и в них ненависть к подавляющей твоей победе укоренится глубоко. Плод твоего завоевания будет — не лъсти себе — убийство и ненависть. Мучитель пребудешь на памяти потомков; казниться будешь, ведая, что мерзят тебя новые рабы твои и от тебя кончины твоя просят.

Но, нисходя к ближайшим о состоянии земледельцев понятиям, колико вредным его находим мы для общества. Вредно оно в размножении произрастений и народа, вредно примером своим и опасно в беспокойствии своем. Человек, в начинаниях своих двигаемый корыстию, предприимлет то, что ему служить может на пользу, ближайшую или дальнюю, и удаляется того, в чем он не обретает пользы, ближайшей или дальновидной. Следуя сему естественному побуждению, все начинаемое для себя, все, что делаем без принуждения, делаем с прилежанием, рачением, хорошо. Напротив того, все то, на что несвободно подвизаемся, все то, что не для своей совершаем пользы, делаем оплошно, лениво, косо и криво. Таковых находим мы земледельцев в государстве нашем. Нива у них чуждая, плод оная им не принадлежит. И для того обрабатывают ее лениво; и не радуют о том, не запустеет ли среди делания. Сравни сию ниву с данною надменным владельцем на тощее прокормление делателю. Не жалеет сей о трудах своих, ее ради предпринимаемых. Ничто не отвлекает его от делания. Жестокость времени он одолевает бодрственно; часы, на упокоение определенные, проводит в трудах; во дни, на веселие определенные, оного чуждается. Зане рачит о себе, работает для себя, делает про себя. И так нива его даст ему плод сугубый; и так все плоды трудов земледельцев мертвеют или паче не возрождаются, они же родились бы и были живы на насыщение граждан, если бы делание нив было рачительно, если бы было свободно.

Но если принужденная работа дает меньше плода, то не достигающие своей цели земные произведения толико же препятствуют размножению народа. Где есть нечего, там хотя бы и было кому есть, не будет; умрут от истощения. Тако нива рабства, неполный давая плод, мертвит граждан, им же определены были природою избытки ее. Но сим ли одним препятствуется в рабстве многоплодие? К недостатку прокормления и одежд присовокупили работу до изнеможения. Умножь оскорбления надменности и уязвления силы, даже в любезнейших человека чувствованиях, тогда со ужасом узришь возникшее губительство неволи, которое тем только различествует от побед и завоеваний, что не дает тому родиться, что победа посекает. Но от нее вреда больше.

Легко всяк усмотрит, что одна опустошает случайно, мгновенно; другая губит долговременно и всегда; одна, когда пройдет полет ее, скончаеает свое свирепство; другая там только начнется, где сия кончится, и премениться не может, разве опасным всегда потрясением вся внутренности.

Но нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой робость. Тут никакой не можно быть связи, разве насилие. И сие, собираясь в малую среду, властнодержавное свое действие простирает всюду тяжко. Но поборники неволи, власть и острие в руках имеющие, сами ключимые во узах, наияростнейшие оныя бывают проповедники. Кажется, что дух свободы толико в рабах иссякает, что не токмо не желают скончать своего страдания, но тягостно им зрети, что другие свободствуют. Оковы свои возлюбляют, если возможно человеку любить свою пагубу. Мне мнится в них зрети змию, совершившую падение первого человека. — Примеры властвования суть заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, иссасающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнулися, может быть, на действия самовластия, и хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого стремились, но поступок наш державный полезностию своею оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения.

Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, в которой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможен. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение koliko яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не

умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно. Гибель возносится горé постепенно, и опасность уже вращается над главами нашими. Уже время, вознесши косу, ждет часа удобности, и первый льстец или любитель человечества, возникши на пробуждение несчастных, ускорит его мах. Блюдитесь.

Но если ужас гибели и опасность потрясения стяжаний подвинуть может слабого из вас, неужели не будем мы толико мужественны в побеждении наших предрассуждений, в поправлении нашего корыстолюбия и не освободим братию нашу из оков рабства и не восстановим природное всех равенство? Ведая сердец ваших расположение, приятнее им убедиться доводами, в человеческом сердце почерпнутыми, нежели в исчислениях корыстолюбивого благоразумия, а менее еще в опасности. Идите, возлюбленные мои, идите в жилища братии вашей, возвестите о премене их жребия. Вещайте с ощущением сердечным: подвинутые на жалость вашею участию, соболезнуя о подобных нам, познав ваше равенство с нами и убежденные общею пользою, пришли мы, да лобзаем братию нашу. Оставили мы гордое различие, нас толико времени от вас отделявшее, забыли мы существовавшее между нами неравенство, восторжествуем ныне о победе нашей, и сей день, в он же сокрушаются оковы сограждан нам любезных, да будет знаменитейший в летописях наших. Забудьте наше прежнее злодейство на вас, и да возлюбим друг друга искренне.

Се будет глагол ваш; се слышится он уже во внутренности сердец ваших. Не медлите, возлюбленные мои. Время летит; дни наши преходят в недействии. Да не скончаем жизни наша, возымев только мысль благую и не возмогши ее исполнить. Да не воспользуется тем потомство наше, да не пожнет венца нашего и с презрением о нас да не скажет: они были.

Вот что я прочел в замаранной грязию бумаге, которую поднял я перед почтовою избою, вылезая из кибитки моей.

Вошел в избу, я спрашивал, кто были проезжие незадолго передо мною.

— Последний из проезжающих, — говорил мне почталион, — был человек лет пятидесяти; едет по подорожной в Петербург. Он у нас забыл связку бумаг, которую я теперь за ним вслед посылаю.

Я попросил почталиона, чтобы он дал мне сии бумаги

посмотреть, и, развернув их, узнал, что найденная мною к ним же принадлежала. Уговорил я его, чтобы он бумаги сии отдал мне, дав ему за то награждение. Рассматривая их, узнал, что они принадлежали искреннему моему другу, а потому не почел я их приобретение кражею. Он их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу.

Между тем как лошадей моих перепрягали, я любопытствовал, рассматривая доставшиеся мне бумаги. Множество нашел я подобных той, которую читал. Везде я обретал расположения человеколюбивого сердца, везде видел гражданина будущих времен. Более всего видно было, что друг мой поражен был несоразмерностью гражданских чиновостояний. Целая связка бумаг и начертаний законоположений относилась к уничтожению рабства в России. Но друг мой, ведая, что высшая власть недостаточна в силах своих на претворение мнений мгновенно, начертал путь повременным законоположениям к постепенному освобождению земледельцев в России. Я здесь покажу шествие его мыслей. Первое положение относится к разделению сельского рабства и рабства домашнего. Сие последнее уничтожается прежде всего, и запрещается поселян и всех, по деревням в ревизии написанных, брать в дома. Буде помещик возьмет земледельца в дом свой для услуг или работы, то земледелец становится свободен. Дозволить крестьянам вступать в супружество, не требуя на то согласия своего господина. Запретить брать выводные деньги. Второе положение относится к собственности и защите земледельцев. Удел в земле, ими обрабатываемый, должны они иметь собственностью; ибо платят сами подушную подать. Приобретенное крестьянином имение ему принадлежать долженствует; никто его оно да не лишит самопроизвольно. Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму быть ему равными, то есть в расправах, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда. — Исчезни варварское обыкновение, разрушися власть тигров! — вещает нам законодатель... За сим следует совершенное уничтожение рабства.

Между многими постановлениями, относящимися к восстановлению по возможности равенства во гражданах, нашел я табель о рангах. Сколь она была некстати нынешним временам и оным несоразмерна, всяк сам может вообра-

зять. Но теперь дуга коренной лошади звенит уже в колокольчик и зовет меня к отъезду; и для того я за благо положил лучше рассуждать о том, что выгоднее для едущего на почте, чтобы лошади шли рысью или иноходью, или что выгоднее для почтовой клячи, быть иноходцем или скакуном? — нежели заниматься тем, что не существует.

ВЫШНИЙ ВОЛОЧОК

Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее благодеяниях и сделать реку рукодельною, дабы все концы единой области в ящике привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства. Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи, змеи и жабы, — любопытный путешественник обращет глаголющие остатки величия их в торговле. Римляне строили большие дороги, водоводы, коих прочности и ныне по справедливости удивляются; но о водяных сообщениях, каковые есть в Европе, они не имели понятия. Дороги, каковые у римлян бывали, наши не будут никогда; препятствует тому наша долгая зима и сильные морозы, а каналы и без обделки не скоро заровняются.

Немало увеселительным было для меня зрелищем вышневолоцкий канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными и приготавливающимися к прохождению сквозь шлюз для дальнейшего плавания до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледельца; тут явен был во всем своем блеске мощный побудитель человеческих деяний — корыстолюбие. Но если при первом взгляде разум мой услаждался видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло мое радование. Ибо вспомню, что в России многие земледельцы не для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России доказывает отягченный жребий ее жителей. Удовольствие мое пременилось в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгоценные ее произведения, как-то сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся еще от пота, слез и крови, их омывших при их возделании.

— Вообрази себе, — говорил мне некогда мой друг, — что кофе, налитый в твоей чашке, и сахар, распущенный в оном, лишали покоя тебе подобного человека, что они были причиною превосходящих его силы трудов, причиною его слез, стенаний, казни и поругания; дерзай, жестокосердый, усладить гортань твою. — Вид прещения, сопутствовавший сему изречению, поколебнул меня до внутренности. Рука моя задрожала, и кофе пролился.

А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах или на дружеском пиру или наедине, когда рука ваша вознесет первый кусок хлеба, определенный на ваше насыщение, остановитесь и помыслите. Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки? Не потом ли, не слезами ли и стенанием утучнялися нивы, на которых оный возрос? Блаженны, если кусок хлеба, вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною называемой, или по крайней мере на ниве, оброк помещику своему платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежавшего в житнице дворянской. На нем почили скорбь и отчаяние; на нем знаменовалось проклятие всевышнего, егда во гневе своем рек: проклята земля в делах своих. Блюдитесь, да не отравлены будете вожделенною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней возлегает. Отрините ее от уст ваших; поститесь, се истинное и полезное может быть пощение.

Повествование о некотором помещике докажет, что человек корысти ради своей забывает человечество в подобных ему и что за примером жестокосердия не имеем нужды ходить в дальние страны, ни чудес искать за тридевять земель; в нашем царстве они в очью совершаются.

Некто, не нашед в службе, как то по просторечию называют, счастья или не желая одного в ней снискать, удалился из столицы, приобрел небольшую деревню, например во сто или в двести душ, определил себя искать прибытка в земледелии. Не сам он себя определял к сохе, но вознамерился наидействительнейшим образом всевозможное сделать употребление естественных сил своих крестьян, прилагая оные к обрабатыванию земли. Способом к сему надежнейшим почел он уподобить крестьян своим орудиям, ни воли, ни побуждения не имеющим; и уподобил их действительно в некотором отношении нынешнего века воинам, управляемым грудю, устремляющимся на бою грудю, а в единственности ничего не значущим. Для достижения своей цели он отнял у них малый удел пашни и сенных по-

косов, которые им на необходимое пропитание дают обыкновенно дворяне, яко в воздаяние за все принужденные работы, которые они от крестьян требуют. Словом, сей дворянин некто всех крестьян, жен и их детей заставил во все дни года работать на себя. А дабы они не умирали с голоду, то выдавал он им определенное количество хлеба, под именем месячины известное. Те, которые не имели семейств, месячины не получали, а по обыкновению лакедемонян пировали вместе на господском дворе, употребляя, для соблюдения желудка, в мясоед пустые шти, а в посты и постные дни хлеб с квасом. Истинные розговины бывали разве на святой неделе.

Таковым урядникам производилася также приличная и соразмерная их состоянию одежда. Обувь для зимы, то есть лапти, делали они сами; онучи получали от господина своего; а летом ходили босы. Следственно, у таковых узников не было ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни барана. Дозволение держать их господин у них не отымал, но способы к тому. Кто был позажиточнее, кто был умереннее в пище, тот держал несколько птиц, которых господин иногда бирал себе, платя за них цену по своей воле.

При таковом заведении неудивительно, что земледелие в деревне г. некто было в цветущем состоянии. Когда у всех худой был урожай, у него родился хлеб сам-четверт; когда у других хороший был урожай, то у него приходил хлеб сам-десять и более. В недолгом времени к двумстам душам он еще купил двести жертв своему корыстолюбию; и, поступая с ними равно, как и с первыми, год от году умножал свое имение, усугубляя число стнящих на его нивах. Теперь он считает их уже тысячами и славится как знаменитый земледelec.

Варвар! Не достоин ты носить имя гражданина. Какая польза государству, что несколько тысяч четвертей в год более родится хлеба, если те, кои его производят, считаются наравне с волом, определенным тяжкую вздирати борозду? Или блаженство граждан в том почитаем, чтоб полны были хлеба наши житницы, а желудки пусты? чтобы один благословлял правительство, а не тысячи? Богатство сего кровопийца ему не принадлежит. Оно нажито грабежом и заслуживает строгого в законе наказания. И суть люди, которые, взирая на утучненные нивы сего палача, ставят его в пример усовершенствования в земледелии. И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена попечителей о благе общем. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственного богатства почитаете,

прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщенье. Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалось его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя, дабы всяк, его видя, не только его гнушался, но убегал бы его приближения, дабы не заразиться его примером.

ВЫДРОПУСК

Здесь я опять принялся за бумаги моего друга. В руки мне попало начертание положения о уничтожении придворных чинов.

ПРОЕКТ В БУДУЩЕМ

Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство постепенно паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства. Полезно государству в начале своем личными своими заслугами, ослабело оно в подвигах своих наследственностию, и, сладкий при насаждении, его корень произнес наконец плод горький. На месте мужества водворилась надменность и самолюбие, на месте благородства души и щедроты посеялись раболепие и самонедоверение, истинные скряги на великое. Жителствуя среди столь тесных душ и подвигаемые на малости ласкательством наследственных достоинств и заслуг, многие государи возмнили, что они суть боги и вся его же коснутся, блаженно сотворят и пресветло. Тако и быть долженствует в деяниях наших, но токмо на пользу общую. В таковой дремоте величания власти возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежечасно предстоя взорам их, заимствуют их светозарности; что блеск царский, преломляясь, так сказать, в сих новых отсветках, многочисленнее является и с сильнейшим отражением. На таковой блуждения мысли воздвигли цари придворных истуканов, кои, истинные феатральные божки, повинуются свистку или трещотке. Пройдем степени придворных чинов и с улыбкою сожаления отворотим взоры наши от кичащихся служением своим; но возрыдаем, видя их предпочитаемых заслуге. Дворецкий мой, конюший и даже конюх и кучер, повар, крайчий, птицелов с подчиненными ему охотниками, горничные мои прислужники, тот, кто меня бреет, тот, кто чешет власы главы моя, тот, кто пыль и грязь отирает с обу-

ви моей, о многих других не упоминая, равняются или председательствуют отечеству силами своими душевными и телесными, не щадя ради отечества ни здоровья своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государства. Какая вам в том польза, что в доме моем господствуют чистота и опрятность? Сытее ли вы накормитесь, буде кушанье мое лучше вашего приготовлено и в сосудах моих лиется вино из всех концов вселенной? Укроетесь ли в шествии вашем от неприязненности погоды, буде колесница моя позлащена и кони мои тучны? Лучший ли даст нива вам плод, луга ваши больше ли позеленеют, буде потопчутся на ловитве зверей в мое увеселение? Вы улыбнетесь с чувствованием жалости. Но нередкий в справедливом негодовании своем скажет нам: тот, кто рачит о устройстве твоих чертогов, тот, кто их нагревает, тот, кто огненную пряность полуденных растений сочетает с холодной вязкостью северных туков для услаждения расслабленного твоего желудка и оцепенелого твоего вкуса; тот, кто воспекает в сосуде твоим сладкий сок африканского винограда; тот, кто умащает окружение твоей колесницы, кормит и напоет коней твоих; тот, кто во имя твое кровавую битву ведет со зверями дубравными и птицами небесными: все сии тунеядцы, все сии делеатели, как и многие другие, твоя надменности, высятся надо мною; над источившим потоки кровей на ратном поле, над потерявшим нужнейшие члены тела моего, защищая грады твои и чертоги, в них же сокрытая твоя робость завесою величавости мужеством казалася; над провождающим дни веселий, юности и утех во сбережении малейших полушки, да облегчится, елико то возможно, общее бремя налогов; над не рачившим о имении своем, трудяся денно-нощно в снискании средств к достижению блаженств общественных; над попирающим родство, приязнь, союз сердца и крови, вещая правду на суде во имя твое, да возлюблен будешь. Власы белеют в подвигах наших, силы истощаются в подъемлемых нами трудах, и при воскреании гроба едва возмогаем удостоиться твоего благоволения; а сии упитанные тельцы сосцами нежности и пороков, сии незаконные сыны отечества наследят в стяжании нашем.

Тако и более еще по справедливости возглаголют от вас многие. Что дадим мы, владыки сил, в ответ? Прикроем бесчувствием уничтожение наше, и видится воспаленна ярость в очах наших на вещающих сице. Таковы бывают нередко ответы наши вещаниям истины. И никто да не дивится сему, когда наилучший между нами дерзает таковая; он живет с ласкателями, беседует с ласкателями, спит в лести, хо-

ждает в лести. И лесть и ласкательство соделают его глуха, слепа и неосязательна.

Но да не падет на нас таковая укоризна. С младенчества нашего возненавидев ласкательство, мы соблюли сердце наше от ядовитой его сладости, даже до сего дня; и ныне новый опыт в любви нашей к вам и преданности явен да будет. Мы уничтожаем ныне сравнение царедворского служения с военным и гражданским. Истребися на памяти обыкновение, во стыд наш толико лет существовавшее. Истинные заслуги и достоинства, рачение о пользе общей да получают награду в трудах своих и едины да отличаются.

Сложив с сердца нашего столь несносное бремя, долговременно нас теснившее, мы явим вам наши побуждения на уничтожение столь оскорбительных для заслуги и достоинства чинов. Вещают вам, и предки наши тех же были мыслей, что царский престол, коего сила во мнении граждан коренится, отличествовать долженствует внешним блеском, дабы мнение о его величестве было всегда всецело и ненарушимо. Оттуда пышная внешность властителей народов, оттуда стадо рабов, их окружающих. Согласиться всяк должен, что тесные умы и малые души внешность поражать может. Но чем народ просвещеннее, то есть чем более особенников в просвещении, тем внешность менее действовать может. Нума мог грубых еще римлян уверить, что нимфа Эгерия наставляла его в его законоположениях. Слабые перуанцы охотно верили Манко Капаку, что он сын солнца и что закон его с небеси истекает. Магомет мог прельстить скитающихся аравитян своими бреднями. Все они употребляли внешность, даже Моисей принял скрыжали заповедей на горе среди блеску молний. Но ныне, буде кто прельстити восхощет, не блистательная нужна ему внешность, но внешность доводов, если так сказать можно, внешность убеждений. Кто бы восхотел ныне послание свое утвердить свыше, тот употребит более наружность полезности, и тою все тронутся. Мы же, устремляя все силы наши на пользу всех и каждого, почто нам блеск внешности? Не полезностию ли наших постановлений, ко благу государства текущей, облистает наше лице? Всяк, взирающий на нас, узрит наше благомыслие, узрит в подвиге нашем свою пользу и того ради нам поклонится, не яко во ужасе шествующему, но сидящему во благодати. Если бы древние персы управлялись всегда щедротою, не бы возмечтали быти Аримау или ненавистному началу зла. Но если пышная внешность нам бесполезна, колико вредны в государстве быть могут ее оберегатели.

Единственною обязанностию во служении своем имея угождение нам, колико изыскательны будут они во всем том, что нам нравиться может. Желание наше будет предупреждено; но не токмо желанию не допустят возродиться в нас, но даже и мысли, зане готово уже ей удовлетворение. Воззрите со ужасом на действие таковых угождений. Наитвердейшая душа во правилах своих позыбнется, приклонит ухо ласкательному сладкопению, уснет. И се сладостные чары обыдут разум и сердце. Горесть и обида чуждые едва покажутся нам преходящими недугами; скорбети о них почтем или неприличным, или же противным и воспретим даже жаловаться о них. Язвительнейшие скорби и раны и самая смерть покажутся нам необходимыми действиями течения вещей и, являясь нам позади непрозрачныя завесы, едва возмогут ли в нас произвести то мгновенное движение, какое производят в нас феатральные представления. Зане стрела болезни и жало зла не в нас дрожит вонзенное.

Се слабая картина всех пагубных следствий пышного царей действия. Не блаженны ли мы, если возмogli укрыться от возмущения благонамерений наших? Не блаженны ли, если и заразе примера положили преграду? Надежны в благосердии нашем, надежны не в разврате со вне, надежны во умеренности ваших желаний; возблагоденствуем снова и будем примером позднешему потомству, како власть со свободою сочетать должно на взаимную пользу.

ТОРЖОК

Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволения не нужно; ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в ценсуре; и вот его о том размышления.

— Типографии у нас всем иметь дозволено, и время то прошло, в которое боялися поступаться оным дозволением частным людям; и для того, что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления. Теперь свободно иметь всякому орудия печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Ценсура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помо-

чах, от чего нередко бывают кривые ноги; где есть опекуны, следует, что есть малолетние, незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда пребудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не может править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной цензуры, и чем она строже, тем следствия ее пагубнее. Послушаем Гердера.

«Наилучший способ поощрять доброе есть препятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки: он стужает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая десять ценсур прежде, нежели достигнет света, не есть книга, но поделка святой инквизиции; часто изуродованный, сеченный батожем, с кляпом во рту узник, а раб всегда... В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна; не может того правительство, менее еще его ценсор, в клобуке ли он или с темляком. В царстве истины он не судия, но ответчик, как и сочинитель. Исправление может только совершиться просвещением; без главы и мозга не шевельнется ни рука, ни нога... Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и страстися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя; тем более благоволит оно в свободе мыслей и в свободе писаний, а от нее под конец прибыль, конечно, будет истине. Губители бывают подозрительны; тайные злодеи робки. Явный муж, творяй правду и твердый в правилах своих, допустит о себе глагол всякий. Хождает он во дни и на пользу себе строит клевету своих злодеев. Откупы в помышлениях вредны... Правитель государства да будет беспристрастен во мнениях, дабы мог объять мнения всех и оные в государстве своем дозволять, просвещать и наклонять к общему добру: оттого-то истинно великие государи столь редки».

Правительство, дознав полезность книгопечатания, оное дозволило всем; но, паче еще дознав, что запрещение в мыслях утщетит благое намерение вольности книгопечатания, поручило цензуру, или присмотр за изданиями, управе благочиния. Долг же ее в отношении сего может быть только тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений. Но и сия цензура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума; запретит по-

лезное изобретение, новую мысль и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее: лукавым богом. Мундирный цензор, исполненный духа благоговения, сие выражение почернил, говоря: «неприлично божество называть лукавым». Кто чего не понимает, тот в то да не мешается. Если хочешь благорастворенного воздуха, удали от себя коптильню; если хочешь света, удали затмение; если хочешь, чтобы дитя не было застенчиво, то выгони лозу из училища. В доме, где плети и батожье в моде, там служители пьяницы, воры и того еще хуже¹.

Пусть печатают все, кому что на ум ни взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому да дастся суд по форме. Я говорю не смехом. Слова не всегда суть деяния, размышления же не преступления. Се правила Наказа о новом уложении. Но брань на словах и в печати всегда брань. В законе никого бранить не велено, и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажет правду, бранью ли то почитать, того в законе нет. Какой вред может быть, если книги в печати будут без клейма полицейского? Не токмо не может быть вреда, но польза; польза от первого до последнего, от малого до великого, от царя до последнего гражданина.

Обыкновенные правила цензуры суть: подчеркивать, мазать, не позволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противное благонравию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Если безумец в мечтании своем не токмо в сердце, но громким гласом речет: «несть бога», в устах всех безумных раздастся громкое и поспешное эхо: «несть бога, несть бога». Но что ж из того? Эхо — звук; ударит в воздух, позыбнет его и исчезнет. На разуме редко оставит черту, и то слабую; на сердце же никогда. Бог всегда пребудет бог, ощущаем и неверующим в него. Но если думаешь, что хулением всевышний оскорбится, — урядник ли благочиния может быть за него истец? Всесильный звонящему в трещотку или бьющему

¹ Такого же роду цензор не позволял, сказывают, печатать те сочинения, где упоминалось о боге, говоря: я с ним дела никакого не имею. Если в каком-либо сочинении порочили народные нравы того или другого государства, он недозволенным сие почитал, говоря: Россия имеет тракт дружбы с ним. Если упоминалось где о князе или графе, того не позволял он печатать, говоря: сие есть личность, ибо у нас есть князья и графы между знатными особами.

в набат доверия не даст. Возгнушастся метатель грома и молнии, ему же все стихии повинуются, возгнушается колеблющий сердца из-за пределов вселенныя дать мстити за себя и самому царю, мечтающему быть его на земли преемником. Кто же может быть судиею в обиде отца предвечного? — Тот его обижает, кто мнит, возможет судити о его обиде. Тот даст ответ пред ним.

Отступники откровенной религии более доселе в России делали вреда, нежели испризнаватели бытия божия, афеисты. Таковых у нас мало; ибо мало у нас еще думают о метафизике. Афеист заблуждает в метафизике, а раскольник в трех пальцах. Раскольниками называем мы всех россиян, отступающих в чем-либо от общего учения греческия церкви. Их в России много, и для того служение им дозволяется. Но для чего не позволять всякому заблуждению быть явному? Явное оно будет, скорее сокрушится. Гонения делали мучеников; жестокость была подпорою самого христианского закона. Действия расколов суть ниогда вредны. Воспрети их. Проповедуются они примером. Уничтожь пример. От печатной книги раскольник не бросится в огонь, но от ухищренного примера. Запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю; всяк увидит, что глупо и что умио. Что запрещено, того и хочется. Мы все Евнины дети.

Но, запрещая вольное книгопечатание, робкие правительства не богохуления боятся, но боятся сами иметь порицателей. Кто в часы безумия не шадит бога, тот в часы памяти и рассудка не пощадит незаконной власти. Не боясь громов всесильного, смеется висельце. Для того-то вольность мыслей правительствам страшна. До внутренности потрясенный вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и неизбукую руку к истукану власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит брешные его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору, сила возвратится к источнику, истукан падет. Но если власть не на тумане мнений восседает, если престол ее на искренности и истинной любви общего блага возиик, — не утвердится ли паче, когда основание его будет явно; не возлюбится ли любящий искренно? Взаимность есть чувствование природы, и стремление сие почило в естестве. Прочиому и твердому зданию довольно его собственного основания; в опорах и контрфорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно от ветхости, тогда только побочные тверди ему нужны. Правительство да будет истинно, вожди его нелицемерны; тогда все плевели, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на

извергателя их; а истина пребудет всегда чиста и беловидна. Кто возмущает словом (да назовем так в угодность власти все твердые размышления, на истине основанные, власти противные), есть такой же безумец, как и хулу глаголяй на бога. Буде власть шествует стезею, ей назначенной, то не возмутится от пустого звука клеветы, яко же господь сил не тревожится хулением. Но горе ей, если в жадности своей ломит правду. Тогда и едина мысль твердости ее тревожит, глагол истины ее сокрушит, деяние мужества ее развеет.

Личность, но язвительная личность, есть обида. Личность в истине столь же позволительна, как и самая истина. Если ослепленный судия судит в неправду и защитник невинности издаст в свет его коварный приговор, если он покажет его ухищрение и неправду, то будет сие личность, но дозволенная; если он его назовет судию наемным, ложным, глупым — есть личность, но дозволить можно. Если же называть его станет именованиями смрадными и бранными словами поносить, как то на рынках употребительно, то сие личность, но язвительная и недозволенная. Но не правительства дело вступаться за судию, хотя бы он поносился и в правом деле. Не судия да будет в том истец, но оскорбленное лицо. Судия же пред светом и пред поставившим его судиею да оправдится едиными делами¹. Тако долженствует судить о личности. Она наказания достойная, но в печатании более пользы устроит, а вреда мало. Когда все будет в порядке, когда решения всегда будут в законе, когда закон основан будет на истине и заклеплется удручение, тогда разве, тогда личность может сделать разврат. Скажем нечто о благонравии и сколько слова ему вредят.

Сочинения любострастные, наполненные похотливыми начертаниями, дышащие развратом, коего все листы и строки стрекательною наготою зияют, вредны для юношей и незрелых чувств. Распламеняя воспаленное воображение, тревожа спящие чувства и возбуждая покоящееся сердце, безвременную наводят возмужалость, обманывая юные чувства в твердости их и заготовляя им дряхлость. Таковые со-

¹ Г. Дикинсон, имевший участие в бывшей в Америке перемене и тем прославившийся, будучи после в Пенсильвании президентом, не возгнушался сражаться с наступавшими на него. Издааны были против него наихлосточайшие листы. Первейший градоначальник области нисшел в ристалище, издал в печать свое защищение, оправдался, опроверг доводы своих противников и их устыдил... Се пример для последования, как мстить должно, когда кто кого обвиняет пред светом печатным сочинением. Если кто свирепствует против печатных строки, тот заставляет мыслить, что печатанное истинно, а мстящий таков, как о нем напечатано.

чинения могут быть вредны; но не они разврату корень. Если, читая их, юноши пристрастятся к крайнему услаждению любовной страсти, то не могли бы того произвести в действие, не бы были торгующие своею красотою. В России таковых сочинений в печати еще нет, а на каждой улице в обеих столицах видим раскрашенных любовниц. Действие более развратит, нежели слово, и пример паче всего. Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торгова наддателью, тысячу юношей заразят язвою и все будущее потомство тысячи сея; но книга не давала еще болезни. И так цензура да останется на торговых девок, до произведений же развратного хотя разума ей дела нет.

Заключу сим: цензура печатаемого принадлежит обществу, оно дает сочинителю венец или употребит листы на обертки. Равно как ободрение феатральному сочинению дает публика, а не директор феатра, так и выпускаемому в мир сочинению цензор ни славы не даст, ни бесславия. Завеса поднялась, взоры всех устремились к действию; нравится — плещут; не нравится — стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждения общего; оно тысячу найдет ценсоров. Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут вовеки. Но если мы признали бесполезность цензуры или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную пользу вольности печатания.

Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно; великое будет велико, истина не затмится. Не дерзнут правители народов удалиться от стези правды и убоятся; ибо пути их, злость и ухищрение обнажатся. Вострепешет судия, подписывая несправедный приговор, и его раздерет. Устыдится власть имеющий употреблять ее на удовлетворение только своих прихотей. Тайный грабеж назовется грабежом, прикрытое убийство — убийством. Убоятся все злые строгого взора истины. Спокойствие будет действительное, ибо заквасу в нем не будет. Ныне поверхность только гладка, но ил, на дне лежащий, мутится и тмит прозрачность вод.

Прощаясь со мною, порицатель цензуры дал мне небольшую тетрадку. Если, читатель, ты нескучлив, то читай, что перед тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к ценсурному комитету, то загни лист и скачи мимо.

Если мы скажем и утвердим ясными доводами, что ценсура с инквизициею принадлежат к одному корню; что учредители инквизиции изобрели ценсуру, то есть рассмотрение приказное книг до издания их в свет, то мы ничего не скажем нового, но из мрака протекших времен извлечем, вдобавок многим другим, ясное доказательство, что священнослужители были всегда изобретатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, что они подстригали ему крылья, да не обратит полет свой к величю и свободе.

Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие. Народ афинский, священнослужителями возбужденный, писания Протагоры запретил, велел все списки оных собрать и сжечь. Не он ли в безумии своем предал смерти, на неизгладимое вовеки себе поношение, воочеловеченную истину — Сократа? В Риме находим мы больше примеров такого свирепствования. Тит Ливий повествует, что найденные во гробе Нумы писания были сожжены повелением сената. В разные времена случалось, что книги гадательные велено было относить к претору. Светоний повествует, что Кесарь Август таковых книг велел сжечь до двух тысяч. Еще пример несообразности человеческого разума! Неужели, запрещая суеверные писания, властители сии думали, что суеверие истребится? Каждому в особенности своей воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токмо мгновенное грызущей скорби, оставляли явные и государственные гадания авгуров и аруспициев. Но если бы во дни просвещения возмнили книги, учащие гаданию или суеверие проповедующие, запрещать или жечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гоения на суеверие? чтоб истина искала на поражение заблуждения опоры власти и меча, когда вид ее один есть инаижесточайший бич на заблуждение?

Но Кесарь Август не на гадания один простер свои гоения, он велел сжечь книги Тита Лабиеция. «Злодей его, — говорит Сеиека ритор, — изобрели для него сие нового рода наказание. Неслыханное дело и необычайное — казнь извлекать из учения. Но по счастью государства сие разумное свирепствование изобретено после Цицерона. Что быть бы могло, если бы троеначальники за благо положили осудить разум Цицерона?» Но мучитель скоро отмстил за Лабиеция

тому, кто исходатайствовал сожжение его сочинений. При жизни своей видел он, что и его сочинения преданы были огню¹. «Не злomu какому примеру тут следовано, — говорит Сенека, — его собственному»². Дажь небо, чтобы зло всегда обращалось на изобретателя его и чтобы воздвигший гонение на мысль зрел всегда свои осмеянными, в поругании и на истребление осужденными! Если мщение когда-либо извинительно быть может, то разве сие.

Во времена народного правления в Риме гонения такового рода обращались только на суеверие, но при императорах простерлось оно на все твердые мысли. Кремуций Корд в истории своей назвал Кассия, дерзнувшего осмеять мучительство Августово на Лабиины сочинения, последним римлянином. Римский сенат, ползая пред Тиверием, велел во угождение ему Кремуциеву книгу сжечь. Но многие с оной остались списки. «Тем паче, — говорит Тацит, — смеяться можно над попечением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминание следующего поколения. Хоть власть бешенствует на казнь рассудка, но свирепствованием своим себе устроила стыд и посрамление, им славу».

Не избавились сожжения книги иудейские при Антиохе Епифане, царе Сирском. Равной с ними подвержены были участи сочинения христиан. Император Диоклитиан книги священного писания велел предать сожжению. Но христианский закон, одержав победу над мучительством, покорил самих мучителей, и ныне остается во свидетельство неложное, что гонение на мысли и мнения не токмо не в силах оных истребить, но укоренят их и распространят. Арнобий справедливо восстает противу такового гонения и мучительства. «Иные вещают, — говорил он, — полезно для государства, чтобы сенат истребить велел писания, в доказательство христианского исповедания служащие, которые важность опровергают древния религии. Но запрещать писания и обнародованное хотеть истребить не есть защищать богов, но бояться истины свидетельствования». Но по распространении христианского исповедания священнослужители оно го толико же стали злобны против писаний, которые были им

¹ Сочинения Ария Монтаны, издавшего в Нидерландах первый реестр запрещенным книгам, вмещены были в тот же реестр.

² Кассий Север, друг Лабиины, видя его писания в огне, сказал: «Теперь меня сжечь надлежит: ибо я их изаистую знаю». Сие подало случай при Августе к законоположению о поносительных сочинениях, которое по природному человечеству обезьянству принято в Англии и в других государствах.

противны и не в пользу. Недавно порицали строгость сию в язычниках, недавно почитали ее знаком недоверения к тому, что защищали, но скоро сами ополчились всемогуществом. Греческие императоры, занимаясь более церковными прениями, нежели делами государственными, а потому управляемые священниками, воздвигли гонение на всех тех, кто деяния и учения Иисусовы понимал с ними различно. Таковое гонение распростерлося и на произведение рассудка и разума. Уже мучитель Константин, Великим названный, следуя решению Никейского собора, предавшему Ариево учение проклятию, запретил его книги, осудил их на сожжение, а того, кто оные книги иметь будет, — на смерть. Император Феодосий II проклятые книги Нестория велел все собрать и предать огню. На Халкидонском соборе то же положено о писаниях Евтихия. В Пандектах Юстиниановых сохранены некоторые таковые решения. Несмысленные! не ведали, что, истребляя превратное или глупое истолкование христианского учения и запрещая разуму трудиться в исследовании каких-либо мнений, они останавливали его шествие; у истины отнимали сильную опору: различие мнений, прения и невозбранное мыслей своих изречение. Кто может за то поручиться, что Несторий, Арий, Евтихий и другие еретики быть бы могли предшественниками Лутера и, если бы все вселенские соборы не были созваны, что бы Декарт родиться мог десять столетий прежде? Какой шаг вспять сделан ко тьме и невежеству!

По разрушении Римския империи монахи в Европе были хранители учености и науки. Но никто у них не оспаривал свободы писать, что они желали. В 768 году Амвросий Оперт, монах бенедиктинский, посылая толкование свое на Апокалипсис к папе Стефану III и прося дозволения о продолжении своего труда и о издании его в свет, говорит, что он первый из писателей просит такового дозволения. «Но да не исчезнет, — продолжает он, — свобода в писании для того, что уничтожение поклонилось непринужденно». Собор Санский в 1140 году осудил мнения Абелардовы, а папа сочинения его велел сжечь.

Но ни в Греции, ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы избран был судия мысли, чтобы кто дерзнул сказать: у меня просите дозволения, если уста ваши отверзать хотите на велеречие; у нас клеймится разум, науки и просвещение, и все, что без нашего клейма явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Таковое постыдное изобретение предоставлено было христианскому священству, и ценсура была современна инквизиции.

Нередко, проходя историю, находим разум суеверию, изобретения наиболее полезными современниками грубейшему невежеству. В то время как боязливое недоверие к вещи утверждаемой побудило монахов учредить цензуру и мысль истреблять в ее рождении, в то самое время дерзал Колумб в неизвестность морей на искание Америки; Кеплер предузнавал бытие притягательной в природе силы, Ньютоном доказанной; в то же время родился начертавший в пространстве путь небесным телесам Коперник. Но к вящему сожалению о жребии человеческого умствования скажем, что мысль великая рождала иногда невежество. Книгопечатание родило цензуру; разум философский в XVIII столетии произвел иллюминатов.

В 1479 году находим древнейшее доселе известное дозволение на печатание книги. На конце книги под заглавием: «Знай сам себя», печатанной в 1480 году, присоединено следующее: «Мы, Морфей Жирардо, божием милосердием патриарх венецианский, первенствующий в Далматии, по прочтении вышеписанных господ, свидетельствующих о вышеписанном творении, и по таковому же одного заключению и присоединенному доврению также свидетельствуем, что книга сия православна и богобоязлива». Древнейший монумент цензуры, но не древнейший безумия!

Древнейшее о цензуре узаконение, доселе известное, находим в 1486 году, изданное в самом том городе, где изобретено книгопечатание. Предузнавали монашеские правления, что оно будет орудием сокрушения их власти, что оно ускорит развержение общего рассудка и могущество, на мнении, а не на пользе общей основанное, в книгопечатании обрящет свою кончину. Да позволят нам здесь присовокупить памятник, ныне еще существующий на пагубу мысли и на посрамление просвещения.

Указ о неиздании книг греческих, латинских и пр. на народном языке без предварительного ученых удостоверения 1486 года¹.

«Бертольд, божиею милостию святыя Маинцкия епархии архиепископ, в Германии архиканцлер и курфирст. Хотя для приобретения человеческого учения чрез божественное печатания искусство возможно с изобилием и свободнее получать книги, до разных наук касающиеся, но до сведения нашего дошло, что некоторые люди, побуждаемые суетными славы или богатства желанием, искусство сие употребляют

¹ Кодекс дипломатический, изданный Гуденом. Том IV.

во зло и данное для научения в житии человеческом обращают на пагубу и злоречие.

Мы видели книги, до священных должностей и обрядов исповедания нашего касающиеся, переведенные с латинского на немецкий язык и неблагопристойно для святого закона в руках простого народа обращающиеся; что ж сказать наконец о предписаниях святых правил и законоположений; хотя они людьми искусными в законоучении, людьми мудрейшими и красноречивейшими писаны разумно и тщательно, но наука сама по себе толико затруднительна, что красноречивейшего и ученейшего человека едва на оную достаточна целая жизнь.

Некоторые глупые, дерзновенные и невежды попускаются переводить на общий язык таковые книги. Многие ученые люди, читая переводы сии, признаются, что ради великой несвойственности и худого употребления слов они непонятнее подлинников. Что же скажем о сочинениях, до других наук касающихся, в которые часто вмешивают ложное, надписывают ложными названиями и тем паче славнейшим писателям приписывают свои вымыслы, чем более находится покупщиков.

Да вещают таковые переводчики, если возлюбляют истину, с каким бы намерением то ни делали, с добрым или худым, до того нет нужды; да вещают, немецкий язык удобен ли к предложению на оный того, что греческие и латинские изысканные писатели о вышних размышлениях христианского исповедания и о науках писали точнее и разумнее? Признаться надлежит, скудости ради своей, язык наш на сказанное недостаточен весьма, и нужно для того, чтобы они неизвестные имена вещам в мозгу своем сооружали; или если употребят древние, то испортят истинный смысл, чего наипаче опасаемся в писаниях священных в рассуждении их важности. Ибо грубым и неученым людям и женскому полу, в руки которых попадутся книги священные, кто покажет истинный смысл? Рассмотрим святого Евангелия строки или послания апостола Павла, всяк разумный признается, что много в них прибавлений и исправлений писцовых.

Сказанное нами довольно известно. Что же помыслим о том, что в писателях кафолическия церкви находится зависящее от строжайшего рассмотрения? Многое в пример поставить можем, но для сего намерения довольно уже нами сказанного.

Понеже начало сего искусства в славном нашем граде Майнце, скажем истинным словом, божественно явилось

и ныне в оном исправленно и обогащенно пребывает, то справедливо, чтобы мы в защиту нашу приняли важность сего искусства. Ибо должность наша есть сохранять святыя писания в нерастленной непорочности. Сказав таким образом о заблуждениях и о продерзостях людей наглых и злодеев, желая, елико нам возможно, пособием господним, о котором дело здесь, предупредить и наложить узду всем и каждому, церковным и светским нашей области подданным и вне пределов оныя торгующим, какого бы они звания и состояния ни были, — сим каждому повелеваем, чтобы никакое сочинение, в какой бы науке, художестве или знании ни было, с греческого, латинского или другого языка переводимо не было на немецкий язык или уже переведенное, с переменою токмо заглавия или чего другого, не было раздаваемо или продаваемо явно или скрытно, прямо или посторонним образом, если до печатания или после печати до издания в свет не будет иметь отверстого дозволения на печатание или издание в свет от любезных нам светлейших и благородных докторов и магистров университетских, а именно: во граде нашем Маинце от Иоганна Бертрама де Наумбурха в касающемся до богословия, от Александра Дидриха в законоучении, от Феодорика де Мешедя во врачебной науке, от Андрея Елера во словесности, избранных для сего в городе нашем Эрфурте докторов и магистров. В городе же Франкфурте, если таковые на продажу изданные книги не будут рассмотрены и утверждены почтенным и нам любезным одним богословия магистром и одним или двумя докторами и лиценциатами, которые от думы оного города на годовом жалованье содержимы быть имеют.

Если кто сие наше попечительное постановление презрит или против такового нашего указа подаст совет, помощь или благоприятство своим лицом или посторонним, — тем самым подвергает себя осуждению на проклятие, да сверх того лишен быть имеет тех книг и заплатит сто золотых гульденов пени в казну нашу. И сего решения никто без особого повеления да нарушить не дерзает. Дано в замке С. Мартына, во граде нашем Маинце, с приложением печати нашей. Месяца Януария, в четвертый день 1486 года».

Его же о предыдущем, каким образом отправлять цензуру. «Лета 1486 Бертольд и пр. Почтеннейшим учнейшим и любезнейшим нам во Христе И. Бертраму богословия, А. Дидриху законоучения, Ф. де Мешедю врачевания докторам и А. Елеру словесности магистру здравие и к нижеписанному прилежание.

Известившись о соблазнах и подлогах, от некоторых в науках переводчиков и книгопечатников происшедших, и желая оным предварить и заградить путь по возможности, повелеваем, да никто в епархии и области нашей не дерзает переводить книги на немецкий язык, печатать или печатные раздавать, доколе таковые сочинения или книги в городе нашем Маинце не будут рассмотрены вами и касательно до самой вещи, доколе не будут в переводе и для продажи вами утверждены, согласно с вышеобъявленным указом.

Надеяся твердо на ваше благоразумие и осторожность, мы вам поручаем: когда назначаемые к переводу, печатанию или продаже сочинения или книги к вам принесены будут, то вы рассмотрите их содержание, и если нелегко можно дать им истинный смысл или могут возродить заблуждения и соблазны или оскорбить целомудрие, то оные отвергните; те, которые вы отпустите свободными, имеете вы подписать своеручно, а именно на конце двое от вас, дабы тем виднее было, что те книги вами смотрены и утверждены. Богу нашему и государству любезную и полезную должность отправляйте. Дан в замке С. Мартына. 10 Января 1486 года».

Рассматривая сие новое по тогдашнему времени законоположение, находим, что оно клонилось более на запрещение, чтобы мало было книг печатано на немецком языке, или, другими словами, чтобы народ пребывал всегда в невежестве. На сочинения, на латинском языке писанные, ценсура, кажется, не распространялася. Ибо те, которые были сведущи в языке латинском, казалось, были уже ограждены от заблуждения, ему неприступны, и что читали, понимали ясно и некриво¹. И так священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещенны, чтобы народ науку почитал божественного происхождения, превыше его понятия и не смел бы оныя коснуться. И так изобретенное на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенное недоверяющею властью ко своему могуществу, изобретенное на продолжение невежества и мрака, ныне во дни наук и любомудрия, когда разум отряс несродные ему пути суеверия, когда истина блистает столично паче и паче, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительств стремятся на истребление заблуждений и на отверствие беспрепятственных путей

¹ Сравнить с ним можно дозволение иметь книги иностранные всякого рода и запрещение таковых же на языке народном.

рассудку к истине, постыдное монашеское изобретение трепещущей власти принято ныне повсеместно, укоренено и благою приемлется преградою блуждению. Неистовые! осмотритесь, вы стяжаете превратностию дать истине опору, вы заблуждением хотите просвещать народы. Блюдитесь убо, да не возродится тьма. Какая вам польза, что властвовать будете над невеждами, тем паче загрубелыми, что не от недостатка пособий к просвещению невежды пребыли в невежестве природы или паче в естественной простоте, но, сделав уже шаг к просвещению, остановлены в шествии и обращены вспять, во тьму гонимы? Какая в том вам польза бороться самим с собой и исторгать шуйцею, что десницею насадили? Воззрите на веселящееся о сем священство. Вы заранее уже ему служите. Прострите тьму и почувствуйте на себе оковы, — если не всегда оковы священного суеверия, то суеверия политического, не столь хотя смешного, но столь же пагубного.

По счастью, однако же, общества, что не изгнали из областей ваших книгопечатание. Яко древо, во всегдашней весне насажденное, не теряет своя зелени, тако орудия книгопечатания остановлены могут быть в действии, но не разрушены.

Папы, уразумев опасность их власти, от свободы печатания родиться могущей, не укоснили законоположить о цензуре, и сие положение прияло силу общего закона на бывшем вскоре потом соборе в Риме. Священный Тиверий, папа Александр VI, первый из пап законоположил о цензуре в 1507 году. Сам согбенный под всеми злодеяниями, не устыдился пещися о непорочности исповедания христианского. Но власть когда краснела! Буллу свою начинает он жалобою на диавола, который куколь сеет во пшенице, и говорит: «Узнав, что посредством сказанного искусства многие книги и сочинения, в разных частях света, наипаче в Кельне, Майнце, Триере, Магдебурге напечатанные, содержат в себе разные заблуждения, учения пагубные, христианскому закону враждебные, и ныне еще в некоторых местах печатаются, желая без отлагательства предварить сей ненавистной язве, всем и каждому сказанного искусства печатникам и к ним принадлежащим и всем, кто в печатном деле обращается в помянутых областях, под наказанием проклятия и денежные пени, определяемой и взыскиваемой почтенными братьями нашими, кельнским, майнцким, триерским и магдебургским архиепископами или их наместниками в областях их, в пользу апостольской камеры, апостольскою властью наистрожайше запрещаем, чтобы не

дерзали книг, сочинений или писаний печатать или отдавать в печать без доклада вышесказанным архиепископам или наместникам и без их особого и точного безденежно испрошенного дозволения; их же совесть обременяем, да прежде, нежели дадут таковое дозволение, назначенное к печатанию прилежно рассмотрят или чрез ученых и православных велят рассмотреть и да прилежно пекутся, чтобы не было печатано противного вере православной, безбожное и соблазн производящего». А дабы прежние книги не соделали более несчастий, то велено было рассмотреть все о книгах реестры и все печатные книги, а которые что-либо содержали противное кафолическому исповеданию, те сжечь.

О! вы, цензуру учреждающие, вспомните, что можете сравниться с папою Александром VI, и устыдитесь.

В 1515 году Латеранский собор о цензуре положил, чтобы никакая книга не была печатана без утверждения священства.

Из предыдущего видели мы, что цензура изобретена священством и ему была единственно присвоена. Сопровождаемая проклятием и денежным взысканием, справедливо в тогдашнее время казаться могла ужасною нарушителю изданных о ней законоположений. Но опровержение Лутером власти папской, отделение разных исповеданий от римския церкви, прения различных властей в продолжении тридесатилетней войны произвели много книг, которые явились в свет без обыкновенного клейма цензуры. Везде, однако же, духовенство присвоило себе право производить цензуру над изданиями; и когда в 1650 году учреждена была во Франции цензура гражданская, то богословский факультет Парижского университета новому установлению противуречил, ссылаясь, что двести лет он пользовался сим правом.

Скоро по введении¹ книгопечатания в Англии учреждена цензура. Звездная палата, не меньше ужасная в свое время в Англии, как в Испании инквизиция или в России Тайная канцелярия, определила число печатников и печатных станков; учредила освобождателя, без дозволения которого ничего печатать не смели. Жестокости ее против писавших о правительстве несчетны, и история ее оными наполнена. Итак, если в Англии суеверие духовное не в силах было на-

¹ Виллиам Какстон, лондонский купец, завел в Англии книгопечатницу при Эдуарде IV в 1474 году. Первая книга, печатанная на аглинском языке, была «Рассуждение о шашечной игре», переведенное с французского языка. Вторая — «Собрание речений и слов философов», переведенное лордом Риверсом.

ложить на разум тяжкую узду цензуры, возложена она суеверием политическим. Но то и другое пеклися, да власть будет всецела, да очи просвещения покрыты всегда пребудут туманом обаяния и да насиле царствует на счет рассудка.

Со смертью графа Страфорда рушилась Звездная палата; но ни уничтожение сего, ни судебная казнь Карла I не могли утвердить в Англии вольности книгопечатания. Долгий парламент возобновил прежние положения, против ее сделанные. При Карле II и при Якове I они пакн возобновлены. Даже по совершении премены в 1692 году узаконение сие подтверждено, но на два только года. Скончавшись в 1694 году, вольность печатания утверждена в Англии совершенно, и цензура, зевнув в последний раз, издохла¹.

Американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями, вольность гражданскую утверждающими. Пенсильванская область в основном своем законоположении, в главе I, в предложительном объявлении прав жителей пенсильванских, в 12 статье говорит: «Народ имеет право говорить, писать и обнародовать свои мнения; следовательно, свобода печатания никогда не долженствует быть затрудняема». В главе 2 о образе правления, в отделении 35: «Печатание да будет свободно для всех, кто хочет исследовать положения законодательного собрания или другой отрасли правления». В проекте о образе правления в Пенсильванском государстве, напечатанном, дабы жители оного могли сообщать свои примечания, в 1776 году в июле, отделение 35: «Свобода печатания отверста да будет всем; желающим исследовать законодательное правительство, и общее собрание да не коснется оная никаким положением. Никакой книгопечатник да не потребует к суду за то, что издал в свет примечания, ценения, наблюдения о поступках общего собрания, о разных частях правления, о делах общих или о поведении служащих, поколику оное касается до исполнения их должностей». Делаварское государство в объявлении изъяснительном прав, в 23 статье говорит: «Свобода печатания да сохраняема будет нерушимо». Мэрилендское государство в 38 статье теми же словами объясняется. Виргинское в 14 статье говорит теми же словами: «Свобода печатания есть наивеличайшая защита свободы государственной».

¹ В Дании вольное книгопечатание было мгновенно. Стихи Вольтерова на сей случай к датскому королю во свидетельство остались, что похвалою даже мудрому законоположению спешить не надлежит.

Книгопечатание до перемены 1789 года, во Франции последовавшей, нигде толико стесняемо не было, как в сем государстве. Стоглазый Арг, сторучный Бриарей, парижская полиция свирепствовала против писаний и писателей. В Бастильских темницах томилися несчастные, дерзнувшие осуждать хищность министров и их распутство. Если бы язык французский не был толико употребителен в Европе, не был бы всеобщим, то Франция, стена под бичом цензуры, не достигла бы до того величия в мыслях, какое явили многие ее писатели. Но общее употребление французского языка побудило завести в Голландии, Англии, Швейцарии и Немецкой земле книгопечатницы, и все, что явиться не дерзало во Франции, свободно обнародовано было в других местах. Тако сила, кичася своими мышцами, осмеяна была и не ужасна; тако свирепства пенящиеся челюсти праздны оставалися, и слово твердое ускользало от них непоглощенно.

Но дивись несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, — да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступаая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей.

Размножение книгопечатниц в Немецкой земле, сокрывая от власти орудия оных, отъемлет у нее возможность свирепствовать против рассудка и просвещения. Малые немецкие правления хотя вольности книгопечатания стараются положить преграду, но безуспешно. Векерлин хотя мстящею властью посажен был под стражу, но «Седое чудовище» осталось у всех в руках. Покойный Фридрих II, король прусский, в землях своих печатание сделал почти свободным не каким-либо законоположением, но дозволением токмо и образом своих мыслей. Чему дивиться, что он не уничтожил цензуры; он был самодержец, коего любезнейшая страсть была всесилие. Но воздержись от смеха. — Он узнал, что указы, им изданные, некто намерен был, собрав, напечатать. Он и к оным приставил двух ценсоров, или, правильнее сказать, браковщиков. О властвование! о всесилие! ты мышцам своим не доверяешь. Ты боишься собственного своего обвинения, боишься, чтобы язык твой

тебя не посрамил, чтобы рука твоя тебя не заушила! — Но какое добро сии насильствованные цензоры произвести смогли? Не добро, но вред. Скрыли они от глаз потомства нелепое какое-либо законоположение, которое на суд будущий власть оставить стыдилась, которое, оставшись явным, было бы, может быть, уздой власти, да не дерзает на уродливое. Император Иосиф II рушил отчасти преграду просвещения, которая в Австрийских наследных владениях в царствование Марии Терезии тяготила рассудок; но не мог он стрясти с себя бремени предрассуждений и предлинное издал о цензуре наставление. Если должно его хвалить за то, что не возбранял опорочивать свои решения, находить в поведении его недостатки и таковые порицания издавать в печати; но похудим его за то, что на свободе в изъяснении мыслей он оставил узду. Сколь легко употребить можно оную во зло!¹ Чему дивиться? скажем и теперь, как прежде: он был царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской?

В России... Что в России с ценсурой происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя ценсуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.

МЕДНОЕ

«Во поле береза стояла, во поле кудрявая стояла, ой люли, люли, люли, люли...» Хоровод молодых баб и девок; пляшут; подойдем поближе, — говорил я сам себе, развертывая найденные бумаги моего приятеля. Но я читал следующее. Не мог дойти до хоровода. Уши мои задернулись печалию, и радостный глас нехитростного веселия до сердца моего не проник. О мой друг! где ты ни был, внемли и суди.

Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н. или Б. Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. Публикуется: «Сего... дня пополуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городского маги-

¹ В новейших известиях читаем, что наследник Иосифа II намерен возобновить ценсурную комиссию, предместником его уничтоженную.

страта, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №..., и при нем шесть душ мужского и женского полу, продажа будет при оном доме. Желаящие могут осмотреть заблаговременно».

На дешевое охотников всегда много. Наступил день и час продажи. Покупщики съезжаются. В зале, где она производится, стоят неподвижны на продажу осужденные.

Старик лет в 75, опершись на вязовой дубинке, жаждет угадать, кому судьба его отдает в руки, кто закроет его глаза. С отцом господина своего он был в Крымском походе, при фельдмаршале Минихе; в Франкфуртскую баталию он раненого своего господина унес на плечах из строю. Возвратясь домой, был дядькою своего молодого барина. Во младенчестве он спас его от утопления, бросаясь за ним в реку, куда сей упал, переезжая на пароме, и с опасностию своей жизни спас его. В юношестве выкупил его из тюрьмы, куда посажен был за долги в бытность свою в гвардии унтер-офицером.

Старуха 80 лет, жена его, была кормилицею матери своего молодого барина; его была нянькою и имела надзирание за домом до самого того часа, как выведена на сие торжище. Во все время службы своя ничего у господ своих не утратила, ничем не покорыстовалась, никогда не лгала, а если иногда им досадила, то разве своим правдоушием.

Женщина лет в 40, вдова, кормилица молодого своего барина. И доднесь чувствует она еще к нему некоторую нежность. В жилах его льется ее кровь. Она ему вторая мать, и ей он более животом своим обязан, нежели своей природной матерью. Сия зачала его в веселии, о младенчестве его не радела. Кормилица и нянька его были воспитанницы. Они с ним расстаются, как с сыном.

Молодица 18 лет, дочь ее и внучка стариков. Зверь лютый, чудовище, изверг! Посмотри на нее, посмотри на румяные ее ланиты, на слезы, лиющиеся из ее прелестных очей. Не ты ли, не возмощи прельщением и обещаниями уловить ее невинности, ни утратить ее непоколебимости угрозами и казнию, наконец употребил обман, обвиняв ее за спутника твоих мерзостей, и в виде его наслаждался веселием, которого она делить с тобой гнушалась. Она узнала обман твой. Венчаный с нею не коснулся более ее ложа, и ты, лишен став твоей утехы, употребил насилие. Четыре злодея, исполнители твоей воли, держа руки ее и ноги... но сего не окончаем. На челе ее скорбь, в глазах отчаяние. Она

держит младенца, плачевный плод обмана или насилия, но живой слепок прелюбодейного его отца. Родив его, позабыла отцово зверство, и сердце начало чувствовать к нему нежность. Она боится, чтобы не попасть в руки ему подобного.

Младенец... Твой сын, варвар, твоя кровь. Иль думаешь, что где не было обряда церковного, тут нет и обязанности? Иль думаешь, что данное по приказанию твоему благословение наемным извещателем слова божия сочетание их утвердило, иль думаешь, что насильственное венчание во храме божием может назваться союзом? Всесильный мерзит принуждением, он услаждается желаниями сердечными. Они одни непорочны. О! коликко между нами прелюбодейств и растлений совершается во имя отца радостей и утешителя скорбей, при его свидетелях, недостойных своего сана.

Детина лет в 25, венчанный ее муж, спутник и наперсник своего господина. Зверство и мщение в его глазах. Раскаивается о своих к господину своему угождениях. В кармане его нож; он его схватил крепко; мысль его отгадать нетрудно... Бесплодное рвение. Достанешься другому. Рука господина твоего, носящаяся над главою раба непрестанно, согнет выю твою на всякое угождение. Глад, стужа, зной, казнь, все будет против тебя. Твой разум чужд благородных мыслей. Ты умереть не умеешь. Ты склонись и будешь раб духом, как и состоянием. А если бы восхотел противиться, умрешь в оковах томною смертию. Судии между вами нет. Не захочет мучитель твой сам тебя наказывать. Он будет твой обвинитель. Отдаст тебя градскому правосудию. — Правосудие! — где обвиняемый не имеет почти власти оправдаться. — Пройдем мимо других несчастных, выведенных на торжище.

Едва ужасоносный молот испустил тупой свой звук и четверо несчастных узнали свою участь, — слезы, рыдание, стон пронзили уши всего собрания. Наитвердейшие были тронуты. Окаменелые сердца! почто бесплодное соболезнавание? О квакеры! если бы мы имели вашу душу, мы бы сложились и, купив сих несчастных, даровали бы им свободу. Жив многие лета в объятиях один другого, несчастные сии к поносной продаже восчувствуют тоску разлуки. Но если закон иль, лучше сказать, обычай варварский, ибо в законе того не писано, позволяет толикое человечеству посмеяние, какое право имеете продавать сего младенца? Он незаконнорожденный. Закон его освобождает. Постойте, я буду доноситель; я избавлю его. Если бы с ним мог спа-

сти и других! О счастье! почто ты так обидело меня в твоём разделе? Днесъ жажду вкусити прелестного твоего взора, впервые ощущать начинаю страсть к богатству. — Сердце мое столь было стеснено, что, выскочив из среды собрания и отдав несчастным последнюю гривну из кошелька, побежал вон. На лестнице встретился мне один чужестранец, мой друг.

— Что тебе сделалось? ты плачешь?

— Возвратись, — сказал я ему: — не будь свидетелем срамного позорища. Ты проклинал некогда обычай варварский в продаже черных невольников в отдаленных селениях твоего отечества; возвратись, — повторил я, — не будь свидетелем нашего затмения и да не возвестиши стыда нашего твоим согражданам, беседуя с ними о наших нравах.

— Не могу сему я верить, — сказал мне мой друг: — невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение.

— Не дивись, — сказал я ему, — установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборствовать, все великие отчинники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения.

ТВЕРЬ

— Стихотворство у нас, — говорил товарищ мой трактирного обеда, — в разных смыслах как оно приемлется, далеко еще отстоит величия. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень.

Ломоносов, уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродное им полукафтанье. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастию случилось, что Сумароков в то же время был; и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи по примеру Ломоносова, и ныне все вслед за ними не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других сти-

хосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов предложил Иова или псалмопевца дактилями или если бы Сумароков «Семиру» или «Дмитрия» написал хореем, то Херасков вздумал бы, что можно писать другими стихами oprичь ямбов, и более бы славы в осмилетнем своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпопеи стихосложением. Не дивлюсь, что древний треух на Virгилия надет ломоносовским покровом; но желал бы я, чтобы Омир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его, — ексаметрах, — и Костров, хотя не стихотворец, а переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением.

Но не одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый возовик Тредиаковский немало к тому способствовал своею «Тилемахиною». Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы ни задумал писать дактилями, тому тотчас Тредиаковского приставят дядькою, и прекраснейшее дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выруют из поросшей мхом забвения могилы, в «Тилемахиде» найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.

Долго благой перемене в стихосложении препятствовать будет привыкшее ухо ко краесловию. Слышав долгое время единоголасное в стихах окончание, безрифмие покажется грубо, негладко и нестройно. Таково оно и будет, доколе французский язык будет в России больше других языков в употреблении. Чувства наши, как гибкое и молодое дерево, можно вырастить прямо и криво, по произволению. Сверх же того в стихотворении, так, как и во всех вещах, может господствовать мода, и если она хотя несколько имеет в себе естественного, то принята будет без прекословия. Но все модное мгновенно, а особливо в стихотворстве. Блеск наружный может заржаветь, но истинная красота не поблекнет никогда. Омир, Virгилий, Милтон, Расин, Вольтер, Шекспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий.

Излишним почитаю я беседовать с вами о разных стихах, российскому языку свойственных. Что такое ямб, хорей, дактиль или анапест, всяк знает, если немного кто

разумеет правила стихосложения. Но то бы было не излишнее, если бы я мог дать примеры в разных родах достаточные. Но силы мои и разумение коротки. Если совет мой может что-либо сделать, то я бы сказал, что российское стихотворство, да и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами. Гораздо бы эпической поэме свойственное было, если бы перевод «Генриады» не был в ямбах, а ямбы не-краесловные хуже прозы.

Все вышесказанное изрек пирный мой товарищ одним духом и с толикою поворотливостью языка, что я не успел ничего ему сказать на возражение, хотя много кой-чего имел на защищение ямбов и всех тех, которые ими писали.

— Я и сам, — продолжал он, — заразительному последовал примеру и сочинял стихи ямбами, но то были оды. Вот остаток одной из них, все прочие сгорели в огне; да и оставшуюся та же ожидает участь, как и сосестр ее постигшая. В Москве не хотели ее напечатать по двум причинам: первая, что смысл в стихах неясен и много стихов топорной работы, другая, что предмет стихов несвойствен нашей земле. Я еду теперь в Петербург просить о издании ее в свет, ласкаясь, яко нежный отец своего дитяти, что ради последней причины, для коей ее в Москве печатать не хотели, снисходительно воззрят на первую. Если вам не в тягость будет прочесть некоторые строфы, — сказал он мне, подавая бумагу. Я ее развернул и читал следующее: Вольность... Ода... — За одно название отказали мне издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: «вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам». Следственно, о вольности у нас говорить вместно.

1

О! дар небес благословенный,
Источник всех великих дел;
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти, да смятутся
От гласа твоего цари.

Сию строфу обвинили для двух причин: за стих «во свет рабства тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради сонтя частого согласных букв: «бства тьму претв» — на десять согласных три гласных, а на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на италианском... Согласеи... хотя иные почнтали стих сей удачиым, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия... Но вот другой: «да смятутся от гласа твоего цари». Желать смятения царю есть то же, что желать ему зла; следовательно... Но я не хочу вам наскучить всеми примечаниями, на стихи мои сделанными. Многие, признаюсь, из них были справедливы. Позвольте, чтобы я вашим был чтецом.

2

Я в свет изшел, и ты со мною...

Сию строфу пройдем мимо. Вот ее содержанье: человек во всем от рождения свободен...

3

Но что ж претит моей свободе?
Желаньям зрю везде предел;
Возникла обща власть в народе,
Соборный всех властей удел.
Ей общество во всем послушно,
Повсюду с ней едиоудшно.
Для пользы общей нет препон.
Во власти всех своей зрю долю,
Свою творю, творя всех волю:
Вот что есть в обществе закон.

4

В средине зланиыя долины,
Среди тягченных жатвой нив,
Где нежны процветают крины,
Средь мирных под сеньми олив,
Пароска мрамора белее,
Яснейша дня лучей светлее

Стоит прозрачный всюду храм.
Там жертва лжива не курится,
Там надпись пламенная зрится:
«Конец невинности бедам».

5

Оливной ветвию венчанно,
На твердом камени седяй,
Безжалостно и хладнокровно
Глухое божество

и пр.; изображается закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие.

6

Возводит строгие зеницы,
Льет радость, трепет вкруг себя;
Равно на все взирает лица,
Ни ненавидя, ни любя.
Он лести чужд, лицеприятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенных тли,
Родства не знает, ни приятни,
Равно делит и мзду и казни;
Он образ божий на земли.

7

И се чудовище ужасно,
Как гидра, сто имея глав,
Умильно и в слезах всечасно,
Но полны челюсти отрав.
Земные власти попирает,
Главою неба досязает,
«Его отчизна там», — гласит.
Призраки, тьму повсюду сеет,
Обманывать и льстить умеет
И слепо верить всем велит.

Покрывши разум темнотою
И всюду вея ползкий яд...

Изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущее его в ярем порабощения и заблуждения, во броню его облекшее:

Бояться истины велел...

Власть называет оное изветом божества; рассудок — обманом.

Воззрим мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства...

В мире и тишине суеверие священное и политическое, подкрепляя друг друга,

Союзно общество гнетут.
Одно сковать рассудок щитится,
Другое волю стерть стремится;
«На пользу общую», — рекут.

Покая рабского под сенью
Плодов златых не возрастет;
Где все ума претит стремленью,
Великость там не прозябет.

И все злые следствия рабства, как-то: беспечность, лень, коварство, голод и пр.

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.

Живот и смерть в руке имея:
«По воле, — рек, — щажу злодея,
Я властью могу дарить;
Где я смеюсь, там все смеется;
Нахмурюсь грозно, все смятется.
Живешь тогда, велью коль жить».

12

И мы внимаем хладнокровно...

как алчный змей, ругаясь всем, отравляет дни веселия
и утех. Но хотя вокруг твоего престола все стоят преклонше
колена, трепещи, се мститель грядет, прорицая вольность...

13

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает,
Над гордою главою паря.
Ликуйте, склепанны народы;
Се право мщенье природы
На плаху возвело царя.

14

И нощи се завесу лживой
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ воссел:
«Преступник власти, мною данной!
Вещай, злодей, мною венчанный,
Против меня восстать как смел?»

«Тебя облек я во порфиру
 Равеиство в обществе блюсти,
 Вдовицу призирать и сиру,
 От бед невинность чтоб спасти,
 Отцом ей быть чадолюбивым;
 Но мстителем непримиримым
 Пороку, лжи и клевете;
 Заслуги честью награждать,
 Устройством зло предупреждать,
 Хранити нравы в чистоте».

«Покрыл я море кораблями...»

Дал способ к приобретению богатств и благоденствий.
 Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве
 и тебя бы благословлял...

«Своих кровей я без пощады
 Гремящую воздвигнул рать;
 Я медны изваял громады,
 Злодеев внешних чтоб карать.
 Тебе велел повиноваться,
 С тобою к славе устремляться.
 Для пользы всех мне можно все.
 Земные недра раздираю,
 Металл блестящий извлекаю
 На украшение твое».

«Но ты, забыв мне клятву данну,
 Забыв, что я избрал тебя
 Себе в утеху быть венчанну,
 Возмнил, что ты господь, не я;
 Мечом моим расторг уставы,

Безгласными поверг все правы.
Стыдиться истине велел,
Расчистил мерзостям дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел».

19

«Кровавым потом доставая
Плод, кой я в пищу насадил,
С тобою крохи разделяя,
Своей натуги не щадил;
Тебе сокровищей всех мало!
На что ж, скажи, их недостало,
Что рубище с меня сорвал?
Дарить любимца, полна лести!
Жену, чуждающуюся чести!
Иль злато богом ты признал?»

20

«В отличность знак изобретенный
Ты начал наглости дарить;
В злодея меч мой изощренный
Ты стал невинности сулить;
Сгруженные полки в защиту
На брань ведешь ли знамениту
За человечество карать?
В кровавых борешься долинах,
Дабы, упившись в Афинах:
Ирой! — зевая, могли сказать».

21

«Злодей, злодеев всех лютейший...»

Ты все совокупил злодеяния и жало свое в меня устремил...

«Умри! умри же ты стократ», —

Народ вешал...

Великий муж, коварства полный,
 Ханжа, и льстец, и святотать!
 Един ты в свет столь благотворный
 Пример великий мог подать.
 Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
 Что, власть в руке своей имея,
 Ты твердь свободы сокрушил.
 Но научил ты в род и роды,
 Как могут мстить себя народы:
 Ты Карла на суде казнил...

И се глас вольности раздается во все концы...

На вече весь течет народ;
 Престол чугунный разрушает,
 Самсон как древле сотрясает
 Исполненный коварств чертог.
 Законом строит твердь природы.
 Велик, велик ты, дух свободы,
 Зиждителен, как сам есть бог!

В следующих одиннадцати строфах заключается описание царства свободы и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...

Но страсти, изощряя злобу...

превращают спокойствие граждан в пагубу...

Отца на сына воздвигают,
 Союзы брачны раздирают,

и все следствия безмерного желания властвовать...

Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий.
Гражданская брань. Марий, Сулла, Август...

Тревожну вольность усыпил.
Чугунный скиптр обвил цветами...

Следствие того — порабощение...

Таков есть закон природы; из мучительства рождается
вольность, из вольности рабство...

На что сему дивиться? и человек рождается на то, чтобы
умереть...

Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем
жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее,
чем будет пространнее. Но время еще не пришло.
Когда же оно наступит, тогда

Встрещат заклепы тяжелой ночи.

Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову
и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить
возникающую вольность...

Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом, двинется... И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложене, тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье.
О день, избраннейший всех дней!

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества.

Мрачная твердь позыбнулась, и вольность воссияла.

— Вот и конец, — сказал мне новомодный стихотворец.

Я очень тому порадовался и хотел было ему сказать, может быть, неприятное на стихи его возражение, но колокольчик возвестил мне, что в дороге складнее поспешать на почтовых клячах, нежели карабкаться на Пегаса, когда он с норовом.

ГОРОДНЯ

Въезжая в сию деревню, не стихотворческим пением слух мой был ударяем, но пронзающим сердца воплем жен, детей и старцев. Встав из моей кибитки, отпустил я ее к почтовому двору, любопытствуя узнать причину приметного на улице смятения.

Подошед к одной куче, узнал я, что рекрутский набор был причиною рыдания и слез многих толпящихся. Из многих селений казенных и помещичьих сошлись отправляемые на отдачу рекруты.

В одной толпе старуха лет пятидесяти, держа за голову двадцатилетнего парня, вопила:

— Любезное мое дитяtko, на кого ты меня покидаешь? Кому ты поручаешь дом родительский? Поля наши порастут травкою, мохом — наша хижина. Я, бедная престарелая мать твоя, скитаться должна по миру. Кто согреет мою дряхлость от холода, кто укроет ее от зноя? Кто напоит меня и накормит? Да все то не столь сердцу тягостно; кто закроет мои очи при издыхании? Кто примет мое родительское благословение? Кто тело предаст общей нашей матери, сырой земле? Кто придет вспомнить меня над могилою? Не канет на нее твоя горячая слеза; не будет мне отрады той.

Подле старухи стояла девка уже взрослая. Она также вопила:

— Прости, мой друг сердечный, прости, мое красное солнушко. Мне, твоей невесте нареченной, не будет больше утехи, ни веселья. Не позавидуют мне подруги мои. Не взойдет надо мною солнце для радости. Горевать ты меня покидаешь ни вдовою, ни мужнею женою. Хотя бы бесчело-

вечные наши старосты хоть дали бы нам обвенчаться; хотя бы ты, мой милый друг, хотя бы одну уснул ноченьку, уснул бы на белой моей груди. Авось ли бы бог меня помилловал и дал бы мне паренька на утешение.

Парень им говорил:

— Перестаньте плакать, перестаньте рвать мое сердце. Зовет нас государь на службу. На меня пал жеребей. Воля божия. Кому не умирать, тот жив будет. Авось либо я с полком к вам приду. Авось либо дослужуся до чина. Не крушися, моя матушка родимая. Береги для меня Прасковьюшку.— Рекрута сего отдавали из экономического селения.

Совсем другого рода слова внял слух мой в близстоящей толпе. Среди оной я увидел человека лет тридцати, посредственного роста, стоящего бодро и весело на окрест стоящих взирающего.

— Услышал господь молитву мою, — вещал он. — Достигли слезы несчастного до утешителя всех. Теперь буду хотя знать, что жребий мой зависеть может от доброго или худого моего поведения. Доселе зависел он от своенравия женского. Одна мысль утешает, что без суда батожьем наказан не буду!

Узнав из речей его, что он господский был человек, любопытствовал от него узнать причину необыкновенного удовольствия. На вопрос мой о сем он отвечал:

— Если бы, государь мой, с одной стороны поставлена была виселица, а с другой глубокая река и, стоя между двух гибелей, неминуемо бы должно было идти направо или налево, в петлю или в воду, что избрали бы вы, чего бы заставил желать рассудок и чувствительность? Я думаю, да и всякий другой избрал бы броситься в реку, в надежде, что, преплыв на другой брег, опасность уже минется. Никто не согласился бы испытать, тверда ли петля, своею шеєю. Таков мой был случай. Трудна солдатская жизнь, но лучше петли. Хорошо бы и то, когда бы тсм и конец был, но умирать томною смертию, под батожьем, под кошками, в кандалах, в погребе, нагу, босу, алчущу, жаждущу, при всегдашнем поругании; государь мой, хотя холопей считаете вы своим именем, нередко хуже скотов, но, к несчастию их горчайшему, они чувствительности не лишены. Вам удивительно, вижу я, слышать таковые слова в устах крестьянина; но, слышав их, для чего не удивляетесь жестокосердию своей собратии, дворян?

И поистине не ожидал я сказанного от одетого в смурый кафтан, со бритым лбом. Но желая удовлетворить моему

любопытству, я просил его, чтобы он уведомил меня, как, будучи толь низкого состояния, он достиг понятий, недостающих нередко в людях, несвойственно называемых благородными.

— Если вы не поскучаете слышать моей повести, то я вам скажу, что я родился в рабстве; сын дядьки моего бывшего господина. Сколь восхищаюсь я, что не назовут уже меня Ванькою, ни поносительным именованьем, ни позыва не сделают свистом. Старый мой барин, человек добросердечный, разумный и добродетельный, нередко рыдавший над участию своих рабов, хотел за долговременные заслуги отца моего отличить и меня, дав мне воспитание наравне с своим сыном. Различия между нами почти не было, разве только то, что он на кафтане носил сукно моего потоне. Чему учили молодого боярина, тому учили и меня, наставления нам во всем были одинаковы, и без хвастовства скажу, что во многом я лучше успел своего молодого господина.

«Ванюша, — говорил мне старый барин, — счастье твое зависит совсем от тебя. Ты более к учености и нравственности имеешь побуждений, нежели сын мой. Он по мне будет богат и нужды не узнает, а ты с рождения с нею познакомился. Итак, старайся быть достоин моего о тебе попечения».

На семнадцатом году возраста молодого моего барина отправлен был он и я в чужие края с надзирателем, коему предписано было меня почитать спутником, а не слугою. Отправляя меня, старый мой барин сказал мне:

«Надеюсь, что ты возвратишься к утешению моему и своих родителей. Раб ты в пределах сего государства, но вне оных ты свободен. Возвратясь же в оное, уз, рождением твоим на тебя наложенных, ты не обрящешь».

Мы отсутственны были пять лет и возвращались в Россию: молодой мой барин в радости видеть своего родителя, а я, признаюсь, ласкаясь пользоваться сделанным мне обещанием. Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества. И поистине предчувствие его было не ложно. В Риге молодой мой господин получил известие о смерти своего отца. Он был оною тронут, я приведен в отчаяние. Ибо все мои старания приобрести дружбу и доверенность молодого моего барина всегда были тщетны. Он не только меня не любил, из зависти, может быть, тесным душам свойственной, но ненавидел.

Приметив мое смятение, известием о смерти его отца произведенное, он мне сказал, что сделанное мне обещание

не позабудет, если я того буду достоин. В первый раз он осмелился мне сие сказать, ибо, получив свободу смертию своего отца, он в Риге же отпустил своего надзирателя, заплатив ему за труды его щедро. Справедливость надлежит отдать бывшему моему господину, что он много имеет хороших качеств, но робость духа и легкомыслие оные помрачают.

Чрез неделю после нашего в Москву приезда бывший мой господин влюбился в изрядную лицом девицу, но которая с красотой телесною соединяла скареднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в надменности своего происхождения, отличностию почитала только внешность, знатность, богатство. Чрез два месяца она стала супругою моего барина и моею повелительницею. До того времени я не чувствовал перемены в моем состоянии, жил в доме господина моего как его сотоварищ. Хотя он мне ничего не приказывал, но я предупреждал его иногда желания, чувствуя его власть и мою участь. Едва молодая госпожа переступила порог дому, в котором она определялася начальствовать, как я почувствовал тягость моего жребия. Первый вечер по свадьбе и следующий день, в который я ей представлен был супругом ее как его сотоварищ, она занята была обыкновенными заботами нового супружества; но ввечеру, когда при довольно многолюдном собрании пришли все к столу и сели за первый ужин у новобрачных и я, по обыкновению моему, сел на моем месте на нижнем конце, то новая госпожа сказала довольно громко своему мужу: если он хочет, чтоб она сидела за столом с гостями, то бы холопей за оный не сажал. Он, взглянув на меня и движим уже ею, прислал ко мне сказать, чтобы я из-за стола вышел и ужинал бы в своей горнице. Вообразите, koliko чувствительно мне было сие уничижение. Я, скрыв, однако же, иступающие из глаз моих слезы, удалился. На другой день не смел я показаться. Не наведываясь обо мне, принесли мне обед мой и ужин. То же было и в следующие дни. Чрез неделю после свадьбы в один день после обеда новая госпожа, осматривая дом и распределяя всем служителям должности и жилище, зашла в мои комнаты. Они для меня уготованы были старым моим барином. Меня не было дома. Не повторю того, что она говорила, будучи в оных, мне в посмеяние, но, возвратясь домой, мне сказали ее приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже, с холостыми официантами, где моя постель, сундук с платьем и бельем уже поставлены; все прочее она оставила в прежних моих комнатах, в коих поместила своих девок.

Что в душе моей происходило, слыша сие, удобнее чувствовать, если кто может, нежели описать. Но дабы не занимать вас излишним, может быть, повествованием, госпожа моя, вступив в управление дома и не находя во мне способности к услуге, поверстала меня в лакеи и надела на меня ливрею. Малейшее мнимое упущение сея должности влекло за собою пощечины, батожье, кошки. О государь мой, лучше бы мне не родиться! Колико крат негодовал я на умершего моего благодетеля, что дал мне душу на чувствование. Лучше бы мне было возрасти в невежестве, не думав никогда, что есмь человек, всем другим равный. Давно бы, давно бы избавил себя ненавистной мне жизни, если бы не удерживало прещение, вышнего над всеми судии. Я определил себя сносить жребий мой терпеливо. И сносил не токмо уязвления телесные, но и те, коими она уязвляла мою душу. Но едва не преступил я своего обета и не отъял у себя томные остатки плачевного жития при случившемся новом души уязвлении.

Племянник моей барыни, молодец осмнадцати лет, сержант гвардии, воспитанный во вкусе московских щегольков, влюбился в горничную девку своей тетушки и, скоро овладев опытною ее горячностью, сделал ее матерью. Сколь он ни решителен был в своих любовных делах, но при сем происшествии несколько смутился. Ибо тетушка его, узнав о сем, запретила вход к себе своей горничной, а племянника побранила слегка. По обыкновенно милосердых господ, она намерилась наказать ту, которую жаловала прежде, выдав ее за конюха замуж. Но как все они были уже женаты, а беременной для славы дома надобен был муж, то хуже меня из всех служителей не нашла. И о сем госпожа моя в присутствии своего супруга мне возвестила яко отменную мне милость. Не мог я более терпеть поругания.

«Бесчеловечная женщина! во власти твоей состоит меня мучить и уязвлять мое тело; говорите вы, что законы дают вам над нами сие право. Я и сему мало верю; но то твердо знаю, что вступать в брак никто принужден быть не может». — Слова мои произвели в ней зверское молчание. Обратясь потом к супругу ее:

«Неблагодарный сын человеколюбивого родителя, забыл ты его завещание, забыл и свое изречение; но не доводи до отчаяния души, твоя благороднейшей, страшись!»

Более сказать я не мог, ибо по повелению госпожи моей отведен был на конюшню и сечен нещадно кошками. На другой день едва я мог встать от побоев с постели; и паки приведен был пред госпожу мою.

«Я тебе прошу, — говорила она, — твою вчерашнюю дерзость; женись на моей Маврушке, она тебя просит, и я, любя ее в самом ее преступлении, хочу это для нее сделать».

«Мой ответ, — сказал я ей, — вы слышали вчера, другого не имею. Присовокуплю только то, что просить на вас буду начальство в принуждении меня к тому, к чему не имеете права».

«Ну, так пора в солдаты», — вскрикнула яростно моя госпожа... — Потерявший путешественник в страшной пустыне свою стезю меньше обрадуется, сыскав опять оную, нежели обрадован был я, услышав сии слова; «в солдаты», — повторила она, и на другой день то было исполнено.

Несмысленная! она думала, что так, как и поселянам, поступление в солдаты есть наказание. Мне было то отрада, и как скоро мне выбрили лоб, то я почувствовал, что я переродился. Силы мои обновились. Разум и дух паки начали действовать. О! надежда, сладостное несчастному чувство, пребуди во мне!

Слеза тяжкая, но не слеза горести и отчаяния иступила из очей его. Я прижал его к сердцу моему. Лицо его новым озарилось веселием.

— Не все еще исчезло; ты вооружаешь душу мою, — вещал он мне, — против скорби, дав чувствовать мне, что бедствие мое не бесконечно...

От сего несчастного я подошел к толпе, среди которой увидел трех скованных человек крепчайшими железами. Удивления достойно, — сказал я сам себе, взирая на сих узников: — теперь унылы, томины, робки, не токмо не желают быть воинами, но нужна даже величайшая жестокость, дабы вместить их в сие состояние; но обыкнув в сем тяжком во исполнении звании, становятся бодры, предприимчивы, гнушаясь даже прежнего своего состояния. Я спросил у одного близстоящего, который по одежде своей приказным служителем быть казался:

— Конечно, бояся их побегу, заключили их в толь тяжкие оковы?

— Вы отгадали. Они принадлежали одному помещику, которому зандобилися деньги на новую карету, и для получения оной он продал их для отдачи в рекруты казенным крестьянам.

Я. Мой друг, ты ошибаешься, казенные крестьяне покупать не могут своей братии.

Он. Не продажею оно и делается. Господин сих несчастных, взяв по договору деньги, отпускает их на волю; они, будто по желанию, приписываются в государственные

крестьяне к той волости, которая за них платила деньги, а волость по общему приговору отдает их в солдаты. Их везут теперь с отпускными для приписания в нашу волость.

Вольные люди, ничего не преступившие, в оковах, продаются как скоты! О законы! премудрость ваша часто бывает только в вашем слоге! Не явное ли се вам посмеяние? Но паче еще того посмеяние священного имени вольности. О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обогрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулись великие мужи для заступления избитого племени; но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишены. Не мечта сие, но взор проникает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие. — С негодованием отошел я от толпы.

Но склепанные узники теперь вольны. Если бы хотя немного имели твердости, утщили бы удручительные помыслы своих тиранов... Возвратимся...

— Друзья мои, — сказал я пленникам в отечестве своем: — ведаете ли вы, что если вы сами не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может?

— Перестань, барин, шутить над горькими людьми. И без твоей шутки больно было расставаться одному с дряхлым отцом, другому с малолетними сестрами, третьему с молодою женою. Мы знаем, что господин нас продал для отдачи в рекруты за тысячу рублей.

— Если вы до сего времени не ведали, то ведайте, что в рекруты продавать людей запрещается; что крестьяне людей покупать не могут; что вам от барина дана отпускная и что вас покупщики ваши хотят приписать в свою волость будто по вашей воле.

— О, если так, барин, то спасибо тебе; когда нас поставят в меру, то все скажем, что мы в солдаты не хотим и что мы вольные люди.

— Прибавьте к тому, что вас продал ваш господин не в указное время и что отдают вас насильным образом¹.

Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах сих несчастных. Вспрынув от своего места и бодро потрясая свои оковы, казалось, что испытывают свои силы,

¹ Во время рекрутского набора запрещается в продаже крестьян совершать купчие.

как бы их свергнуть. Но разговор сей ввел было меня в великие хлопоты: отдатчики рекрутские, вразумев моею речью, воспаленные гневом, прискочив ко мне, говорили:

— Барин, не в свое мешаешься дело, отойди, пока сух, — и сопротивляющегося начали меня толкать столь сильно, что я с поспешностью принужден был удалиться от сея толпы.

Подходя к почтовому двору, нашел я еще собрание поселян, окружающих человека в разодранном сертуке, несколько, казалось, пьяного, кривляющегося на предстоящих, которые, глядя на него, хохотали до слез.

— Что тут за чудо? — спросил я у одного мальчика, — чему вы смеетесь?

— А вот рекрут-иноземец, по-русски не умеет пикнуть. — Из редких слов, им изреченных, узнал я, что он был француз. Любопытство мое паче возбудилось; и желал узнать, как иностранец мог отдаваем быть в рекруты крестьянами? Я спросил его на сродном ему языке:

— Мой друг, какими судьбами ты здесь находишься? Француз. Судьбе так захотелось; где хорошо, тут и жить должно.

Я. Да как ты попался в рекруты?

Француз. Я люблю воинскую жизнь, мне она уже известна, я сам захотел.

Я. Но как то случилось, что тебя отдают из деревни в рекруты? Из деревень берут в солдаты обыкновенно одних крестьян, и русских; а ты, я вижу, не мужик и не русский.

Француз. А вот как. Я в Париже с ребячества учился перукарству. Выехал в Россию с одним господином. Чесал ему волосы в Петербурге целый год. Ему мне заплатить было нечем. Я, оставив его, не найдя места, чуть не умер с голоду. По счастью мог попасть в матрозы на корабль, идущий под российским флагом. Прежде отправления в море приведен я к присяге как российский подданный и отправился в Любек. На море часто корабельщик бил меня линьком за то, что был ленив. По неосторожности моей упал с вантов на палубу и выломил себе три пальца, что меня навсегда сделало неспособным управлять гребнем. Приехав в Любек, попался прусским наборщикам и служил в разных полках. Нередко за леность и пьянство бит был палками. Заколов, будучи пьяный, своего товарища, ушел из Мемеля, где я находился в гарнизоне. Вспомнил, что я обязан в России присягою; и яко верный сын отечества отправился в Ригу с двумя талерами в кармане. Дорогою питался милосты-

нею. В Риге счастье и искусство мое мне послужили; выиграл в шинке рублей с двадцать и, купив себе за десять изрядный кафтан, отправился лакеем с казанским купцом в Казань. Но, проезжая Москву, встретился на улице с двумя моими земляками, которые советовали мне оставить хозяина и искать в Москве учительского места. Я им сказал, что худо читать умею. Но они мне отвечали: «ты говоришь по-французски, то и того довольно». Хозяин мой не видал, как я на улице от него удалился, он продолжал путь свой, а я остался в Москве. Скоро мне земляки мои нашли учительское место за сто пятьдесят рублей, пуд сахара, пуд кофе, десять фунтов чаю в год, стол, слуга и карета. Но жить надлежало в деревне. Тем лучше. Там целый год не знали, что я писать не умею. Но какой-то сват того господина, у которого я жил, открыл ему мою тайну, и меня свезли в Москву обратно. Не найдя другого подобного сему дурака, не могли отправлять мое ремесло с изломанными пальцами и боясь умереть с голоду, я продал себя за двести рублей. Меня записали в крестьяне и отдают в рекруты. Надеюсь, — говорил он важным видом, — что сколь скоро будет война, то дослужуся до генеральского чина; а не будет войны, то набью карман (коли можно) и, увенчан лаврами, отъеду на покой в мое отечество.

Пожал я плечами не один раз, слушав сего бродягу, и с уязвленным сердцем лег в кибитку, отправился в путь.

ЗАВИДОВО

Лошади уже были впряжены в кибитку, и я приготовлялся к отъезду, как вдруг сделался на улице великий шум. Люди начали бегать из края в край по деревне. На улице видел я воина в гранодерской шапке, гордо расхаживающего и, держа поднятую плеть, кричащего:

— Лошадей скорее; где староста? его превосходительство будет здесь через минуту; подай мне старосту... — Сняв шляпу за сто шагов, староста бежал во всю прыть на сделанный ему позыв.

— Лошадей скорее!

— Тотчас, батюшка; пожалуйста подорожную.

— На. Да скорее же, а то я тебя... — говорил он, поднимая плеть над головою дрожащего старосты. Недоконченная речь столь же была выражения исполнена, как у Виргилия в «Енеиде» речь Еола к ветрам: «Я вас!»... и, сокращенный видом плети властновелительного гранодера, ста-

роста столь же живо ощущал мощь десницы грозящего воина, как бунтующие ветры ощущали над собою власть сильной Еоловой остроги. Возвращая новому Полкану по дорожную, староста говорил:

— Его превосходительству с честною его фамилией потребно пятьдесят лошадей, а у нас только тридцать налицо, другие в разгоне.

— Роди, старый черт. А не будет лошадей, то тебя изуродую.

— Да где же их взять, коли взять негде?

— Разговорился еще... А вот лошади у меня будут... — и, схватя старика за бороду, начал его бить по плечам плетью нещадно. — Полно ли с тебя? Да вот три свежие, — говорил строгий судья ямского стана, указывая на впряженных в мою повозку. — Выпряги их для нас.

— Коли барин-та их отдаст.

— Как бы он не отдал! У меня и ему то же достанется. Да кто он таков?

— Невесть какой-то... — как он меня величал, того не знаю.

Между тем я, вышед на улицу, воспретил храброму предтече его превосходительства исполнить его намерение и, выпрягая из повозки моей лошадей, меня заставить ночевать в почтовой избе.

Спор мой с гвардейским полканом прерван был приездом его превосходительства. Еще издали слышен был крик повозчиков и топот лошадей, скачущих во всю мочь. Частое биение копыт и зрению уже неприметное обращение колес подымающеюся пылью толико сгустили воздух, что колесница его превосходительства закрыта была непроницаемым облаком от взоров ожидающих его, аки громовой тучи, ямщиков. Дон-Кишот, конечно, нечто чудесное бы тут увидел; ибо несущееся пыльное облако под знатною его превосходительства особою, вдруг остановясь, разверзлося, и он предстал нам от пыли серовиден, отродию черных подобным.

От приезде моего на почтовый стан до того времени, как лошади вновь впряжены были в мою повозку, прошло по крайней мере целый час. Но повозки его превосходительства запряжены были не более как в четверть часа... и поскакали они на крылах ветра. А мои клячи хотя лучше казались тех, кои удостоились везти превосходительную особу, но, не бояся гранодерского кнута, бежали посредственною рысью.

Блаженны в единовластных правлениях вельможи. Блаженны украшенные чинами и лентами. Вся природа им по-

винуется. Даже несмысленные скоты угождают их желаниям, и, дабы им в путешествии зевая не наскучилось, скачут они, не жалея ни ног, ни легкого, и нередко от натуги околевают. Блаженны, повторю я, имеющие внешность, к благоговению всех влекущую. Кто ведает из трепещущих от плети, им грозящей, что тот, во имя коего ему грозят, безгласным в придворной грамматике называется; что ему ни А., ни О... во всю жизнь свою сказать не удалось¹; что он одолжен, и сказать стыдно кому, своим возвышением; что в душе своей он скареднейшее есть существо; что обман, вероломство, предательство, блуд, отравление, татство, грабеж, убийство не больше ему стоят, как выпить стакан воды; что ланиты его никогда от стыда не краснели, разве от гнева или пощечины; что он друг всякого придворного истопника и раб едва-едва при дворе нечто значащего. Но властелин и презирающ не ведающих его низкости и ползущества. Знатность без истинного достоинства подобна колдунам в наших деревнях. Все крестьяне их почитают и боятся, думая, что они чрезвычайные повелители. Над ними сии обманщики властвуют по своей воле. А сколь скоро в толпу, их боготворящую, завернется мало кто, грубейшего невежества отчуждившийся, то обман их обнаруживается, и таковых дальновидцев они не терпят в том месте, где они творят чудеса. Равно берегись и тот, кто посмеет обнаружить колдовство вельмож.

Но где мне гнаться за его превосходительством! Он поднял пыль столбом, которая по пролете его исчезла, и я, приехав в Клин, нашел даже память его погибшую с шумом.

КЛИН

— «Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиами князь...» — Поющий сию народную песнь, называемую «Алексеем божим человеком», был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженный толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемый, проникал в сердца его слушателей, лучше природе внимлющих, нежели возвращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внимлют кудрявому на-

¹ См. рукописную «Придворную грамматику» Фон-Визина.

певу Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинский певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежесекундно гласом изрекал свое повествование. Место, на коем были его очи, исполнилось исторгающихся из чувствительной от бед души слез, и потоки оных пролились по ланитам воспевающего. О природа, колико ты властительна! Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид воспринял важности. О! природа, — возопил я паки...

Сколь сладко неязвительное чувство скорби! Колико сердце оно обновляет и оно чувствительность. Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером... О мой друг, мой друг! почто и ты не зрел сея картины? ты бы прослезился со мною, и сладость взаимного чувствования была бы гораздо усладительнее.

По окончании песнословия все предстоящие давали старику как будто бы награду за его труд. Он принимал все денежки и полушки, все куски и краюхи хлеба довольно равнодушно, но всегда сопровождая благодарность свою поклоном, крестясь и говоря к подающему: «Дай бог тебе здоровья». Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалось мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблаговословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку толико же дрожащего от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изреши обыкновенного своего благословения подающему, отвлечен от того необыкновенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. Колико приятнее ему, — вещал я сам себе, — подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу!

— Не пятак ли? — сказал он, обращая речь свою неопределенно, как и всякое свое слово.

— Нет, дедушка, рублевик, — сказал близстоящий его мальчик.

— Почто такая милостыня? — сказал слепой, опуская места своих очей и ища, казалось, мысленно вообразить себе то, что в горсти его лежало. — Почто она не могущему ею пользоваться? Если бы я не лишен был зрения, сколь бы велика моя была за него благодарность. Не имея в нем нужды, я мог бы снабдить им неимущего. Ах! если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению. Полушку не много прибыли украсть, но за рублем охотно многие протянут руку. Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора. — О истина! koliko ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну. — Возьми его назад, мне, право, он не надобен, да и я уже его не стою: ибо не служил изображенному на нем государю. Угодно было создателю, чтобы еще в бодрых моих летах лишен я был вождей моих. Терпеливо сношу его прещение. За грехи мои он меня посетил... Я был воин; на многих бывал битвах с неприятелями отечества; сражался всегда неробко. Но воину всегда должно быть по нужде. Ярость исполняла всегда мое сердце при начатии сражения: я не щадил никогда у ног моих лежащего неприятеля и просящего, безоруженному помилования не дарил. Вознесенный победою оружия нашего, когда устремлялся на карание и добычу, пал я ниц, лишенный зрения и чувств пролетевшим мимо очей в силе своей пушечным ядром. О! вы, последующие мне, будьте мужественны, но помните человечество! — Возвратил он мне мой рубль и сел опять на место свое покойно.

— Прими свой праздничный пирог, дедушка, — говорила слепому подошедшая женщина лет пятидесяти. С каким восторгом он принял его обеими руками!

— Вот истинное благодаяние, вот истинная милостыня. Тридцать лет сряду ем я сей пирог по праздникам и по воскресеньям. Не забыла ты своего обещания, что ты сделала во младенчестве своем. И стоит ли то, что я сделал для покойного твоего отца, чтобы ты до гроба моего меня не забывала? Я, друзья мои, избавил отца ее от обыкновенных нередко побой крестьянам от проходящих солдат. Солдаты хотели что-то у него отнять; он с ними заспорил. Дело было за гумнами. Солдаты начали мужика бить; я был сержантом той роты, которой были солдаты, прилучился тут;

прибежал на крик мужика и его избавил от побой; может быть, чего и больше, но вперед отгадывать нельзя. Вот что вспомнила кормилица моя нынешняя, когда увидела меня здесь в нищенском состоянии. Вот чего не позабывает она каждый день и каждый праздник. Дело мое было невеликое, но доброе. А доброе приятно господа; за ним никогда ничего не пропадает.

— Неужели ты меня столько пред всеми обидишь, старичок, — сказал я ему, — и одно мое отвергнешь подаяние? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника? Да и та бывает ему на пользу, если служит к умягчению его ожесточенного сердца.

— Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнию, — говорил старец, — не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния; прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло — платчишка не было, чем повязать шеи, — бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старенького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу; он мою согреет шею; горло болеть перестанет; я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминание нищего. — Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним.

Возвращаясь чрез Клин, я уже не нашел слепого певца. Он за три дни моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев перед смертью, на шею, и с ним положили его во гроб. О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие.

ПЕШКИ

Сколь мне ни хотелось поспешить в окончании моего путешествия, но, по пословице, голод — не свой брат — принудил меня зайти в избу и, доколе не доберуся опять до рагу, фрикасе, паштетов и прочего французского кушанья, на отраву изобретенного, принудил меня пообедать старым куском жареной говядины, которая со мною ехала в запасе. Пообедав сей раз гораздо хуже, нежели иногда обедают многие полковники (не говорю о генералах) в дальних походах, я, по похвальному общему обыкновению, налил в чашку приготовленного для меня кофию и услаждал при-

хотливость мою плодами пота несчастных африканских невольников.

Увидев предо мною сахар, месившая квашню хозяйка подослала ко мне маленького мальчика попросить кусочек сего боярского кушанья.

— Почему боярское? — сказал я ей, давая ребенку остаток моего сахара, — неужели и ты его употреблять не можешь?

— Потому и боярское, что нам купить его не на что, а бояре его употребляют для того, что не сами достают деньги. Правда, что и бурмистр наш, когда ездит к Москве, то его покупает, но также на наши слезы.

— Разве ты думаешь, что тот, кто употребляет сахар, заставляет вас плакать?

— Не все; но все господа дворяне. Не слезы ли ты крестьян своих пьешь, когда они едят такой же хлеб, как и мы? — Говоря сие, показывала она мне состав своего хлеба. Он состоял из трех четвертей мякины и одной части несеяной муки. — Да и то слава богу при нынешних неурожаях. У многих соседей наших и того хуже. Что ж вам, бояре, в том прибыли, что вы едите сахар, а мы голодны? Ребята мрут, мрут и взрослые. Но как быть, потужишь, потужишь, а делай то, что господин велит. — И начала сажать хлебы в печь.

Сия укоризна, произнесенная не гневом или негодованием, но глубоким ощущением душевной скорби, исполнила сердце мое грустию. Я обзрел в первый раз внимательно всю утварь крестьянских избы. Первый раз обратил сердце к тому, что доселе на нем скользило. — Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажеею; пол в щелях, на вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь смеркающийся в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастлива изба, коли в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. — Вот в чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы,

могущества; но тут же видны слабость, недостатки и злоупотребления законов и их шероховатая, так сказать, сторона. Тут видна алчность дворянства, грабеж, мучительство наше и беззащитное нищеты состояние. — Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? то, чего отнять не можем, — воздух. Да, один воздух. Отъемлем нередко у него не токмо дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отнять у него жизнь. Но разве мгновенно. Сколько способов отнять ее у него постепенно! С одной стороны — почти всеислие; с другой — немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судия, исполнитель своего решения и, по желанию своему, истец, против которого ответчик ничего сказать не смеет. Се жребий заклепанного во узы, се жребий заключенного в смрадной темнице, се жребий вола во ярме...

Жестокосердый помещик! посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги. Отчего? не ты ли родших их в болезни и горести обложил сверх всех полевых работ оброком? Не ты ли не сотканное еще полотно определяешь себе в пользу? На что тебе смрадное рубище, которое к неге привыкшая твоя рука подыти гнушается? едва послужит оно на отирание служащего тебе скота. Ты собираешь и то, что тебе не надобно, несмотря на то, что неприкрытая нагота твоих крестьян тебе в обвинение будет. Если здесь нет на тебя суда, — но пред судиею, не ведающим лицепрятия, давшим некогда и тебе путеводителя благого, совесть, но коего развратный твой рассудок давно изгнал из своего жилища, из сердца твоего. Но не ласкайся безвозмездием. Неусыпный сей деяний твоих страж уловит тебя наедине, и ты почувствуешь его кары. О! если бы они были тебе и подвластным тебе на пользу... О! если бы человек, входя почасту во внутренность свою, исповедал бы неукротимому судии своему, совести, свои деяния. Претворенный в столп неподвижный громopodobным ее гласом, не пускался бы он на тайные злодеяния; редки бы тогда стали губительствы, опустошения.... и пр., и пр., и пр.

ЧЕРНАЯ ГРЯЗЬ

Здесь я видел также изрядной опыт самовластия дворянского над крестьянами. Проезжала тут свадьба. Но вместо радостного поезда и слез боязливой невесты, скоро в ра-

дость претвориться определенных, зрелись на челе определенных вступать в супружество печаль и уныние. Они друг друга ненавидят и властью господина своего влекутся на казнь, к олтарю отца всех благ, подателя нежных чувствований и веселий, зиждителя истинного блаженства, творца вселенных. И слугитель его примет исторгнутую властью клятву и утвердит брак! И сие назовется союзом божественным! И богохуление сие останется на пример другим! И неустройство сие в законе останется ненаказанным!.. Почему удивляться сему? Благословляет брак наемник; градодержатель, для охранения закона определенный, — дворянин. Тот и другой имеют в сем свою пользу. Первый ради получения мзды; другой, дабы, истребляя поносительное человечеству насилие, не лишиться самому лестного преимущества управлять себе подобным самовластно. — О! горестная участь многих миллионов! конец твой сокрыт еще от взора и вночат моих...

Я тебе, читатель, позабыл сказать, что парнасский судья, с которым я в Твери обедал в трактире, мне сделал подарок. Голова его над многим чем испытывала свои силы. Сколь опыты его были удачны, коли хочешь, суди сам; а мне скажи на ушко, каково тебе покажется. Если, читая, тебе захочется спать, то сложи книгу и усни. Береги ее для бессонницы.

СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ

Приятность вечера после жаркого летнего дня выгнала меня из моей кельи. Стопы мои направил я за Невский монастырь и долго гулял в роще, позади его лежащей¹. Солнце лицо свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва-едва и на синем своде была чувствительна². Возвращаясь домой, я шел мимо Невского кладбища. Ворота были отверсты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов; на месте незбылемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалось, совместно быть кичение, тщеславие и надменность? Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческие гордыни, но знаки желания его жизни вечно. Но се ли вечность, которая человек толико жаждущ?.. Не столп, воздвигнутый над тлением твоим,

¹ Озерки.

² Июнь.

сохранит память твою в дальнейшее потомство. Не камень со иссечением имени твоего пренесет славу твою в будущие столетия. Слово твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово русского племени, тобою в языке нашем обновленное, прелетит в устах народных за необозримый горизонт столетий. Пускай стихии, свирепствуя сложенно, разверзнут земную хлябь и поглотят великолепный сей град, откуда громкое твое пение раздавалось во все концы обширных России; пускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества: но доколе слово русское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь. Если умолкнет оно, то и слава твоя угаснет. Лестно, лестно так умереть. Но если кто умеет исчислить меру сего продолжения, если перст гадания назначит предел твоему имени, то не се ли вечность?.. Сие изрек я в восторге, остановясь пред столпом, над тлением Ломоносова воздвигнутым. — Нет, не холодный камень сей повествует, что ты жил на славу имени русского, не может он сказать, что ты был. Творения твои да повествуют нам о том, житие твое да скажет, почто ты славен.

Где ты, о! возлюбленный мой! где ты? Прииди беседовать со мною о великом муже. Прииди, да соплетем венец насадителю русского слова. Пускай другие, раболепствуя власти, превозносят хвалою силу и могущество. Мы воспоем песнь заслуге к обществу.

Михайло Васильевич Ломоносов родился в Холмогорах... Рожденный от человека, который не мог дать ему воспитания, дабы посредством одного понятие его изострилось и украсилось полезными и приятными знаниями; определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленная области не далее их ремесла простирается; сужденный делить время свое между рыбным промыслом и старанием получить мзду своего труда, — разум молодого Ломоносова не мог бы достигнуть той обширности, которую он приобрел, трудясь в испытании природы, ни глас его той сладости, которую он имел от обхождения чистых мусс. От воспитания в родительском доме он принял маловажное, но ключ учения: знание читать и писать, а от природы — любопытство. И се, природа, твое торжество. Алчное любопытство, вселенное тобою в души наши, стремится к познанию вещей; а кипящее сердце славолубием не может терпеть пут, его стесняющих. Ревет оно, клокочет, стонет и, махом прерывая узы, летит стремглав (нет преткновения) к предлогу свое-

му. Забыто все, один предлог в уме; им дышим, им живем.

Не выпуская из очей своих вожденного предмета, юноша собирает познание вещей в слабейших ручьях потекшего наук источника до низайших степеней общества. Чуждый руководства, столь нужного для ускорения в познаниях, он первую силу разума своего, память, острит и украшает тем, что бы рассудок его острить долженствовало. Сия тесная округа сведений, кои он мог приобрести на месте рождения своего, не могла усладить жаждущего духа, но паче возгла в юноше непреодолимое к учению стремление. Блажен! что в возрасте, когда волнение страстей изводит нас впервые из нечувствительности, когда приближаемся степени возмужалости, стремление его обратилось к познанию вещей.

Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом; течет в престольный град, приходит в обитель иноческих муз и вмещается в число юношей, посвятивших себя учению свободных наук и слову божию.

Преддверие учености есть познание языков; но представляется яко поле, тернием насажденное, и яко гора, строгим камнем усеянная. Глаз не находит тут приятности расположения, стопы путешественника — покойныя гладости на/отдохновение, ни зеленеющего убежища утомленному тут нет. Тако учащийся, приступив к неизвестному языку, поражается разными звуками. Гортань его необыкновенным журчанием исходящего из нее воздуха утомляется, и язык, новообразно извиваться принужденный, изнемогает. Разум тут цепенеет, рассудок без действия ослабевает, воображение теряет свое крылье; единая память бдит и острится и все излучины и отверстия свои наполняет образами неизвестных доселе звуков. При учении языков все отвратительно и тягостно. Если бы не подкрепляла надежда, что, приучив слух свой к необыкновенности звуков и усвоив чуждые произношения, не откроются потом приятнейшие предметы, то неуповательно, восхотел ли бы кто вступить в столь строгий путь. Но, превзошед сии трудности, коликократно награждается постоянство в понесенных трудах. Новые представляются тогда естества виды, новая цепь воображений. Познанием чуждого языка становимся мы гражданами той области, где он употребляется, собеседуем с жившими за многие тысячи веков, усвояем их понятия; и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетаваем и приводим в единую связь.

Упорное прилежание в учении языков сделало Ломоносова согражданином Афин и Рима. И се наградилося его постоянство. Яко слепец, от чрева матерня света не зревший, когда искусною глазоврачевателя рукою воссияет для него величество дневного светила, — быстрым взором протекает он все красоты природы, дивится ее разновидности и простоте. Все его пленяет, все поражает. Он живет обычших всегда во зрении очей чувствует ее изящности, восхищается и приходит в восторг. Тако Ломоносов, получивши сведение латинского и греческого языков, пожирал красоты древних витий и стихотворцев. С ними научался он чувствовать изящности природы; с ними научался познавать все уловки искусства, крыющегося всегда в одушевленных стихотворством видах, с ними научался изъяслять чувства свои, давать тело мысли и душу бездыханному.

Если бы силы мои достаточны были, представил бы я, как постепенно великий муж водворял в понятие свое понятия чуждые, кои, преобразовавшись в душе его и разуме, в новом виде явились в его творениях или родили совсем другие, уму человеческому доселе неведомые. Представил бы его, ищущего знания в древних рукописях своего училища и гоняющегося за видом учения везде, где казалось быть его хранилище. Часто обманут бывал в ожидании своем, но частым чтением церковных книг он основание положил к изящности своего слога, какое чтение он предлагает всем желающим приобрести искусство российского слова.

Скоро любопытство его щедрое получило удовлетворение. Он ученик стал славного Вольфа. Отрясая правила схоластики или паче заблуждения, преподанные ему в монастырских училищах, он твердые и ясные полагал степени к восхождению во храм любомудрия. Логика научила его рассуждать; математика верные делать заключения и убеждаться единою очевидностию; метафизика преподала ему гадательные истины, ведущие часто к заблуждению; физика и химия, к коим, может быть, ради изящности силы воображения прилежал отлично, ввели его в жертвенник природы и открыли ему ее таинства; металлургия и минералогия, яко последственницы предыдущих, привлекли на себя его внимание; и деятельно хотел Ломоносов познать правила, в оных науках руководствующие.

Изобилие плодов и произведений понудило людей менять их на таковые, в коих был недостаток. Сие произвело торговлю. Великие в меновном торгу затруднения побудили

мыслить о знаках, всякое богатство и всякое имущество представляющих. Изобретены деньги. Злато и серебро, яко драгоценнейшие по совершенству своему металлы и доселе украшением служившие, преобразены стали в знаки, всякое стяжание представляющие. И тогда только, поистине тогда возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение, земледелие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в неведомые страны для снискания богатств и сокровищ. Тогда, презрев свет солнечный, живой нисходил в могилу и, расторгнув недра земная, прорывал себе нору, подобен земному гаду, ищущему в нощи свою пищу. Тако человек, сокрываясь в пропастях земных, искал блестящих металлов и сокращал пределы своей жизни наполовину, питаясь ядовитым дыханием паров, из земли исходящих. Но как и самая отравя, став иногда привычкою, бывает необходимою человеку в употреблении, так и добывание металлов, сокращая дни ископателей, не отвергнуто ради своей смертоносности; а паче изысканы способы добывать легчайшим образом большее число металлов по возможности.

Сего-то хотел познать Ломоносов деятельно и для исполнения своего намерения отправился в Фрейберх. Мне мнится, зрю его пришедшего к отверстию, чрез которое истекает исторгнутый из недр земных металл. Приемлет томное светило, определенное освещать его в ущелинах, куда солнечные лучи досязать не могут николи. Исполнил первый шаг; — что делаешь? — вопиет ему рассудок. — Неужели отличила тебя природа своими дарованиями для того только, чтобы ты употреблял их на пагубу своей собратии? Что мыслишь, нисходя в сию пропасть? Желает ли снискать вящее искусство извлекати серебро и злато? Или не ведаешь, какое в мире сотворили они зло? Или забыл завоевание Америки?.. Но нет, нисходи, познай подземные ухищрения человека и, возвратясь в отечество, имей довольно крепости духа подать совет зарыть и заровнять сии могилы, где тысячи в животе сущие погребаются.

Трепещущ нисходит в отверстие и скоро теряет из виду живоносное светило. Желал бы я последовать ему в подземном его путешествии, собрать его размышления и представить их в той связи и тем порядком, какими они в разуме

его возрождались. Картина его мыслей была бы для нас увеселительною и учебною. Проходя первый слой земли, источник всякого прозябения, подземный путешественник обрел его несходственным с последующими, отличающимся от других паче всего своею плодоносною силою. Заключал, может быть, из того, что поверхность сия земная не из чего иного составлена, как из тления животных и прозябений, что плодородие ее, сила питательная и возобновительная, начало свое имеет в неразрушимых и первенственных частях всяческого бытия, которые, не переменяя своего существа, переменяют вид только свой, из сложения случайного рождающийся. Проходя далее, подземный путешественник зрел землю всегда расположенную слоями. В слоях находил иногда остатки животных, в морях живущих, находил остатки растений и заключать мог, что слоистое расположение земли начало свое имеет в наплаванном положении вод и что воды, переселяясь из одного края земного шара к другому, давали земле тот вид, какой она в недрах своих представляет. Сие единовидное слоев расположение, теряясь из его зрака, представляло иногда ему смешение многих разнородных слоев. Заключал из того, что свирепая стихия, огонь, проникнув в недра земные и встретив противуборствующую себе влагу, ярься, мучила, трясла, валила и метала все, что ей упорствовать тшилося своим противодействием. Смутив и смешав разнородные, знойным своим дохновением возбудила в первобытностях металлов силу притяжательную и их соединила. Там узрел Ломоносов сии мертвые по себе сокровища в природном их виде, вспомянул алчбу и бедствие человеков и с сокрушенным сердцем оставил сие мрачное обиталище людской ненасытности.

Упражнялся в познании природы, он не оставил возлюбленного своего учения стихотворства. Еще в отечестве своем случай показал ему, что природа назначила его к величию, что в обыкновенной стезе шествия человеческого он скитаться не будет. Псалтирь, Симеоном Полоцким в стихи предложенная, ему открыла о нем таинство природы, показала, что и он-стихотворец. Беседуя с Горацием, Виргилием и другими древними писателями, он давно уже удостоверился, что стихотворение российское весьма было несродно благогласию и важности языка нашего. Читая немецких стихотворцев, он находил, что слог их был плавнее российского, что стопы в стихах были расположены по свойству языка их. И так он вознамерился сделать опыт сочинения новообразными стихами, поставив сперва российскому

стихотворению правила, на благогласии нашего языка основанные. Сие исполнил он, написав оду на победу, одержанную российскими войсками над турками и татарами, и на взятие Хотина, которую из Марбурга он прислал в Академию наук. Необыкновенность слога, сила выражения, изображения, едва не дышащие, изумили читающих сие новое произведение. И сие первородное чадо стремящегося воображения по непроложенному пути в доказательство с другими купно послужило, что когда народ направлен единожды к усовершенствованию, он ко славе идет не одной тропинкою, но многими стезями вдруг.

Сила воображения и живое чувствование не отвергают разыскания подробностей. Ломоносов, давая примеры благогласия, знал, что изящность слога основана на правилах, языку свойственных. Восхотел их извлечь из самого слова, не забывая, однако же, что обычай первый всегда подает в сочетании слов пример, и речения, из правила исходящие, обычаем становятся правильными. Раздробляя все части речи и сообразуя их с употреблением их, Ломоносов составил свою грамматику. Но не довольствуясь преподавать правила русского слова, он дает понятие о человеческом слове вообще яко благороднейшем по разуму даровании, данном человеку для сообщения своих мыслей. Се сокращение общей его грамматики: Слово представляет мысли; орудие слова есть голос; голос изменяется образованием или выговором; различное изменение голоса изображает различие мыслей; итак, слово есть изображение наших мыслей посредством образования голоса чрез органы, на то устроенные. Поступая далее от сего основания, Ломоносов определяет неразделимые части слова, коих изображения называют буквами. Сложение нераздельных частей слова производят склады, кои опричь образовательного различия голоса различаются еще так называемыми ударениями, на чем основывается стихосложение. Сопряжение складов производит речения, или знаменательные части слова. Сии изображают или вещь, или ее деяние. Изображение словесное вещи называется *имя*; изображение деяния — *глагол*. Для изображения же сношения вещей между собою и для сокращения их в речи служат другие части слова. Но первые суть необходимы и называться могут главными частями слова, а прочие служебными. Говоря о разных частях слова, Ломоносов находит, что некоторые из них имеют в себе отмены. Вещь может находиться в разных в рассуждении других вещей положениях. Изображение таковых положений и отно-

шений именуется падежами. Деяние всякое располагается по времени; отсюда и глаголы расположены по временам, для изображения деяния, в какое время оное происходит. Наконец, Ломоносов говорит о сложении знаменательных частей слова, что производит речи.

Предположив такое философическое рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном, Ломоносов преподает правила русского слова. И могут ли быть они посредственны, когда начертавший их разум водим был в грамматических терниях светильником остроумия? Не гнушайся, великий муж, сея хвалы. Между согражданами твоими не грамматика твоя одна соорудила тебе славу. Заслуги твои о русском слове суть многообразны; и ты считаешься в малоприятельном сем своем труде яко первым основателем истинных правил языка нашего и яко разыскателем естественного расположения всяческого слова. Твоя грамматика есть преддверие чтения твоей риторики, а та и другая — руководительницы для осязания красот изречения творений твоих. Поступая в преподавании правил, Ломоносов вознамерился руководствовать согражданам своим в стезях тернистых Гелликона, показав им путь к красноречию, начертавая правила риторики и поэзии. Но краткость его жизни допустила его из поднятого труда совершить одну только половину.

Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, исторгается из среды народных. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние, горшее самой смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие. Правила их речи почерпаемы в обстоятельствах, сладость изречения — в их чувствах, сила доводов — в их остроумии. Удивляясь толико отменным в слове мужам и раздробляя их речи, хладнокровные критики думали, что можно начертать правила остроумию и воображению, думали, что путь к прелестям проложить можно томными предписаниями. Сие есть начало риторики. Ломоносов, следуя, не замечая того, своему воображению, исправившемуся беседою с древними писателями, думал также, что может сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший. И хотя он тщетный в сем предпринял труд, но примеры, приводимые им для подкрепления и объяснения его правил, могут не-

сомненно руководствовать пускающемуся вслед славы, словесными науками стяжаемой.

Но если тщетный его был труд в преподавании правил тому, что более чувствовать должно, нежели твердить, — Ломоносов надежнейшим любящим российское слово оставил примеры в своих творениях. В них сосавшие уста сладости Цицероновы и Демосфеновы растворяются на велеречие. В них на каждой строке, на каждом препинании, на каждом слого, почто не могу сказать при каждой букве, слышен стройный и согласный звон столь редкого, столь мало подражаемого, столь свойственного ему благогласия речи.

Прияв от природы право неоцененное действовать на своих современников, прияв от нее силу творения, поверженный в среду народных толпы, великий муж действует на оную, но и не в одинаковом всегда направлении. Подобен силам естественным, действующим от средоточия, которые, простирая действие свое во все точки окружности, деятельность свою присну везде соделывают, — тако и Ломоносов, действуя на сограждан своих разнообразно, разнообразные отверзал общему уму стези на познания. Повлекши его за собою вослед, расплетая запутанный язык на велеречие и благогласие, не оставил его при тощем без мыслей источнике словесности. Воображению вещал: лети в беспредельность мечтаний и возможности, собери яркие цветы одушевленного и; вождаясь вкусом, украшай оными самую неосязательность. И се пакн гремевшая на Олимпийских играх Пиндарова труба возгласила хвалу всевышнего вослед псалмопевца. На ней возвестил Ломоносов величие предвечного, восседающего на крыле ветренней, предшествуемого громом и молниею и в солнце являя смертным свою существенность, жизнь. Умеряя глас трубы Пиндаровой, на ней же он воспел бренность человека и близкий предел его понятий. В бездне миров беспредельной, как в морских волнах малейшая песчинка, как во льде, не тающем николн, искра едва блестящая, в свирепейшем вихре как прах тончайший, что есть разум человеческий? — Се ты, о Ломоносов, одежда моя тебя не сокроет.

Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю ласкати царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным гласом воспетой, но ниже гудочного бряцания, ты льстил похвалою в стихах Елисавете. И если бы можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательных твоих души ко благодеяниям. Но позавидует

не могущий вослед тебе идти писатель оды, позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, сей сильной ограды градов и сел, царств и царей утешения; позавидует бесчисленным красотам твоего слова; и если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удалося еще никому. И пускай удастся всякому превзойти тебя своим сладкопением, пускай потомкам нашим покажешься ты нестроен в мыслях, неизбыточен в существенности твоих стихов!.. Но воззри: в просторном ристалище, коего конца око не досязает, среди толпящейся многочисленности, на возглавии, впереди всех, се врата отверзающ к ристалищу, се ты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всеильному нельзя отнять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О! вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души и как сия действует на телесность нашу, се трудная вам предлежит задача на испытание. Вещайте, как душа действует на душу, какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность; или какое между безвещественностей есть прикосновение. Что оно существует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа; и се венец твой победоносный. О! Ломоносов, ты произвел Сумарокова.

Но если действие стихов Ломоносова могло размашистый сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного удареия не сделало Цветы, собранные им в Афинах и в Риме и столь удачно в словах его пресажденные, сила выражения Демосфенова, сладкоречие Цицероново, бесплодно употребленные, повержены еще во мраке будущего. И кто? он же, пресытившись обильным веле-речием похвальных твоих слов, возгремит не твоим хотя слогом, но будет твой воспитанник. Далеко ли время сие или близко, блудящий взор, скитаяся в неизвестности грядущего, не находит подножия остановиться. Но если мы непосредственного от витийства Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого препинания бесстопной речи было, однако же, всеобщее. Если не было ему последователя в витийстве гражданском, но на общий образ письма оно распространилось. Сравни то, что писано

до Ломоносова, и то, что писано после его, — действие его прозы будет всем внятно.

Но не заблуждаем ли мы в нашем заключении? Задолго до Ломоносова находим в России красноречивых пастырей церкви, которые, возвещая слово божие пастве своей, ее учили и сами словом своим славились. Правда, они были; но слог их не был слог российский. Они писали, как можно было писать до нашествия татар, до сообщения россиян с народами европейскими. Они писали языком славенским. Но ты, зревший самого Ломоносова и в творениях его учааяся, может быть, велеречию, забвен мною не будешь. Когда российское воинство, поражая гордых оттоманов, превысило чаяние всех, на подвиги его взирающих оком равнодушным или завистливым, ты, призванный на торжественное благодарение богу браней, богу сил, о! ты, в восторге души твоей к Петру взывавший над гробницею его, да приидет зрети плода своего насаждения: *«Восстани, Петр, восстани»*, когда очарованное тобою ухо очаровало по чреде око, когда казалось всем, что, приспевый ко гробу Петрову, воздвигнути его желаешь, силою вышею одаренный, тогда бы и я вещал к Ломоносову: зри, зри, и здесь твое насаждение. Но если он слову мог тебя научить... В Платоне душа Платона, и да восхитит и увидит нас, тому учило его сердце.

Чуждый раболепствования не токмо в том, что благоговение наше возбуждать может, но даже и в люблении нашем, мы, отдавая справедливость великому мужу, не возмним быти ему богом всезидущим, не посвятим его истуканом на поклонение обществу и не будем пособниками в укоренении какого-либо предрассуждения или ложного заключения. Истина есть высшее для нас божество, и если бы всемогущий восхотел изменить ее образ, являясь не в ней, лицо наше будет от него отвращенно.

Следуя истине, не будем в Ломоносове искать великого деписателя, не сравним его с Тацитом, Реналем или Робертсоном; не поставим его на степени Маркграфа или Ридигера, зане упражнялся в химии. Если сия наука была ему любезна, если многие дни жития своего провел он в исследовании истин естественности, но шествие его было шествие последователя. Он скитался путями проложенными, и в нечисленном богатстве природы не нашел он ни малейшия былинки, которой бы не зрели лучшие его очи, не соглядал он ниже грубейшия пружины в вещественности, которую бы не обнаружили его предшественники.

Ужели поставим его близ удостоившегося наилестнейших надписи, которую человек низ изображения своего зреть может? Надпись, начертанная не ласкательством, но истиною, дерзающею на силу: *«Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей»*. За то ли Ломоносова близ его поставим, что преследовал электрической силе в её действиях; что не отвращен был от исследования о ней, видя силою ее учителя своего пораженного смертно. Ломоносов умел производить электрическую силу, умел отвращать удары грома, но Франклин в сей науке есть зодчий, а Ломоносов рукодел.

Но если Ломоносов не достиг великости в испытаниях природы, он действия ее великолепные описал нам слогом чистым и внятным. И хотя мы не находим в творениях его, до естественныя науки касающихся, изящного учителя естественности, найдем, однако же, учителя в слове и всегда достойный пример на последование.

Итак, отдавая справедливость великому мужу, поставляя имя Ломоносова в достойную его лучезарность, мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только, располая неистовое слово, вождаемся исступлением и пристрастием. Цель наша не сия. Мы желаем показать, что в отношении российской словесности тот, кто путь ко храму славы проложил; есть первый виновник в приобретении славы, хотя бы он войти во храм не мог. Бакон Веруламский не достоин разве напominiения, что мог токмо сказать, как можно размножать науки? Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всеисилие, для того, что не могли избавить человечества из оков и пленения? И мы не почтем Ломоносова для того, что не разумел правил позорищного стихотворения и томился в эпопеи, что чужд был в стихах чувствительности, что не всегда проницателен в суждениях и что в самых одах своих вмещал иногда более слов, нежели мыслей? Но внемли: прежде начатия времен, когда не было бытию опоры и вся терялося в вечности и неизмеримости, все источнику сил возможно было, вся красота вселенныя существовала в его мысли, но действия не было, не было начала. И се рука всемогущая, толкнув вещественность в пространство, дала ей движение. Солнце воссияло, луна приjala свет, и телеса, крутящиеся горё, образовались. Первый мах в творении всеисилен был; вся чудесность мира, вся его красота суть только следствия. Вот как понимаю я действие великия души над душами современников или потомков; вот как понимаю

действие разума над разумом. В стезе российской словесности Ломоносов есть первый. Беги, толпа завистливая, се потомство о нем судит, оно неліцемерно.

Но, любезный читатель, я с тобою закалякался... Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. — Ямщик, погоняй.

Москва! Москва!!!.

ВОЛЬНОСТЬ

Ода

1

О! дар небес благодословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори,
Да Брут и Телль еще проснутся,
Седяй во власти, да смятутся
От гласа твоего цари.

2

Я в свет исшел, и ты со мною;
На мышцах нет моих заклеп;
Свободною могу рукою
Прияти данный в пищу хлеб.
Стопы несу, где мне приятно;
Тому внимаю, что понятно;
Вещаю то, что мыслю я;
Любить могу и быть любимым;
Творю добро, могу быть чтимым;
Закон мой — воля есть моя.

3

Но что ж претит моей свободе?
Желаньям зрю везде предел;
Возникла обща власть в народе,
Соборный всех властей удел.
Ей общество во всем послушно,
Повсюду с ней единодушно;

Для пользы общей нет препон;
Во власти всех своей зрю долю,
Свою творю, творя всех волю;
Родился в обществе закон.

4

В середине злачных долины,
Среди тягченных жатвой нив,
Где нежны процветают крины,
Средь мирных под сеньми олив,
Паросска мрамора белее,
Яснейших дня лучей светлее,
Стоит прозрачный всюду храм;
Там жертва лжива не курится,
Там надпись пламенная зрится:
«Конец невинности бедам».

5

Оливной ветвию венчанно,
На твердом камени седяй,
Без слуха зрится хладноравно,
Велико божество судяй.
Белее снега во хламиде
И в неизменном всегда виде,
Зерцало, меч, весы пред ним.
Тут истина стрежет десную,
Тут правосудие ошую;
Се храм закона ясно зрим.

6

Возводит строгие зеницы,
Льет радость, трепет вкруг себя,
Равно на все взирает лица,
Ни ненавидя, ни любя.
Он лести чужд, лицеприятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенных тли;
Родства не знает, ни приязни;
Равно делит и мзду и казни;
Он образ божий на земли.

И се чудовище ужасно!
 Как гидра, сто имея глав,
 Умильно и в слезах всечасно,
 Но полны челюсти отрав.
 Земные власти попирает,
 Главою неба досязает,
 Его отчизна там — гласит;
 Призраки, тьму повсюду сеет,
 Обманывать и льстить умеет,
 И слепо верить нам велит.

Покрывши разум темнотою
 И всюду вея ползкий яд,
 Троякою обнес стеною
 Чувствительность природы чад.
 Повлек в ярмо порабошенья,
 Облек их в броню заблужденья,
 Бояться истины велел.
 «Закон се божий», — царь вещает;
 «Обман святой, — мудрец взывает, —
 Народ давить, что ты обрел».

Сей был, и есть, и будет вечный
 Источник лют рабства оков:
 От зол всех жизни скоротечной
 Пребудет смерть един покров.
 Всесильный боже, благ податель,
 Естественных ты благ создатель,
 Закон свой в сердце основал.
 Возможно ль, ты чтоб изменился,
 Чтоб ты, бог сил, столь уподлился,
 Чужим чтоб гласом нам вещал.

Воззрим мы в области обширны,
 Где тусклый трон стоит рабства.
 Градские власти там все мирны,
 В царе зря образ божества.
 Власть царска веру охраняет,
 Власть царску вера утверждает;
 Союзно общество гнетут;
 Одно сковать рассудок тщится;
 Другое волю стерть стремится;
 «На пользу общую», — рекут.

Покая рабского под сенью
 Плодов златых не возрастет;
 Где все ума претит стремленью,
 Великость там не прозябет.
 Там нивы запустеют тучны,
 Коса и серп там несподручны.
 В сохе уснет ленивый вол,
 Блестящий меч померкнет славы,
 Минервин храм стал обветшалый,
 Коварства сеть простерлась в дол.

Чело надменное вознесши,
 Прияв железный скипетр, царь,
 На громном троне властно севши,
 В народе зрит лишь подлу тварь.
 Живот и смерть в руке имея,
 «По воле, — рекл, — щажу злодея;
 Я властью могу дарить;
 Где я смеюсь, там все смеется;
 Нахмурюсь грозно, все смятется;
 Живешь тогда, велю коль жить».

И мы внимаем хладнокровно,
 Как крови нашей алчный гад,
 Ругаяся всегда бесспорно,

В веселы дни нам сеет ад.
Вокруг престола все надменна
Стоят коленопреклоненно;
Но мститель, трепещи, грядет;
Он молвит, вольность прорекая,
И се молва от край до края,
Глася свободу, протечет.

14

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает,
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

15

И нощи се завесу лживой
Со треском мощно разодрав,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его как гражданина
К престолу, где народ воссел.
«Преступник власти, мною данной!
Вещай, злодей, мною венчанный,
Против меня восстать как смел?

16

Тебя облек я во порфиру
Равенство в обществе блюсти,
Вдовицу призирать и сиру,
От бед невинность чтоб спасти;
Отцом ей быть чадолюбивым,

Но мстителем непримиримым
Пороку, лжи и клевете;
Заслуги честью награждати,
Устройством зло предупреждати,
Хранити нравы в чистоте.

17

Покрыл я море кораблями,
Устроил пристань в берегах,
Дабы сокровища торгами
Текли с избытком в городах;
Златая жатва чтоб бесслезна
Была оратаю полезна;
Он мог вещать бы за сохой:
«Бразды своей я не наемник,
На пажитях своих не пленник,
Я благоденствую тобой».

18

Своих кровей я без пощады
Гремящую воздвигнул рать;
Я медны изваял громады,
Злодеев внешних чтоб карать;
Тебе велел повиноваться,
С тобою к славе устремляться;
Для пользы всех мне можно все;
Земные недра раздираю,
Металл блестящий извлекаю
На украшение твое.

19

Но ты, забыв мне клятву дану,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь, не я.
Мечом мои расторг уставы,
Безгласными поверг все правы,
Стыдиться истины велел;
Расчистил клевете дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел.

Кровавым потом доставая
 Плод, кой я в пищу насадил,
 С тобою крохи разделяя,
 Своей натуги не щадил.
 Тебе сокровищей всех мало!
 На что ж, скажи, их не достало,
 Что рубище с меня сорвал?
 Дарить любимца, полна лести,
 Жену, чуждающуюся чести!
 Иль злато богом ты признал?

В отличность знак изобретенный
 Ты начал наглости дарить;
 В злодея меч мой изощренный
 Ты стал невинности сулить.
 Сгруженные полки в защиту
 На брань ведешь ли знамениту
 За человечество карать?
 В кровавых борешься долинах,
 Дабы, упившись, в Афинах:
 «Герой!» — зевав, могли сказать.

Злодей, злодеев всех лютейший,
 Превзыде зло твою главу,
 Преступник, изо всех первейший,
 Предстань, на суд тебя зову!
 Злодействы все скопил в едино,
 Да ни едина прейдет мимо
 Тебя из казней, супостат.
 В меня дерзнул острить ты жало.
 Единой смерти за то мало.
 Умри, умри же ты стократ!»

Великий муж, коварства полный,
 Ханжа, и льстец, и святотать,
 Един ты в свет столь благотворный

Пример великий мог подать.
Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил.

24

Ниспослал призрак, мглу густую
Светильник истины поправ;
Личину, что зовут святою,
Рассудок с пагубы сорвал.
Уж бог не зрится в чуждом виде,
Не мстит уж он своей обиде,
Но в действии распростерт своим;
Не спасшему от бед как мнимых,
Отцу предвечному всех зримых
Победную мы песнь поем.

25

Внезапу вихри восшумели,
Прервав спокойство тихих вод,
Свободы гласы так взгремели,
На вече весь течет народ,
Престол чугунный разрушает,
Самсон как древле сотрясает
Исполненный коварств чертог;
Законом строит твердь природы;
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителен, как сам есть бог!

26

Сломив опор духовной власти,
И твердой мщения рукой
Владычество расторг на части,
Что лжей воздвигнуто святой:
Венец трезубый затмевая

И жезл священства преломляя,
Проклятий молнии утушил;
Смеясь мнимого прещенья,
Подъял луч Лутер просвещенья,
С землею небо помирил.

27

Как сый всегда в начале века
На вся простерту мочь явил,
Себе подобна человека
Создати с миром положил,
Пространства из пустыней мрачных
Исторг — и твердых и прозрачных
Первейши семена всех тел;
Разруша древню смесь покоил;
Стихиями он все устроил
И солнцу жизнь давать велел.

28

И дал превыспренно стремленье
Скривленному рассудку лжей;
Внезапу мощно потрясенье
Поверх земли уж зрится всей,
В неведомы страны отважно
Летит Колумб чрез поле влажно;
Но чудо Галилей творить
Возмог, протекши пустотою,
Зиждательной своей рукою
Светило дневно утвердить.

29

Так дух свободы, разоряя
Вознесшейся неволи гнет,
В градах и селах пролетая,
К величию он всех зовет,
Живит, родит и созидает,
Препоны на пути не знает,
Вождаем мужеством в стезях;

Нетрепетно с ним разум мыслит
И слово собственностью числит,
Невежества что развеет прах.

30

Под древом, зноем упоенный,
Господне стадо пастырь пас;
Вдруг новым светом озаренный,
Вспрянув, свободы слышит глас;
На стадо зверь, он видит, мчится,
На бой с ним ревностно стремится;
Не чуждый вождь брежет свое;
О стаде сердце не радело,
Как чуждо было, не жалело;
Но ныне, ныне ты мое.

31

Господню волю исполняя,
До востока солнца на полях
Скупую ниву раздирая,
Волы томились на браздах;
Как мачеха к чуждоутробным
Исходит с видом всегда злобным,
Рабам так нива мзду дает.
Но дух свободы ниву греет,
Бесслезно поле вмиг тучнеет;
Себе всяк сеет, себе жнет.

32

Исполнив круг дневной работы,
Свободный муж домой спешит;
Невинно сердце без заботы
В объятиях супружних спит:
Не господу рукой надменна
Ему для казни подаренна,
Невинных жертв чтоб размножал,
Любовию вождаем нежной,
На сердце брак воздвиг надежный,
Помощницу себе избрал.

Он любит, и любим он ею;
 Труды — веселье, пот — роса,
 Что жизненностью своею
 Плодит луга, поля, леса;
 Вершин блаженства достигают;
 Горячность их плодом стягчают
 Всещедра бога, в простоте,
 Безбедны дойдут до кончины,
 Не зная алчной десятины,
 Птенцов что кормит в наготе.

Воззри на беспредельно поле,
 Где стерта зверства рать стоит:
 Не скот тут согнан поневоле,
 Не жребий мужество дарит,
 Не груда правильно стремится, —
 Вождем тут вонн каждый зрится,
 Кончины славной нищет он.
 О воин непоколебимый,
 Ты есть и был непобедимый,
 Твой вождь — свобода, Вашингтон.

Двулична бога храм закрылся,
 Свирепство всяк с себя сложил,
 Се бог торжеств меж нас явился
 И в рог веселый вострубил.
 Стекаются тут громки лкн,
 Не видят грозного владыкн,
 Закон веселью кой дает;
 Свободы зрится тут держава;
 Награда тут — едина слава,
 Во храм бессмертья что ведет.

Сплетясь веселым хороводом,
 Различности надменность сняв,
 Се пакн под лазурным сводом

Естественный встает устав;
Погрязла в тине властна скверность;
Едина личная отменность
Венец возможет восхитить;
Но не пристрастию державну,
Опытностью лишь старцу славну
Его довлеет подарить.

37

Венец, Пиндару возложенный,
Художества соткан рукой;
Венец, наукой соплетенный,
Носим Невтоновой главой;
Таков, себе всегда мечтая,
На крыльях разума взлетая,
Дух бодр и тверд возможет вся;
[По всей вселенной пронесется;]
Миров до края вознесется:
Предмет его суть мы, не я.

38

Но страсти, изошряя злобу;
Враждебный пламенник стрясут;
Кинжал вонзить себе в утробу
Народы пагубно влекут;
Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,
В сердца граждан лиют боязнь;
Рождается несытна власти
Алчба, зиждущая напасти,
Что обществу устроит казнь.

39

Крутится вихрем громоносным,
Обвившись облаком густым,
Светилом озарясь поносным,
Сияньем яд прикрыт святым.
Зоя, прельщая, угрожая,

Иль казнь, иль мзду ниспосылая, —
Се меч, се золото избирай.
И, сев на камени ехидны,
Лестей облек в взор миловидный,
Шлет молнию из края в край.

40

Так Марий, Сулла, возмутивши
Спокойство шаткое римлян,
В сердцах пороки возродивши,
В наемну рать вместил граждан,
Ругаясь всем, что есть свято,
И то, что не было отнято,
У римлян откупить возмог;
Весы златые мзды позорной,
Предательству, убивству сродной,
Воздвиг нечестья средь чертог.

41

И се, скончав граждански брани
И свет коварством обольтив,
На небо простирая длани,
Тревожну вольность усыпив,
Чугунный скиптр обвил цветами;
Народы мнили — правят сами,
Но Август выю их давил;
Прикрыл хоть зверство добротою,
Вождаем мягкою душою, —
Но царь когда бесстрастен был!

42

Сей был и есть закон природы,
Неизменяемый никогда,
Ему подвластны все народы,
Незримо правит он всегда;
Мучительство, стряся пределы,
Отравы полны свои стрелы
В себя, не ведая, вонзят;

Равенство казнию восставит;
Едину власть, вселясь, раздавит;
Обидой право обновит.

43

Дойдешь до меты совершенство,
В стезях препоны прескочив,
В сожитии найдешь блаженство,
Несчастливых жребий облегчив,
И паче солнца возблистаешь,
О вольность, вольность, да скончаешь
Со вечностью ты свой полет:
Но корень благ твой истощится,
Свобода в наглость превратится
И власти под ярмом падет.

44

Да не дивимся превращенью,
Которое мы в свете зрим;
Всеобщему вослед стремленью
Некосненно стремглав бежим.
Огонь в связи со влагой спорит,
Стихия в нас стихию борет,
Начало тленьем тщится дать;
Прекраснейше в миру творенье
В веселии начнет рожденье
На то, чтоб только умирать.

45

О! вы, счастливые народы,
Где случай вольность даровал!
Блюдите дар благой природы,
В сердцах что вечный начертал.
Се хлябь разверстая, цветами
Усыпанная, под ногами
У вас, готова вас сглотить.
Не забывай ни на минуту,
Что крепость сил в немощность люту,
Что свет во тьму лезя претворить.

К тебе душа моя вспаленна,
 К тебе, словутая страна,
 Стремится, гнетом где согбенна
 Лежала вольность поправа;
 Ликуешь ты! а мы здесь страждем!..
 Того ж, того ж и мы все жаждем;
 Пример твой мету обнажил;
 Твоей я славе не причастен —
 Позволь, коль дух мой не подвластен,
 Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл.

Но нет! где рок судил родиться,
 Да будет там и дням предел;
 Да хладный прах мой осенится.
 Величеством, что днесь я пел;
 Да юноша, взалкавый славы,
 Пришед на гроб мой обветшалый,
 Дабы со чувством вещал:
 «Под игом власти сей рожденный,
 Нося оковы позлащенные,
 Нам вольность первый прорицал».

И будет, вслед гремящей славы
 Направля бодрственно полет,
 На запад, юг, восток державы
 Своей ширить предел; но нет
 Тебе предела ниотколе,
 В счастливой ты ликуя доле,
 Где ты явишься, там твой трон;
 Отечество мое драгое,
 На чреслах пояс сил, в покое,
 В окрестность ты даешь закон.

Но дале чем источник власти,
 Слабее членов тем союз,
 Между собой все чужды части.

Всяк тяжесть ощущает уз.
Лучу, истекшу от светила,
Сопутствует и блеск и сила;
В пространстве он теряет мощь;
В ключе хотя не угасает,
Но бег его ослабевает;
Ползущего глотает ночь.

50

В тебе когда союз прервется,
Стоичает мненья крепка власть;
Когда закона твердь шатнется,
Блюсти всяк будет свою часть;
Тогда, растерзано мгновенно,
Тогда сложенье твое бренно,
Содрогшись внутренно, падет,
Но праха вихри не коснутся,
Животны семена проснутся,
Затускло солнце вновь даст свет.

51

Из недр развалины огромной,
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег, —
Возникнут малые светила;
Незыблемы свои кормила
Украсят дружба венцом,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,
Что чтит слепец своим отцом.

52

Но не приспе еще година,
Не совершились судьбы;
Вдали, вдали еще кончина,
Когда иссякнут все беды!
Встрещат заклепы тяжелой ночи;

Упруга власть, собрав все мочи,
Вкатыся где потщится пасть,
Да грузным махом все раздавит
И стражу к словеси приставит
Да будет горшая напасть.

53

Влача оков несносно бремя,
В вертепе плача возревет.
Приидет вожделенно время,
На небо смертность воззовет;
Направлена в стезю свободой,
Десную ополча природой,
Качнется в дол — и страх пред ней;
Тогда всех сил властей сложенье
[Приидет во изнеможенье.]
О день! избраннейший всех дней!

54

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества;
Трясутся вечна мрака своды,
Се миг рожденью вещества.
Се медленно и в стройном чине
Грядет зиждитель наедине —
Рекл... яркий свет пустил свой луч,
И ложный плена скиптр поправши,
Сгущенную мглу разогнавши,
Блестящий день родил из туч.

ПРОЗА

〈О САМОДЕРЖАВСТВЕ〉

Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь права собственныя сохранности. Если мы живем под властью законов, то сие не для того, что мы оное делать должныствуем неотменно; но для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природныя власти, то дабы она употребляема была в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом *безмолвный договор*. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея *обязанности*. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. *Государь есть первый гражданин народного общества.*

ДНЕВНИК ОДНОЙ НЕДЕЛИ

Суббота.

Уехали они, уехали друзья души моей в одиннадцать часов поутру... Я вслед за отдаляющеюся каретою устремлял падающие против воли моей к земле взоры. Быстро вертящиеся колеса тащили меня своим вихрем вслед за собою, — для чего, для чего я с ними не поехал?..

По обыкновению моему, пошел я к отправлению моей должности. В суете и заботе, не помышляя о себе самом, я пребыл в забвении, и отсутствие друзей моих мне было нечувствительно. Второй уже час; я возвращаюсь домой; сердце бьется от радости: облобызаю возлюбленных. Двери отворяются, — никто навстречу ко мне не выходит. О возлюбленные мои! вы меня оставили. Везде пусто — усладительная тишина! вожденное уединение! у вас я некогда искал убежища; в печали и унынии вы были сопутники, когда разум преследовать тщился истине; вы мне теперь несносны!

Не мог я быть один, побежал стремглав из дома и, скитаясь долго по городу без всякого намерения, наконец возвратился домой в поту и усталости. Я поспешно лег в постелю и — о блаженная бесчувственность! едва сон сомкнул мои очи, — друзья мои представились моим взорам, и, хотя спящ, я счастлив был во всю ночь: ибо беседовал с вами.

Воскресение.

Утро прошло в обыкновенной суете.

Я еду со двора, еду в дом, где обыкновенно бываю с друзьями моими. Но — и тут я один. Грусть моя, преследуя меня безотлучно, отнимала у меня даже нужное приветствие благопристойности, делала меня почти глухим и немым. С тягостию, несказанию себе самому и тем, с коими беседовал, препроводил я время обеда; спешу домой. Домой? Ты паки один будешь, — пускай один, но сердце мое не пусто, и я живу не одною жизнью, живу в душе друзей моих, живу стократно.

Мысль сия меня ободрила, и я возвращался домой с веселым духом.

Но я один, — блаженство мое, воспоминание друзей моих было мгновенно, блаженство мое было мечта. Друзей моих нет со мною, где они? Почто отъехали? Конечно, жар дружбы их и любви столь мал был, что могли меня оставить! Несчастный! что ты произрек? Страшись! Се глагол грома, се смерть благоденствия твоего, се смерть твоей надежды! Я убоялся сам себя — и пошел искать мгновенного хотя спокойствия вне моего существа.

Понедельник.

День ото дня беспокойствие мое усугубляется. На одном часе сто родится предприятий в голове, сто желаний в сердце, и все исчезают мгновению. Ужели человек толико раб своея чувствительности, что и разум его едва сверкает, когда она сильно встревожится? О гордое насекомое! дотропись до себя и познай, что ты и рассуждать можешь для того только, что чувствуешь, что разум твой начало свое имеет в твоих пальцах и твоей иаготе. Гордись своим рассудком, но прежде воспрями, чтобы острие тебя не язвило и сладость тебе не была приятна.

Но где искать мне утolenия, хотя мгновенного, моей скорби? Где? Рассудок вешает: в тебе самом. Нет, нет, тут-

то я и нахожу пагубу, тут скорбь, тут ад; пойдем. Стоны мои становятся тише, шествие плавнее, — войдем в сад, общее гульбище, — беги, беги, несчастный, все скорбь твою на челе твоём узрят. Пускай; но какая в том польза? Они соболезновать с тобою не будут. Те, коих сердца сочувствуют твоему, от тебя отсутственны. Пойдем мимо.

Собрание карет — позорище, играют Беверлея, — войдем. Пролием слезы над несчастным. Может быть, моя скорбь умалится. Зачем я здесь?.. Но представление привлекло мое внимание и прервало нить моих мыслей.

Беверлей в темнице — о! koliko тяжко быть обмануту теми, в которых полагаем всю надежду! — он пьет яд — что тебе до того? Но он сам причина своему бедствию, — кто же поручится мне, что и я сам себе злодей не буду?¹ Исчислил ли кто, сколько в мире западней? Измерил ли кто пропасти хитрости и пронырства?.. Он умирает... но он бы мог быть счастлив; о! беги, беги. По счастью моему, запутавшиеся лошади среди улицы принудили меня оставить тропину, по которой я шел, разбили мои мысли. Возвратился домой; жаркий день, утомив меня до чрезвычайности, произвел во мне крепкий сон.

Вторник.

Спал я очень долго, — здоровье мое почти расстроилось. Насилу мог встать с постели, — лег опять, — заснул, спал почти до половины дня, — пробудился, едва голову мог приподнять, — должность требует моего выезда, — невозможно, но от одного зависит успех или неудача в делопроизводстве, зависит благосостояние или вред твоих сограждан, — напрасно. Я в такой почти был бесчувственности, что если бы мне пришли возвестить, что комната, в которой я лежал, скоро возгорится, то я бы не шевельнулся. Пора обедать, — нечаянный приехал гость. Присутствие его меня выводило почти из терпения. Он просидел у меня вплоть до вечера... и, подивитесь, скука разогнала несколько мою грусть, — сбылася со мною сей день пословица русская: выбивать клин клином.

Среда.

Волнение в крови моей уменьшилось, — я целое утро просидел дома. Был весел, читал, — какая нечаянная перемена! что тому причиною? О возлюбленные мои! я читал жи-

¹ Сие сбылося чрез несколько лет.

вое изображение того, что ежечасно, ежемгновенно происходит, когда вы со мною. О мечта, о очарование! почто ты не продолжительно? Зовут обедать — мне обедать? С кем? одному! — нет — оставь меня чувствовать всю тяжесть разлуки — оставь меня. Я хочу поститься. Я им принесу в жертву... почто ты лжешь сам себе? Нет никакого в том достоинства. Желудок твой ослабел с твоими силами и пищи не требует, — пойдем, — едва в целый день мог я совершить столько пути, сколько в другое время совершаю в один час, — возвратимся, — я лежу в постеле, — бьет полночь. О успокоитель сокрушений человеческих! где ты? Почто я казнюся? Почто лишен тебя? Едва заснул на рассвете.

Четверток.

Благая мысль, — исполним ее, — зашел в лавочку, купил два апельсина и крендель, — пойдем: куда, несчастный? В Волкову деревню.

На месте сем, где царствует вечное молчание, где разум затей больше не имеет, ни душа желаний, поучимся заранее взирать на скончание дней наших равнодушно, — я сел на надгробном камне, вынул свой запасный обед и ел с совершенным души спокойствием; приучим заранее зрение наше к тленности и разрушению, воззрим на смерть, — нечаянный хлад объемлет мои члены, взоры тупеют. Се конец страдания, — готов... мне умирать? Да не ты ли хотел приучать себя заблаговременно к кончине? Не ты ли сие мгновение хотел ознакомиться?.. мне умирать? Мне, когда тысячи побуждений существуют, чтобы желать жизни!.. Друзья мои! вы, может быть, уже возвратились, вы меня ждете; вы сетуете о моем отсутствии, — и мне желать смерти? Нет, обманчивое чувство, ты лжешь, я жить хочу, я счастлив. Спешу домой, — бегу, — но нет никого, никто меня не ждет. Лучше бы я там остался, там бы препроводил ночь...

Пятница.

Велел себя возить, — обедал безо вкуса.

Ничто не помогает, — уныние, беспокойствие, скорбь, о, как близко отчаяние! но на что толико грустить? еще два дни, — и они, они будут со мною, — два дни, — о ты, что можешь разлуку с друзьями души моей исчислить временем, о ты, злодей, варвар, змий лютый! Прочь тоλικое хладнокровие, — во мне сердце чувствует, а ты рассуждаешь.

Едва я уснул... О возлюбленные мои! я вас вижу, — вы все со мною, сомневаться мне в том не должно, прижмите

меня к своему сердцу, почувствуйте, как мое бьется, — и что! вы меня отталкиваете! вы удаляетесь, отворачивая взоры ваши! о пагуба, о гибель! се смерть жизни, се смерть души. Куда идете, куда спешите? или не узнаете меня, меня, друга вашего? друга... Пойдите... мучители удалились, — пробудился. Вой беги, удаляйся, — се разверста пропасть, — оии, они меня в нее ввергают, — оставили, — оставь их, будь мужествен. Кого? друзей моих? Оставить? Несчастный! они в твоей душе.

Суббота.

Утро прекрасное, — кажется, природа обновила, — все твари веселее, — да, веселье возрождается в душе моей. Возлюбленные мои возвратятся завтра — завтра! год целый. Изготовим для них обед, — тут они сядут. Я сяду с ними, о веселие! о надежда! — но их еще здесь нет. Завтра будут они, завтра сердце мое не одно будет биться, — а если не возвратятся — вся кровь останавливается, — какое сомнение! Прочь, прочь, я счастлив быть хочу, я хочу быть блажен, о итерпение! о, колико солище путь свой лениво совершает, — ускорим его шествие, осмеем его завистливость, уснем, — я лег в постель до заката, заснул, — и пробудился.

Воскресение.

До восхождения солнца, — о вожделенный день, о день блаженный! скончался заранее мое терзание. Настал приятный час. Друзья мои! сегодня я вас облобызаю.

Пообедал я немного, — ускорим свидание наше, — ускорим, — о, если им толико же скучно, как мне? О, если бы они могли иметь отзвон моего терзания в душах своих, колико приятно будет для них зреть меня несколько часов прежде, — поедем им навстречу, — чем скорее поеду, тем скорее их увижу; в сей лстящей надежде не видал я, как доехал до почтового стана.

Девятый час — оии еще не едут, может быть, какое препятствие, — подождем. Никто не едет. Чьим верить словам возможно, когда возлюбленные мои мне данного слова не сдержали? Кому верить на свете? Все миновалось, ниспал обаятельный покров утех и веселий; оставлен. Кем? Друзьями моими, друзьями души моей! Жестокие, ужели толико лет сряду приветствие ваше, ласка, дружба, любовь были обман? Что изрек? несчастный! А если какая непреодолимая причина положила на сей день препятствие свиданию

вашему? Какое хуление! страшишь, чтобы не исполнилось! о горесть! о разлука! почто, почто я с ними расстался? Если они меня забыли, забыли друга своего, — о смерть! приди, вожделенная, — как можно человеку быть одному, быть пустыннонику в природе!

Но они не едут, — оставим их, — пускай приезжают, когда хотят! приму сие равнодушно, за холодность их заплачу холодною, за отсутствие отсутствием, — возвратимся в город; — несчастный, ты будешь один; — пускай один; — но кто за мною едет вослед? Они — нет, их окаменелые сердца чувствительность потеряли; забыли они свое обещание сегодня возвратиться; забыли, что я им поеду во сретение; забыли меня. Пускай забывают; я их забуду...

Понедельник.

Их нет, и я один! кого нет? Друзей... друзей моих? Нет друзей на свете более, коли они друзьями моими быть не захотели; чего их ждать? Уедем в другой город — пускай они меня ждут; но сегодня поздно, — исполним завтра.

Вторник.

Простите, вероломные, простите, бесчувственные, — простите... Куда едешь, несчастный? Где может быть блаженство, если в своем доме его не обретаешь? Но я оставлен, — но я один, один — один!..

Карета остановилась, — выходят, — о радость! О блаженство! друзья мои возлюбленные!.. Они!.. Они!..

**ПИСЬМО К ДРУГУ,
ЖИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ В ТОБОЛЬСКЕ,
ПО ДОЛГУ ЗВАНИЯ СВОЕГО**

Санктпетербург. 8 августа 1782-го года.

Вчера происходило здесь с великолепием посвящение монумента, Петру Первому в честь воздвигнутого, то есть открытие его статуи, работы г. Фальконета. Любезный друг, побеседуем о сем в отсутствии. Пребывая в отдаленном отечества нашего краю, отлученный от твоих ближних, среди людей, не известных тебе ни со стороны качеств разума и сердца, не нашел еще, может быть, в краткое время твоего пребывания не токмо друга, но ниже приятеля, с коим бы

ты мог сетовать во дни печали и скорби и радоваться в часы веселия и утех: ибо печаль и скорбь исчисляются днями и годами, веселие часами, утехи же мгновением. Ты охотно, думаю, употребишь час хотя единый отдохновения твоего на беседование с делившим некогда с тобою горесть и радовавшимся о твоей радости, с кем ты юношеские провел дни свои.

Вокруг места, где сооружался сокровенно чрез 15ть лет образ изваянный императора Петра, воздвигнута была рисованная на полотне заслона, а хоромина, бывшая над ним, неприметно сломана, и место вокруг все очищено.

В день, назначенный для торжества, во втором уже часу пополудни, толпы народа стекались к тому месту, где зреть желали лице обновителя своего и просветителя. Полк гвардии Преображенский и Семеновский, бывшие некогда сотоварищи опасностей Петровых и его побед, также и другие полки гвардии, тут бывшие под предводительством начальников своих, окружили места позорища, артиллерия, кирасирский Новотроицкий полк и Киевский пехотный заняли места на близлежащих улицах. Все было готово, тысячи зрителей на сделанных для того возвышениях и толпа народа, рассеянного по всем близлежащим местам и кровлям, ожидали с нетерпением зрети образ того, которого предки их в живых ненавидели, а по смерти оплакивали. Истинно бо есть и непреложно: достоинство заслуги и добродетель привлекают ненависть нередко и самих тех, кои причины не имеют их ненавидеть; когда же вина и предлог ненависти исчезает, то и она не отрицает им должного, и слава Великого Мужа утверждается по смерти. Сооружившая монумент славы Петра императрица Екатерина, сев на суда у летнего своего дома, прибыла к пристани, вышед на берег, шествовала на уготованное при Сенате ей место, между строя воев своих. Едва вступить она успела на оное, как бывшая вокруг статуи заслона, помалу и неприметно как, опустилася. И се явился паки взорам нашим сидящ на коне борзом в древней отцов своих одежде Муж, основание града сего положивший и первый, который на невских и финских водах воздвиг российский флаг, доселе не существовавший. Явился он взорам любезных чад своих сто лет спустя, когда впервые трепещущая его рука, младенцу ему сушу, прияла скипетр обширных России, пределы коея он расширил столь славно.

Благословенно да будет явление твое, речет преемница престола его и дел и преклоняет главу. Все следуют ее примеру. И се слезы радости орошают ланиты. О Петр! Когда

громкие дела твои возбуждали удивление и почтение к тебе, из тысячи удивлившихся великости твоего духа и разума был ли хотя один, кто от чистоты сердца тебя возносил. Половина была ласкателей, кои во внутренности своей тебя ненавидели и дела твои порицали, другие, объемлемые ужасом беспредельно самодержавных власти, раболепно пред блеском твоея славы опускали зеницы своих очей. Тогда был ты жив, царь, всемогущ. Но днесь, когда ты ни казнить, ни миловать не можешь, когда ты бездыханен, когда ты меньше силен, нежели последний из твоих воинов, шестьдесят лет по смерти, хвалы твои суть истинны, благодарность не лестна. Но сколько крат более признание наше было живее и тебя достойнее, когда бы оно не следовало примеру твоея преемницы, достойному хотя примеру, но примеру того, кто смерть и жизнь миллионов себе подобных в руке своей имеет. Признание наше было бы свободнее, и чин откровения изваянного твоего образа превратился бы в чин благодарственного молебствия, каковое в радости своей народ воссылает к предвечному отцу.

Из тысяч бывших тут зрителей известных было три человека, кои Петра I видели. Но не приметно было, ощутили ли они при явлении его образа то благоговение, которое ощущаем, увидев Мужа славна, нам известного. — Действие продолжалось. Пушечная пальба со стоящих на реке судов, с крепости и адмиралтейства и троекратный беглый огонь возвещали отсутствием явления образа, приведшего силы пространная России в действие. Стоявшие в строю полки ударили поход, отдавая честь, и с преклонными знаменами шли мимо подавшего им первый пример слепого повиновения воинской подчиненности, показывая учредителю своему плоды его трудов, при продолжающейся военных судов пальбе, которые сардамскому плотнику в честь украсились многочисленными флагами. Сей день ознаменован прощением разных преступников и медалию, сделанною в честь обновителя России.

Статуя представляет мощного всадника на коне борзом, стремящемся на гору крутую, коея вершины он уже достиг, раздавив змею, в пути лежащую и жалом своим быстрое ристание коня и всадника остановить покусившуюся. Узда простая, звериная кожа вместо седла, подпругою придерживаемая, суть вся конская сбруя. Всадник без стремян, в полукафтанье, кушаком препоясан, облеченный багряницею, имеющ главу, лаврами венчанную, и десницу простертую. Из сего довольно можешь усмотреть мысли изваятеля. Если б ты здесь был, любезный друг, если бы ты сам видел сей

образ, ты, зная и правила искусства, ты, упражняясь сам в искусстве, сему собратному, ты лучше бы мог судить о нем. Но позволь отгадать мне мысли творца образа Петрова. Крутизна горы суть препятствия, кои Петр имел, производя в действо свои намерения; змея, в пути лежащая, коварство и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древняя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, который он преобразовать вознамерился; глава, лаврами венчанная, победитель бо был прежде, нежели законодатель; вид мужественный и мощный и крепость преобразователя; простертая рука покровительствующая, как ее называет Дидеро, и взор веселый суть внутреннее уверение достижения цели, и рука простертая являет, что крепкий муж, преодолев все стремлению его противившиеся пороки, покров свой дает всем, чадами его называющимся. Вот, любезный друг, слабое изображение того, что, взирая на образ Петров, я чувствую. Прости, буде я ошибаюсь в моих суждениях о искусстве, коего правила мне мало известны. Надпись сделана на камне самая простая: *Петру Первому Екатерина Вторая, Лета 1782го.*

Петр, по общему признанию, наречен великим, а Сенатом — отцом отечества. Но за что он может великим назваться. Александр, разоритель полусвета, назван великим; Константин, омытый в крови сыновней, назван великим; Карл, первый возобновитель Римския империи, назван великим; Лев, папа римский, покровитель наук и художеств, назван великим; Козма Медицис, герцог Тосканский, назван великим; Генрих, добрый Генрих IV, король французский, назван великим; Лудвиг XIV, тщеславный и кичливый Лудвиг, король французский, назван великим; Фридрих II, король прусский, еще при жизни своей назван великим. Все сие владетели, о множестве других не упоминая, коих ласкательство великими называет, получили сие название для того, что иступили из числа людей обыкновенных услугами к отечеству, хотя великие имели пороки. Частный человек гораздо скорее может получить название великого, отличаясь какой-либо добродетелию или качеством, но правителю народов мало для приобретения сего лестного названия иметь добродетели или качества частных людей. Предметы, над коими разум и дух его обращается, суть многочисленны. Посредственный царь исполнением одной из должностей своего сана был бы, может быть, великий муж в частном положении; но он будет худой государь, если для

одной пренебрежет многие добродетели. И так вопреки жевневскому гражданину познаем в Петре мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно.

И хотя бы Петр не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что дал первый стремление столь обширной громаде, которая, яко первенственное вещество, была без действия. — Да не уничижуся в мысли твоей, любезный друг, превознося хвалами столь властного самодержавца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества. Он мертв, а мертвому льстити не можно! И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносясь сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную; но если имеем примеры, что цари оставляли сан свой, дабы жить в покое, что происходило не от великодушия, но от сытости своего сана, то нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти, сядя на престоле¹.

БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА

— Не все рожденные в отечестве достойны величественного наименования сына отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. — Поудержись, чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге.

— Вступи и виждь! Кому не известно, что имя сына отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту или другому бессловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободою волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако божественными называемым, и извлеченным от божественных и естественных гражданским, или общежительным.

¹ Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли.

— Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына отечества?

— Он не человек, но что? он ниже скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчастнейших, коих коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равные с лошадию воздаяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, в прочем обременены тяжестью своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои не что иное, как мертвые тела, погребенные одно против другого; работают необходимое для человека из страха; им ничего, кроме смерти, не желательно и коим наималейшее желание заказано и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что они достойного человечества сделали; какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? какое добро, какую пользу принесло государству сие великое число рук?

— Не о сих здесь слово; они не суть члены государства, они не человеки, когда суть не что иное, как движимые мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот!

— Человек, человек потребен для ношения имени сына отечества! Но где он? где сей, украшенный достойно сим величественным именем?

— Не в объятиях ли неги и любострастия? Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? Не зарытый ли в скверно-прибыточестве, зависти, зловожде, вражде и раздоре со всеми, даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют и к одному и тому же устремляются? или не по-

грязный ли в тину лени, обжорства и пьянства? Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все дома для бессмысленнейшего пустоглаголания, для оболыщания целомудрия, для заражения благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем сажи, щеки коробками белил и сурика, лучше сказать, живописною палитрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего тела его исходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний, — словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки: он есть, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко — он щеголь.

— Не сей ли есть сын отечества? — или тот, поднимающий величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством, словом, всеми одному ему известными средствами раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность и другие сим подобные? потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но улаживают его душу. Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын отечества?

— Или тот, простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света и который с хладнокровием готов отнять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие унылую и томную их жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который восхищается радостью, ежели открывается ему случай к новому приобретению, пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие не поколеблет его сердце; все сие для него не значит ничего, — он умножает свое име-

ние, а сего и довольно. — И так не сему ли принадлежит имя сына отечества?

— Или не тот ли, сидящий за исполненным произведениями всех четырех стихий столом, коего услаждению вкуса и брюха жертвуют несколько человек, отягтых от служения отечеству, дабы по пресыщении мог он быть перевален в постель и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какие он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюстями своими? И так, конечно, сей или же который-нибудь из вышесказанных четырех? (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдем). Смесь сих четырех везде видна, но еще не виден сын отечества, ежели он не в числе сих!

— Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человеков, не согласен наименовать вычисленных людей сынами отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе и приговорят исключить таковых из числа сынов отечества, поелику нет человека, сколько бы он ни был порочен и ослеплен собою, чтобы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.

— Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя унижаема, поносима, порабощаема насилием, лишася всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит честь, без которой он как без души. Не нужно здесь изъяснять, что сия есть истинная честь, ибо ложная вместо избавления покоряет всему вышесказанному и никогда не успокоит сердца человеческого.

— Всякому врождено чувство истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предубеждений к тихому ее, чести то есть, свету. Нет ни одного из смертных толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению чести. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонского, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже род смертных так, что одна, и притом гораздо большая, часть оных должна непременно быть

в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать, что есть честь? а другая в господственном, потому, что не многие имеют благородные и величественные чувствования.

— Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие нимало не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя и, следовательно, к люблению истинной славы и чести. Причиною тому или род провождаемой жизни, обстоятельства, или в коих быть принуждены, или малоопытность, или насилие врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силою и коварством слепоте и рабству, которое разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечнаго.

— Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежели б вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мысли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания и при которых истинный друг человечества содрогается.

— Что бы такое представляла тогда природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком рождается оная пламенная любовь к снижению чести и похвалы у других. Сие происходит из врожденного человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувство толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя.

— И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к чести и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других есть вели-

чайшее и надежнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? Ибо какое тогда останется для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувство, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? Какое есть средство к избавлению от страха пасть навеки под ужаснейшим бременем оных? ежели отнять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к высочайшему существу не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа ради взаимной помощи и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всем заглушении сего внутреннего гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя.

— Кто посеял в человеке чувство, сие искать прибежища? — Врожденное чувство зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с сими двумя человеческого блаженства средствами и к заботе нравиться им? — Поистине не что иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение божие и любовь собратии своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства.

— Рассматривающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! И се начало того побуждения к люблению чести, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изображается радостью при воззрении его, похвалами, восклицаниями. Се предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын отечества есть одно и то же: следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом честолюбив.

— Сим да начинает украшать он величественное наименование сына отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбить ближних; ибо единою любовью приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благоразумие и честность, не забываясь нимало о воздаянии, почести, превозношении и славе, которая есть спутница или паче тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемую не вечерним солнцем правды: ибо те, которые гонятся за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.

— Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоговением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении отечеству; служа оному, он знает, что он содействует здравоносному обращению, так сказать, крови государственного тела. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагонравия и тем отнять у отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оного; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежнейшею любовью к целости и спокойствию своих соотчичей; ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением честности, подает благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; если же она нужна для отечества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствования соотечественников своих. Словом, он благонравен! Вот другой верный знак сына отечества!

— Третий же и, как кажется, последний отличительнейший знак сына отечества, когда он благороден. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет

в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенен истинно мудрым любочестием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинуясь законам и блюстителям оных, предержащим властям, как всего себя, так и все, что он ни имеет, не почитать иначе, как принадлежащим отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчичей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени отечества и который не иначе чувствует при том воспоминании (которое в нем непрестанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оногo: верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый творец вливает в непорочное сердце и которой в сс тишине и удовольствии ничто в свете уподобиться не может. Ибо истинное благородство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честью, которая не инде находится, как в непрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам естества и народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына отечества!

— Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сии качества сына отечества и хотя всяк сроден иметь оные, но не могут, однако ж, не быть нечисты, смешаны, темны, запутаны, без надлежащего воспитания и просвещения науками и знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустройствами. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. Почему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви отечества, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви к наукам и художествам, сколько позволяет отпра-

вляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры или зодчества.

— Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такого точно воспитания и на сих правилах основанного введен богомудрыми монархами, и просвещенная Европа с изумлением видит успехи оного, восходящие к предположенной цели исполинскими шагами!

ЖИТИЕ ФЕДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА УШАКОВА

С приобщением некоторых его сочинений

Часть первая
ЖИТИЕ Ф. В. УШАКОВА

Алексею Михайловичу Кутузову

Не без удовольствия, думаю, любезнейший мой друг, воспоминаешь иногда о днях юности своея; о времени, когда все страсти, пробуждаясь в первый раз, производили в новой душе не стройное хотя волнение, но дни блаженнейшие всея жизни соделовали. Беззаботный дух и разум неопытною не претили в веселии распростираться чувствам, чуждым скорбного еще нервов содрогания. Да и самая печаль, грусть и отчаяние скользили, так сказать, на юном сердце, не проникая начальную его твердость, когда нередко наиплачевнейший день скончался веселия иступлением. Отвлеки мысленно невинную часто порочность из деяний юности, найдешь, что после первых восторгов веселия подобных в жизни своей не чувствовал. Первое веселие назвать можно вершиною блаженства, и потому только, что оно первое; последующее уже есть повторение, и нечаянности приятность его не живет. Не с удовольствием ли, мой друг, повторю я, вспомянешь о времени возрождения нашей дружбы, о блаженном сем союзе душ, составляющем ныне мое утешение во дни скорби и надеяние мое для

дней успокоения. Не возрадуешься ли, если узришь паки подавшего некогда нам пример мужества, узришь учителя моего по крайней мере в твердости. Воспомяни, о мой друг! Федора Васильевича, сгораема внутренним огнем, кончину свою слышавшего из уст нелестивого своего врача и к тебе, мой друг, к тебе прибегающего на скончание своего мучения... Воспомяни сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пиющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподавал им учение, какого во всем житии своем не возмог.

Таковые размышления побудили меня описать житие со-товарища нашего Федора Васильевича Ушакова. Я ищу в том собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверзти последние излучины моего сердца. Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в живых еще сущего.

Первые годы жизни Федора Васильевича мало мне известны; и хотя бы охотно и с удовольствием их я начертал, находя в первейших детских и отроческих деяниях начальное образование души его, находя в пятилетнем Ушакове семена твердости, душу его возвышавшей в возмужалых летах: но лучше признаюсь в неведении моем, нежели поставлю что-либо гадательное вместо истины, и единственного да не отыму побуждения ко чтению сего повествования во истине.

Но не гадательным предположением назвать можно, если скажу, что воспитанием своим в сухопутном кадетском корпусе положил он основательное образование прекрасная своя душа. Ибо в душе своей более предуспеть мог, нежели в разуме, скончав жизнь свою тогда, когда юношескою крепостию мозга представления, воображения и мысли, проницая друг друга, первые полагают украшения верховного нашего члена — главы; когда разум, хотя собрав посредством чувств много понятий, не имел еще довольного времени устроить их в порядок, дабы и последнее возбуждало первое, переходя все между стоящее.

Успехи Федора Васильевича в науках побудили тогда тайного советника Теплова взять его к себе в должность секретаря, с чином титулярного советника. По издании Рижского торгового устава, при составлении которого он много трудился, получил он чин коллежского ассессора. Люди, ослепляющиеся внешностью и чтущие в человеке чин, а не человека, завидуя ему и преуказуя его возвышение, обучались уже его почитать заранее: но сколь не рав-

ных с ними он сам о себе был мыслей, доказал то самым делом.

Императрица Екатерина, между многими учреждениями на пользу государства, восхотела, чтобы между людьми, в делах судебных или судопроизводных обращающимися, было некоторое число судей, имеющих понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы оное сообразовали с деяниями граждан на суде. На сей конец определила послать в Лейпцигский университет двенадцать юношей для обучения юриспруденции и другим к оной относящимся наукой. Будучи извещен о сем благом намерении императрицы, Федор Васильевич прибегнул просьбою к начальнику своему, да участвует в приобретении знаний, сотовариществуя юношам, избанным для отправления в Лейпцигский университет.

Узнав о его предприятии, многие из его друзей увещевали его, да останется при своем месте и да не предпочтет неверную стезю к почестям, ученость покровительству своего начальника и да не подреет тем основания своего возвышения. В делах житейских, говорили они ему, все зависит от расчета и уловки. Кто в них следует единому рассудку и добродетели, тот не брежет о себе. Благоразумие, а иногда один расторопный поступок далее возводят стяжающего почестей, нежели все добродетели и дарования совокупно. Положим, что государь истинное достоинство только награждает и пристрастен не бывает николи; но если бы возможно было ему хотя одному быть беспристрастному в своем государстве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут; ибо если он возможет чужд быть родству, приязни, дружбе, любви, хотя потому, что равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного. Сверх же того, он малого токмо числа отечеству или ему служащих сам по себе знает истинные заслуги, о всех других судит по слуху, награждает того, кого назначают вельможи, казнит нередко того, кто им не нравится. Из нескольких миллионов ему подвластных едва единое сто служат ему; все другие (источая кровавые слезы, признаться в том должно), все другие служат вельможам. Доказательства для сего не нужны. Скажу только одно: посмотри на поступающих в чины; кто чин, или место, или награждение какого бы рода ни было получит, обязанным себя, да и справедливо, почитает благодарить за то вельможей. Одного благодарит за то, что его рекомендовал государю, другого за то, что не был ему противен, третьего, чтобы вперед не гово-

рил о нем худо. Государь нередко бывает в сем случае не что иное, как корабль, направляемый тем ветром, который других превозмогает. Итак, оставь пустую мысль и тщетное намерение быть известным государю, в низком состоянии следуй начатому пути и преуспеешь.

Положим, что ты пребыванием своим в училище приобретешь знания превосходнейшие, что достоин будешь управлять не токмо важным отделением, но достоин будешь венца; неужели думаешь, что тебя государь поставит на первую по себе степень? Тщетная мечта юного воображения! По возвращении твоём имя твоё будет забыто. Вместо того что ты известен ныне чрез твоего начальника, о тебе тогда и не вспомнят, ибо не удостоит тебя государь, может быть, воззрения, отвлеченный от того или правления заботою, или надменностию сана своего, или завистию вельможей, которые, осаждаая непрестанно престол царский, претят проникнуть до него достоинству. А если истекает на него награждение, то уделяют его всегда в виде милости, а не должным за заслуги воздаянием. Ты поместишься в число таких людей, кои не токмо не равны будут тебе в познаниях, но и душевными качествами иногда ниже скотов почестся могут; гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен. Окрест себя узришь нередко согбенные разумы и души и самую мерзость. Возненавиден будешь ими; поженут тебя, да оставишь ристание им свободно. А если тогда начальник твой будет таковых же качеств, как и раболепствующие ему, берегись, гибель твоя неизбежна.

Таковыми ужасными представлениями друзья Федора Васильевича старались отвлечь его от его предприятия. Начальник его, хотя другими доводами, то же имел намерение: но все старания их были тщетны. Полагаясь твердо на правосудие своего государя и алкая науки, Федор Васильевич пребыл непоколебим в своем намерении и учения ради сложил с себя мужественный возраст, что степень почестей ему уже давано в обществе, стал неопытный юноша, или паче дитя, преклоняясь в управление наставнику, управляв уже собою несколько лет в разных жизни обращениях.

Описывая житие столь близкого сердцу моему человека, как то был Федор Васильевич, я не скрою, однако же, и того, чего разум его не мог еще в нем исправить и к чему обращение в большом свете приучило юные его чувства. Сие-то предвременное познание большого общества, где

с дядькою казаться уже стыдно, навлекло ему болезнь в летах крепости и смерть безвременную.

Вышед из кадетского корпуса, Федор Васильевич стал управлять сам собою. Семнадцатилетний юноша, наперсник вельможи, коего тогдашний доступ до государя всем был известен, не мог он обойтись без искушения, и сии были различного рода. Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцем до дела их касается; и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как-то: к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят. Таковые же ласкательства, угождения и бог весть что употреблено было от просителей на снискание благоволения Федора Васильевича. Богач сулил злато, но не успевал, и долженствовал возвращаться с негодованием. Но если благорасположенная душа его отметала мздоимство, не могла она отметать всегда вида приязни. Трудившись во весь день, охотно ездил он по вечерам в собрания малые и большие, на балы, маскарады, ужины, где нередко просиживал за карточной игрою до полуночи, а иногда гораздо позже. Возвращаясь домой, нередко вместо возобновления сил благотворным сном принужден бывал приниматься паки за работу, и светило дневное, восходя на освещение блаженства и несчастья, заставляло его, согбенного, над трудом, не вкушавшего еще сладости успокоения.

В числе множественных просителей бывали иногда женщины, женщины молодые, которые в жару доводов о справедливой или неправильной их просьбе забывали иногда, чем были должны целомудрию, а иные, помня леты того, к кому шли на прошение, умышленно употребляли чары красоты своея на приобретение благосклонности Федора Васильевича. Такого рода приключение он сам рассказывал. Се повесть его:

Пробыв гораздо за полночь в веселой беседе с людьми, обыкновенно друзьями называющимися, приехав домой, работал он до пятого часа утра и, утомившись веселием и работою, заснул крепко. Беззаботливая юность не беспокоилась еще колючим тернием опытности, и мечты сна его столь же были исполнены веселия, как и бдение. Ему снилось, что лежал в объятиях прекрасная жены, упоенный

сладострастием, столь державно над юными чувствами властвующим, и среди прелестных сея мечты отлетел сон от очей его. Но что же представилось просиявшему его взору? Стократ любезнее виденной им во сне, зрел он отроковицу почти, сидящую подле одра его, тщательно отгоняющую крылатых насекомых с лица его и распростертым опахалом умеряющую зной солнца, проникшего уже лучом своим в его спальню. Лето было, и час уже десятый. Не вдруг поверил он, что проснулся. Зря его пробудившегося и устремляя взоры пламенного желания, с улыбкою страсти и гласом Сирены:

— Извините меня, государь мой, — сказала просительница, — что я прервала ваш сон и лишила вас, может быть, приятных мечты возлюбленной. — И проникла вещающая жарким своим взором всю его внутренность.

Если бы я писал любовную повесть, koliko обильная предлежала бы начертанию жатва. Чувственность была в Федоре Васильевиче при начале своего возникновения, просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в предстательстве Федора Васильевича, увидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и успела.

О, если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я паки имел не более двадцати лет! Мой друг, жалею, если хочешь, о моей слабости: но се истина.

Сими и сим подобными случаями подсек Федор Васильевич корень своего здравия и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие неумеренности и злоупотребления телесных наслаждений.

Как со времени начатия нашего путешествия повествование о Федоре Васильевиче сопряжено с повествованием об общем нашем пребывании в Лейпциге: то не удивляйся, мой друг, если оно коснется вообще положения, в котором мы находились, и если найдешь здесь некоторые черты расположения твоих мыслей в тогдашнее время. Ибо забыть того нельзя, koliko единомыслие между нами царствовало.

В продолжение нашего пути Федор Васильевич навлек на себя ненависть Путеводителя нашего, и самое то качество, которое ему приобрело нашу приверженность, самое то было причиною, что Бокум его возненавидел. Твердость мыслей и вольное оных изречение были в нем противны, и с первого раза, когда они в нем явны стали, начал

Путеводитель наш промыслить, как бы погубить его. Но дивиться не должно, что противоречие в подчиненном, справедливое хотя противоречие, или, лучше сказать, единое напоминовение справедливости, произвело здесь со стороны сильного негодование и прещение. Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно. Пример самовластия государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихотей, побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуясь уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется, что противоречие власти начальника¹ есть оскорбление верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящих отечество граждан заключающая в темницу и предающая их смерти; теснящая дух и разум и на месте величия водворяющая робость, рабство и замешательство, под личиною устройства и покоя! Да сие иначе и быть не может по сродному человеку стремлению к самовластию, и Гельвецийево о сем мнение ежечасно подтверждается.

Привлекши на себя ненависть Путеводителя нашего, Федор Васильевич не возмущился сего мыслию, ибо что вещал ему, то была истина. Бокум рачил более о своей прибыли, нежели о вверенных ему Федор Васильевич имел более опытности, нежели другие его сотоварищи; довольные причины для приведения корыстолюбца на злобу.

Первый случай к несогласию нашему с нашим Путеводителем и первая причина его злобствования против Федора Васильевича было само в себе малозначащее происшествие, но великое имело действие на расположение наше к начальнику нашему. Мы все воспитаны были по русскому обряду и в привычке хотя не сладко есть, но до насыщения. Обыкли мы обедать и ужинать. После великолепного обеда в день нашего выезда ужин наш был гораздо тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями

¹ С вероятностию корень сего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских законоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе отечеству с военного состояния и, привыкнув давать подчиненным свои приказы, на которые возражения не терпит воинское повиновение, вступают в гражданскую службу с приобретенными в военной мыслями. Им кажется везде строй; кричит в суде на караул и определение нередко подписывает палкою.

резанном. Таковое кушанье, для немецких желудков весьма обыкновенное, вострвожило русские, привыкшие более ко штям и пирогам. И если захочешь без предубеждения внять вине нашего неудовольствия, к несчастию нашему потом обратившегося, то найдешь корень оного в первом нашем ужине. Покажется иному смешно, иному низко, иному нелепо, что благовоспитанные юноши могли начальника своего возненавидеть за таковую малость: но самого умереннейшего человека заставь поговеть неделю, то нетерпение в нем скоро будет приметно. Если сладость наскучить может, колыми паче голод. Худая по большей части пища и великая неопрятность в приуготовлении оной произвели в нас справедливое негодование. Федор Васильевич взялся изъяснить оное пред нашим начальником. Умеренное его представление принято почти с презрением, особливо женою Бокума, которую можно было почитать истинным нашим гофмейстером. Сие произвело словопрение и кончилось тем, что Федор Васильевич возненавижен стал обоими супругами.

Но не знал наш Путеводитель, что худо всегда отвергать справедливое подчиненных требование и что высшая власть сокрушалась иногда от безвременной упругости и безрассудной строгости.

Мы стали отважнее в наших поступках, дерзновеннее в требованиях и от повторяемых оскорблений стали наконец презирать его власть. Если бы желание учения не останавливало нас в поступках наших и не умеряло нашего негодования, то Бокум на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить до крайности. Во всех сих зыблениях боязни и отваги младшие предводительствуемы были старшими. Из сих первый был Федор Васильевич. Но если его кто почтет или сварливым, или злобным, или пронырливым, или коварным, или вспыльчивым, тот, конечно, ошибется. Единое негодование на неправду бунтовало в его душе и зыбь свою сообщало нашим, немощным еще тогда самим собою воздыматься на опровержение неправды. Таковыми происшествиями уготовлялися мы к одной из знаменитейших, по моему мнению, эпох нашей жизни. Я говорю о содержании нашем в Лейпциге под стражею.

Ничто, сказывают, толико не сопрягает людей, как несчастье. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера толико нас сделали единомысленными, что, исключая некоторых из нас, могли бы мы постине один за другого жертвовать

всем на свете. Да сие иначе быть не может; ибо дружба в юном сердце есть, как и все оногo чувствования, стремительна. Краткое пребывание наше в Митаве, возрение неизвестных нам доселе нравов, обрядов, языка, загладило в душе Федора Васильевича угрызение печали. Ежедневные оскорбления начинали было производить в нем раскаяние о предприятom путешествии, но новые предметы отвлекли душу его от горестных мыслей и соделали ее на некоторое время к оскорблениям бесчувственною. Но если новые предметы удобны были загладить в душе Федора Васильевича изрытие печали, то не имел он, однако же, довольно опытности, так сказать, в учении, дабы из путешествия своего извлечь всю возможную пользу. Примечания достойно: человек, достигнув возмужалых лет, когда начинает испытывать силы разума, устремляемый бодростию душевных сил, обращает проницательность свою всегда на вещи, вне зримой округи лежащие, возносится на крыльях воображения за пределы естественности и нередко теряется в неосязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождающую. Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику; с другой же стороны, все, чувствовать начинающие, придерживаются правил, народным правлением приличных. Итак, Федор Васильевич мысли свои обращал более к умственным предметам и не знал еще, какую полезность извлечь можно из путешествия.

Между людьми, получившими воспитание разного рода, понятия о священных вещах должныствовали быть и были разные. Если бы возможно было определить, какое каждый из нас имел тогда понятие о боге и о должном ему почитании, то бы описание сие показалось взятым из какого-либо путешествия, в коем описывается исповедание веры неизвестных народов. Иной почитал бога не иначе как палача, орудием кары вооруженного, и боялся думать о нем, столь застрашен был силою его прещения. Другому казался он вскруженным толпою младенцев, азбучный учитель, которого дразнить ни во что вменяется, ибо уловкою какою-нибудь можно избегнуть его розги и скоро с ним опять поладить. Иной думал, что не токмо дразнить его можно, но делать все ему на смех и вопреки его велениям. Все мы, однако же, воспитаны были в греческом исповедании, и для сохранения нас в православии отправлен с нами был монах, которому в должность предписано было наставлять нас в христианском законе, отправлять для нас службу церковную и быть нашим духовником.

Отец Павел был в своем роде человек полуученый, знал по латыне, по гречески и несколько по еврейски. В семинарии прошел все нижние и вышние философские и богословские классы и был учителем риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними авторами преподанного, если знал он, что есть метафора, антитезис и прочие риторические фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец Павел. Добродушие было первое в нем качество, другими же он не отличался и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставление в священном законе. Судить можно из следующего.

Исправление наше (ибо при первом нашем свидании он почел нас богоотступниками, хотя ручаться можно, что ни один из нас в то время ниже повести не читывал о афеистах), исправление наше начал он тем, что заставил нас при утренних и вечерних на молитве собраниях петь. Если вспомнишь, мой друг, сколь нестройный, несогласный и шумный у нас был всегда концерт, то и теперь еще улыбнешься. Иной тянул очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной чересчур кудряво, и наконец устроенное на приучение ко благоговению превратилось постепенно в шутку и посмеялище.

Отец Павел, если припомнишь, гораздо был смешлив, и если случалось ему во время богослужения видеть что-либо смешное, то, забыв важность своего действия, начинал смеяться, как то случилось ему в Лейпциге, увидев одного из нас, а именно к[нязя] Т[рубецкого], поющего на крылосе, искривив лицо для высокого напева. Для сей-то причины он отправлял богослужение большею частию зажмурившись.

В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. Отец Павел, опасаясь увидеть что-либо пред глазами, могущее подвигнуть его на смех, зажмурился, начиная пение. Сим М[ихаил] У[шаков], человек шутливый и проказливый, захотел воспользоваться, дабы рассмешить нашего отца Павла.

Икона, пред коей совершался наш молитвенный напев, стоялаверху довольно просторного стола, на котором раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. Пред столом стоял отец Павел зажмурившись. М. У[шаков], взяв легонько одну из перчаток, на столе лежавших, и согнув персты ее образом смешного кукиша, положил оную возвышенно прямо пред поющего нашего духовника. При

делании поясных поклонов растворил зажмурившийся глаза свои, и первое представилась ему сложенная перчатка. Не мог он воздержаться, захохотал громко, и мы все за ним.

Отец Павел, не привыкнув еще к нашим проказам, обрел в них более, нежели простые и юношеские шутки. Оборотясь, наименовал он нас богоотступниками, непотребными и другими в приложении юношества смешными названиями; сделавшего же вину смеха называл, неграмматично может быть, мошенником, да и того хуже. При первых же словах М. У[шаков], будучи весьма вспыльчив, восколебался, и столь же смешным деянием, как сей неприличными словами, представили нам позорище, какого ни на каком феатре за рубль купить не можно. М. У[шаков], схватив висящую на стене шпагу и привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу; показывая ему эфес с темляком, говорил ему, немного заикаясь от природы:

— Забыл разве, батюшка, что я кирассирский офицер.

В таком вкусе было продолжение сего действия, которое для нас кончилось смехом, для М. У[шакова] мнимой победою, а для отца Павла отъитием с негодованием в свою комнату.

Сие и подобные сему происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти так, как шутки над нашим гофмейстером некоторого проезжавшего российского гвардии офицера, о чем я скажу после, возбудили к нему в нас совершенное пренебрежение.

Еще о красноречии отца Павла: следуя, не ведаю, данному предписанию или по собственному своему побуждению, он каждое воскресенье по совершении литургии становился пред царскими дверьми за наложником и преподавал нам толкование о чтенном того дня евангелии. Вследствие сего обряда в некакой праздник, во благовещение, если хорошо помню, он объяснить нам старался, что в священном писании разумеется под ангелом божим.

— Ангел есть слуга господень, которого он посылал для посылок; он то же, что у государя курьер, как то г. Гуляев.

Тогда был в Лейпциге приехавший из Петербурга с некоторыми приказаниями курьер кабинета и был с нами присутствен на литургии. При изречении сего забыли мы должное к церкви благоговение, забыли ангела, видели действительного курьера, и все захохотали громко. Отец

Павел засмеялся за нами вслед, зажмурил глаза, потом заплакал и сказал:

— Аминь.

Приехав в Лейпциг, забыл Федор Васильевич все обиды и притеснения своего начальника и вдался учению с наибольшим рвением, но как не окоренел еще в трудолюбии сего рода, то на время от оногo отвлечен был случившимся с нами неприятным происшествием, которое для всех нас было деятельною наукою нравственности во многих отношениях.

Если иные в повествовании сем найдут что-либо пристрастное, не буду тронут тем, ведая, что они ошибаются; но ты, мой друг, будучи содействователь всего, обрящешь в нем истину.

Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов, возмнил, что он не для нас с нами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притеснители частные и общие, по счастию человечества, не разумеют и, простирая повсеместную тяготу, предел оная, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглою. Не ведают мучители, и даждь господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что составляющее несносную печаль сему другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и в оборот то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания, во сте других родит отчаяние и иступление. Пребуди благое неведение всецело, пребуди нерушимо до скончания века, в тебе почил сохранность страждущего общества. Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего.

Первое, чем Бокум по приезде в Лейпциг начал правление свое, было сокращение издержек относительно нас, елико то возможно было. Но не воображай, чтобы домостроительство было тому причиною; что он отчислял от нашего содержания, то удвоял во своем и принужден был лишить нас даже нужнейших вещей на содержание наше.

О сем те, кои из нас были постарее, и в числе оных первый был Федор Васильевич, делали ему весьма кроткие представления, гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент делывал французскому королю. Но как таковые представления были частные, как то бывають и парламентские, а не от всех, то Бокум отвергал их толико же самовластно, как и король французский, говоря своему народу: «в том состоит наше удовольствие».

Наскучив представлениями, Бокум захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти. Придравшись к маловажному проступку к[нязя] Т[рубецкого], он посадил его под стражу, отлучив его от обхождения с нами, и приставил у дверей комнаты, в которую он был посажен, часового с полным оружием, выпросив нарочно для того трех человек солдат. Не довольствуясь таковым наглым поступком, он грозил посажденному под стражу и нам за ним, если не уйдемся, то, по данной ему власти, он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или ударами обнаженного тесака по спине. Сие произвело в нас противное действие тому, которое он ожидал. Ведали мы, что власти таковой ему дано не было, и всякому известно было, что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя все изветы лютости прежних, хотя поистине душесильных времен. Негодование в нас возросло до иступления; но мы не забыли еще умеренности, и хотя скопом и заговором, но для ребят довольно правильно и благопристойно, пришли все просить его об отпущении вины к[нязя] Т[рубецкого] и об освобождении его из-под стражи. Вместо того, чтобы воспользоваться кротким расположением душ наших и привлечь к себе нашу признательность отпущением вины сотоварища нашего и уважение наша просьбы, он ее нагло отвергнул и выслал нас с презрением. Сие уязвило сердца наши глубоко, и мы не столько помышлять начали о нашем учении, как о способах освободиться от толико несносного ига.

Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятия и все, что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях, тут отважность была похваляема, а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая.

Бокум оного не удалял. Причина нашего недовольствия

была недостаток иногда в нужных для нашего содержания вещах, то есть в пище, одежде и прочем. Вторая зима по приезде нашем в Лейпциг была жесточее обыкновенных, и с худыми предосторожностями холод чувствительнее для нас был, нежели в самой России при тридцати градусах стужи.

Домостроительство Бокума простиралось и на дрова, и мы более в сем случае терпели недостатка, нежели в чем другом. Хотя запрещено было, как то нам сказывали, присылать к нам деньги из домов наших, но мы, неизвестны будучи о сем запрещении и охотны, особливо на случай нужды, преступить сие повеление, имели при отъезде нашем из России по несколько собственных денег. Кто их имел, не только удовлетворял необходимым своим нуждам, но снабжал и товарищей своих. Словом, во все продолжение нашего пребывания кто имел свои деньги, тот употреблял их не токмо на необходимые нужды, как-то: на дрова, одежду, пищу, но даже и на учение, на покупку книг; не утаю и того, что деньги, нами из домов получаемые, послужили к нашему в любострастии невоздержанию, но не они к возрождению оного в нас были причиною или случасм. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были оного корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается.

Один из нашего общества, Н[асакин], не получал из дому своего ни копейки и для того претерпевал более других нужду. В помянутую зиму, не в силах более терпеть холода ради болезненного расположения тела, решился сделать гофмейстеру представление. Бокума он нашел играющего на биллиарде с неким из его единосемцев и главным подстрекателем¹ его надменности. Н[асакин] объявил ему о своем недостатке, прося дать приказание истопить его горницу. За день сего Бокум посадил под стражу к[нязя] Т[рубецкого], который был комнатный товарищ Н[асакина]. На отказ, сделанный Бокумом, Н[асакин] сделал возражение, а Бокум, не хотя оного слушать, а особливо при

¹ Сказывали, что сей молодец, за деньги достав себе звание министра при каком-то дворе, должность свою отправлял с похвалою. Сие оправдывает мнение тех, кои думают: чтоб быть употреблену с похвалою в делах министерских, надобен ум, а честности мало. Коварство, пронырство, искусство выситься и низиться по обстоятельствам могут сделать отличного министра, но доброго гражданина николи.

напоминателе о его власти, оставив свою игру, начал пришедшего толкать исучиво; а как сей тому противился и, к нему обернувшись, говорил, что требование его о сем справедливо, то Бокум, и паче того раздраженный, ударил Н[асакина] по щеке. Сей мнимый отчасти знак бесчестия столь сильно обезоружил Н[асакина], что он, не сказав более начальнику нашему ни слова, поклонился и вышел вон.

Отрада несчастному есть убежище на лоне дружбы, беседа о скорби своей. И возвестил нам обиженный о происшедшем с ним. Презрение к начальнику нашему было первое душ наших движение: но скоро к тому присовокупилось и негодование. Всяк боялся такой же участи; иной мечтал уже следствие своего отчаяния в таком случае, другой, изумленный предварительно таковою мыслию, находился в нерешимости, что должно будет ему сделать, если на него падет жребий, равный с Н[асакиным]. Но все единогласно положили, что Бокум, сделав поступок, противный не только добрым нравам, но и благопристойности, долженствовал сделать Н[асакину] удовлетворение за обиду. В общежитии, говорил нам Федор Васильевич, если таковой случай произойдет, то оный не иначе заглажен быть может, как кровию. Сие говорил он из опытов и подкреплял примерами, но ни он, ни мы не понимали еще всей гнусности поединков в благоустроенном обществе и, вождаемые примерами, судили, что настоял бы и теперь к оному случай, если бы дело должно было иметь с посторонним человеком, а не с начальником нашим.

Мы в то время начали только слушать преподавания права естественного и, не объяв еще всю одного связь остановились при первых движениях, производимых в человеке оскорблением. Не имея в шествии своем ни малейших преграды, человек в естественном положении, при совершении оскорбления влекомый чувствованием сохранности своей, пробуждается на отражение оскорбления. От сего рождается мщение, или древний закон *око за око*; закон, ощущаемый человеком всечасно, но загражденный и умеряемый законом гражданским. Несовершенное еще расположение мыслей представило уму нашему в естественном нас положении в отношении нашего начальника, и мы заключили, что Н[асакин] долженствовал возвратить Бокуму полученную им пощечину.

Заключительный и общий наш приговор был таков, что Н[асакин] должен идти к Бокуму и в присутствии нашем требовать от него в обиде своей удовлетворения. Если же

он не восхочет того исполнить, то надлежит ему пощечину Бокуму возвратить. Долго Н[асакин] размышлял, колебался, не мог решиться на сей поступок: но мы приговор наш подкрепили тем, что если он сего не исполнит, то лишен будет нашей приязни и обхождения с нами. Ничто столь сильного и столь скорого не могло произвести действия в душе оскорбленной Н[асакина], как наша угроза. Если бы приговор наш был в противную сторону, то он, да и всякий из нас и кто бы то ни было в равном токмо с нами положении, терпеливо бы принял еще десять пощечин, нежели бы захотел прийти в презрение у своих сотоварищей.

Собравшись и условившись, каким образом долженствовал Н[асакин] требовать от Бокума удовольствия в обиде, ему сделанной, мы пошли к нему, исключая к[нязя] Т[рубецкого], который сидел под стражею.

В комнате, где бывала обыкновенная наша трапеза, дожидались мы его, послав его известить, что мы желаем его видеть. Едва он вошел в комнату, как началось действие, которое при первом шаге нашего жития могло бы превратным жребием свергнуть нас в совершенную гибель. Столь юность без советов дружества сама себе губительна! но провидение блело над нами, ибо превратности в сердце нашем не зрело; и для того щит его носится всегда над неопытною и блюдет ее в самой пропасти.

Вследствие сделанного между нами положения Н[асакин], подступив к Бокуму, просил от него удовлетворения в обиде. Приятнее, может быть, будет читателю, приятнее тебе, мой любезный друг, если я употреблю здесь самые почти те слова, которые в то время были изречены; они были кратки, как и действие было мгновенно.

Н[асакин]. Вы меня обидели, и теперь пришел я требовать от вас удовольствия.

Б[окум]. За какую обиду и какое удовольствие?

Н. Вы мне дали пощечину.

Б. Неправда, извольте идти вон.

Н. А если не так, то вот она, и другая.

Сие говоря, ударил Н[асакин] Бокума и повторил удар.

Опасаясь дальнейшего следствия, Бокум вышел из горницы. Писарь Бокумов, бывший тогда с ним, вообразив себе, что Н[асакин] хочет господина его заколоть, ибо имел при себе шпагу, оторвал у него ее с бедра, за что он был наказан только тем, что М. У[шаков] снял с него парик. Но причина, для коей Н[асакин] имел при себе шпагу,

была иная; он был в гостях и, пришед, не имел времени раздеться и на сражение пришел со шляпою и шпагою; но Бокум в обвинении своем не пропустил сего обстоятельства и сказал, что мы, а паче Н[асакин] покушались на его жизнь, и сей вынул уже шпагу из ножен до половины, но он нас, как ребят, разогнал и раскидал. И так в самой клевете не забывал он хвастовства и никогда не признался, что Н[асакин] возвратил пощечину с лихвою.

Но если бы вздумали располагать великость вины по оружию, которое кто имел, то никого не надлежало обвинить более других, как меня. Ибо у меня были в то время карманные пистолеты, заряженные с дробью, которые я, купив за день пред сим происшествием, зарядил и хотел идти испытать оных действие в определенном к тому месте, но, по счастью, меня тогда не обыскали. Из сего глупая юности происшествия могло бы произойти, признаюсь охотно, что-либо слезное и несмешное, если бы Бокум имел кого-либо при себе oprичь старого своего писаря и если бы, вождаем мыслию, что мы умышляли убить его, стал бы на нас наступать. В жару исступления чего не могло бы случиться, но, к счастью, М. У[шаков] двери запер, и на крик старого писаря никто войти не мог.

По совершении нашего приступа мы, почитая его правильным поступком, заявили о нем университетскому ректору. Возвратясь от него, души наши покойны не были. Мы чувствовали наш проступок, но чувствовали и тягость нашего положения, и на весах правосудия мы осуждены бы быть не могли. Но всякий судия есть человек, нередко вождается внешностию.

Я ныне еще трепещу, вспоминая о намерении нашем при сем происшествии. Мы рассуждали, что наш поступок, конечно, не одобрят, что Бокум расцветит его тусклыми красками клеветы, что, если посадил под стражу за мало-важный поступок, может сделать над нами еще более, и мы возвращены будем в Россию для наказания, а более того на посмеяние; и для того многие из нас намерение положили оставить тайно Лейпциг, пробраться в Голландию или Англию, а оттуда, сыскав случай, схать в Ост-Индию или Америку. Таковы могли быть следствия безрассудной строгости начальника и неопытной юности. Но Бокум предварил умышляемому нами побегу, и не прошло получаса, как он, испросив от тамошнего военного начальника солдат вооруженных, посадил нас под стражу каждого в своей комнате.

В сем тягчительном для нас положении мы прибегнули к российскому в Дрездене министру, описав ему случившееся во всей подробности: но письмо наше до него не дошло, как то мы после того узнали, ибо Бокум тамошнему правительству сказал ложно, что ему велено было все наши письма останавливать и не прежде отправлять в Россию, как он уведомлен будет о их содержании. Таким образом, ни министр нашего двора в Дрездене, ни в Петербурге не могли быть известны о истинном нашем положении, сколько мы о том ни писали. Когда же нашелся человек нас довольно любящий, из сожаления единственно и на своем иждивении отправившийся в Россию для извещения кого должно о происшедшем с нами, то о всем было от министра нашего по представлениям Бокума предварено и жалобе нашей не внято.

Но я могу тебе наскучить, мой любезный друг, рассказывая о том, что тебе столь же известно, как мне; и для того заключу повествование о сем неприятном тогда для нас происшествии, но, поистине сказать, преподавшем нам много нравоучения деятельно. Намерение мое было показать только то, сколь много ошибаются начальники в употреблении своей власти и коликий вред причиняют безвременною и безрассудною строгостию. Если бы мы исполнили наше намерение и ушли бы из Лейпцига, вообрази, колико горести навлекли бы мы нашим родителям, друзьям да и всем сердцам, юность возлюбляющим. Если бы государство изгнанием добровольным десяти граждан ничего, казалось, не потеряло, но отечество потеряло бы, конечно, искренно любящих его сынов. Буде кто захочет на сие доказательства, то не дам никакого; но тебе только, мой друг, вспомяну о возвращении нашем в Россию. Вспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, вспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии отделяющую. Если кто, бесстрастный, ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, для того не хочу я марты бумаги; но если кто, понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого. Признаюсь, и ты, мой любезный друг, в том же признаешься, что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило. О вы, управляющие умами и волею народов властители, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликократно упускаете вы случай на

пользу общую, утушая заквас, воздымающий сердце юности. Единожды смилив его, нередко навеки соделаете калекою.

Под стражею содержимы были мы, как государственные преступники или отчаянные убийцы. Не токмо отобраны были у нас шпаги, но рапиры, ножи, ножницы, перочинные ножички, и когда приносили нам кушанье, то оно было нарезано кусками, ибо не было при оном ни ножей, ни вилок. Окончины были заколочены, оставлено токмо одно малое отверстие на возобновление воздуха, часовой сидел у нас в предспальной комнате и мог видеть нас лежащих на постеле, ибо дверь в спальную нашу была вынута.

Невзирая на все предосторожности, чтобы воспретить нам между собою сообщение и чтобы мы не могли известить министра нашего о нашем положении, ибо сие и была причина строгого нашего содержания под стражею, мы написали письмо и подписали его все своею рукою. Никого к нам не допускали, сидели мы по двое вместе, и потому странно покажется, что все могли подписать письмо. Способ мы к тому употребили особый, и да знают удручители, что нередко строгость их бывает осмеяна в самом том, в чем они усугубляют оную.

Дом, в котором мы жительствовавали, был в два жилья и имел четыре отделения вверх и четыре вниз, в каждом отделении было по две комнаты, и мы жили по двое вместе. Шестеро из нас жили вверх и четверо вниз, прочие комнаты занимали учителя наши. Письмо написано было Федором Васильевичем. Привязав его на длинную нитку, выпускали его за окно; способный ветер приносил его к отверстию другого окна, в которое оно было приемлемо, и по подписании тем же способом доставляли его в другую комнату; таким образом, мы умели на пользу нашу употребить самые силы естества. На почту относимы письма наши были одним из наших учителей, который из единого человеколюбия жертвовал всем своим тогдашним счастьем и отправился в Россию для нашего защищения, взяв от нас на дорогу одни карманные часы, в чем состояло все тогдашнее наше богатство: но в предприятии своем не успел, как то я сказал уже прежде. Великодушный муж! никто из нас не мог тебе за то воздать достойно, но ты живешь и пребудешь всегда в наших сердцах.

Не довольствуясь тем, что посадил нас под стражу, Бокум испросил от совета университетского, чтобы над нами произвели суд. К допросам возили нас скрытным обра-

зом, и судопроизводство было похоже на то, какое бывало в инквизициях или в Тайной канцелярии, исключая телесные наказания. Решение сего суда было, что ты и я, Я[нов] и Р[убановский] были освобождены, а прочие, между которыми был Федор Васильевич, остались еще под стражею, но скоро были освобождены по повелению нашего министра. Конец сему полусмешному и полуплачевному делу был тот, что министр, приехав в Лейпциг, нас с Бокумом помирил, и с того времени жили мы с ним почти как ему неподвластные; он рачил о своем кармане, а мы жили на воле и не видали его месяца по два.

Случилось во время нашего пребывания в Лейпциге проезжать чрез оный генерал-поручику и бывшему потом сенатором Н. Е. М[уравьеву] с супругою своею. Сотовариществовал ему в путешествии шурин его, гвардии офицер, человек молодой, любящий шутку безвредную, и охотно смеялся насчет глупцов. Совершенно такового нашел он в нашем гофмейстере. Он, пользуясь пристрастием его к хвастовству, вывел его, по пословице, на свежую воду. До того времени не ведали мы, что гофмейстер наш за похвалу себе вменял прослыть богатырем, и если ему не было случая на подвиги, с Бовою равные, то были удачества другого рода, достойные помещения в Дон-Кишотовых странствованиях.

Помянутый гвардии офицер, подстрекая самолюбие Бокума, довел его до того, что он для доказательства своих телесных сил выпивал по его приказанию одним разом по несколько бутылок воды или пива, давал себя толкать многим лакеям вдруг, упираясь против их усилия совлещи его с места, а сим приказано было не жалеть своих толчков, дивясь о своем против его малосилии; но сего не довольно было. Он его заставил ворочать всякие тяжести, подымать стулья, столы, платя ему за то, не умеряя и не скрывая своего смеха: «Ну, Бокум!»

Примечания достойно, до какой степени слабость сия в человеке возрасти может, и нередко она в общежитии бывает разными нечаянными случаями поддерживаема и возвышаема. Бокум доведен был до того, что согласился вытерпивать удары довольно сильного электрического орудия. Сперва удары электрической силы были умеренны, и, дабы его убедить самого в превосходстве его сил, удары производимы были над многими вдруг. Все по предварительному условию, будто от жестокости удара, падали на землю, он один оставался непоколебим, торжествуя въявь над падающими. Уверив таким образом его самого в пре-

восходстве его сил, удары электрического орудия становились сильнее, он выдерживал их, не показывая, сколь они для него были болезненны; сила ударов столь, наконец, была велика, что едва его с пог не сшибала.

Таковые подвиги производились ежедневно во все время пребывания сказанных путешественников в Лейпциге. Мы были непрестанные оных зрители, и презрение наше к Бокуму с того времени стало совершенное.

Отправление российских морских сил в Архипелаг, в последнюю войну между Россиею и Турциею, доставило нам в Лейпциге случай видеть многих наших соотечей, проезжавших из России в Италию и оттуда в Россию. Некто (имя его утаю, дабы не произвести в лице его краски стыда или бледности раскаяния), некто в проезд свой через Лейпциг оказывал отличное уважение Федору Васильевичу и снискать хотел его дружбу. Последствие показало, сколь мало она была искренна и продолжалась не более, как пребывание в Лейпциге сего мечтательного покровителя учености. Ни одного дня не проходило, скажу охотно, ни одного почти часа во дни, чтоб Федор Васильевич не был с Ф... вместе, упражняясь с ним в рассуждениях, большею частию метафизических. Он делал ему уверения, что извлечет его из руки отягощения, обещая ему мощное свое покровительство. Вняв лестному гласу дружбы, Федор Васильевич отверз ему свое сердце. Луч надежды, казалось, обновился в нем; но скоро сбылася с ним французская пословица: *отсутствующие всегда виноваты*. Едва сказанный покровитель уехал из Лейпцига, как забыл Федора Васильевича и деланные ему обещания, да и столь совершенно, что на все письма его не отвечал ему ни слова. Или ему низко было вступать в переписку с неравным ему состоянием, или благодарить надлежит за то наукам, что среди обиталища их различие состояний нечувствительно и взоров природного равенства не тягчит, и для того в Лейпциге Ф... обходился с Федором Васильевичем как с равным себе. И поистине равен он был тебе, мразная душа, силами разума, но далеко превышал тебя добротою сердца.

Сие происшествие оставило на душе Федора Васильевича некую мрачность, которая пребыла с ним до кончины его; посеяло в душе его справедливую недоверчивость к обещаниям, наипаче знатных, и понудило его вдаваться еще более учению, от коего единственные ожидал он себе отрады, в чем он и не ошибался. Ибо желание науки хотя не навсегда, но паки развеяло темноту

грусти, и истина светом своим награждала ему за его скорбь.

Признаться надлежит, что Ф... присутствием своим в Лейпциге и обхождением с нами возбудил как в Федоре Васильевиче, так и во всех нас великое желание к чтению, дав нам случай узнать книгу Гельвецеву «О разуме». Ф... толикое пристрастие имел к сему сочинению, что почитал его выше всех других, да других, может быть, и не знал. По его совету Федор Васильевич и мы за ним читали сию книгу, читали со вниманием и в оной мыслить научались. Лестна всякому сочинителю похвала иногда и невежды, но Гельвецкий, конечно, равнодушно не принял, узнав, что целое общество юношей в его сочинении мыслить¹ училось. В сем отношении сочинение его немалую может всегда приносить пользу.

Предоставленный сам себе и полагая единственное упование на правосудие государя своего, восчувствовал Федор Васильевич к предателям мерзение. Он устремил все силы свои и помышления на снискание науки, и в том было единственное его почти упражнение. Сие упорное прилежание к учению ускорило, может быть, его кончину. За год пред смертью приключилась ему болезнь, которая была, можно сказать, преддверием другой, введшей его во гроб. Употребляя действительные и мощные лекарства, он не покидал, вопреки совету своего врача, упражняться денно-ночно в чтении и в сие время начал писать о книге Гельвецевой письма, коих найдены после него только касающиеся до начала первой книги сочинения «О разуме». Упорным своим к учению прилежанием он остановил в крови своей смертоносной болезни жало, которое следующей весною, воссвирепствовав снова, отверзло ему врата смерти.

Сие пишу я для собственного моего удовольствия, пишу для друга моего, и для того мало нужды мне, если кто наскучит чтением сего, не найдя в повествовании моем ни одного происшествия, достойного памятника и ради мерзости своей или изящности ради равно блистающего. Ибо равно имениты для нас Нерон и Марк Аврелий, Калигула и Тит, Аристид и Шемяка, Картуш, Александр, Катилина и Стенька Разин; все славны, все живут на памяти потом-

¹ Г. Грим в бытность свою в Лейпциге, извещен будучи, с каким прилежанием мы читали Гельвецеву книгу «О разуме», по возвращении своем в Париж сказывал о сем Гельвецию.

ства и не возмущаются тем, что о них мыслят. Не тревожился бы и всяк любящий человечество, если бы добрая или худая слава по смерти во что-либо вменялась; но, по несчастию всех, имеяй власть в руках мало рачит о том, что о нем скажут, живу ему сушу, и не помышляет нимало о том, что скажут о нем по смерти. Он ищет токмо ободрения своего самолюбия и стяжания своей пользы. Не тревожился Юлий Кесарь о том, что прослывет государственным татем, когда похищал общественную казну, не тревожился Ла, что прослывет общественным злодеем, вводя во Францию мнимое богатство, которое, существовав одно мгновение, повергло часть государства в нищету; не тревожился Лудвиг XIV в величании своем, оставит ли потомство ему титул великого, которое в живых ему прилагало ласкательство; не боятся правители народов прослыть грабителями, налагая на сограждан своих отяготительные подати, ни прослыть убийцами своей собратии и разбойниками в отношении тех, которых неприятелями именуют, вчиняя войну и предавая смерти тысячи воинов.

Сказав сие, может быть некстати, я возвращусь к умершему нашему другу и постараюсь отыскать в его деяниях то, что привлекательно быть может не для ищущих блестящих подвигов в повествованиях и с равным вкусом читающих Квинта Курция и Серванта, но для тех, коих души отверсты на любление юности.

Нам предписано было учиться всем частям философии и правам, присовокупя к оным учение нужных языков, но Федор Васильевич думал, что не излишнее для него будет иметь понятие и о других частях учености, и для того имел он в разных частях учителей, платя им за преподавание их собственные свои деньги. При сих способах для приобретения разных знаний он надежнейшим всегда почитал прилежное чтение книг.

Сие располагал он всегда соответственно тому, что преподаваемо нам было в коллегиях¹. И так, когда по общему школьному обыкновению начали нас учить прежде всего логике, то Федор Васильевич читал Арново искусство мыслить и основания философии СГравезанда и, соображая их мнения со мнениями своего учителя, старался отыскать истину в среде различия оных.

¹ В немецких университетах коллегиею называют собрание слушателей при преподавании какой-либо науки.

Между разными упражнениями, к приобретению знаний относящимися, Федор Васильевич отменно прилежал к латинскому языку. Сверх обыкновенных лекций имел он особые. Солнце, восходя на освещение трудов земнородных, нередко заставляло его беседующего с римлянами. Наиболее всего привлекала его в латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители царей упругость своей души изъявили в своем речении. Не льстец Августов и не лизорук Меценатов прельщали его, но Цицерон, гремевший против Катилины, и колкий сатирик, не щадящий Нерона. Если бы смерть тебя не восхитила из среды друзей твоих, ты, конечно, о бодрствования души, прилепился бы к языку сих гордых островян, кои некогда, прельщенные наихитрейшим из властителей, царю своему жизнь отъяти покусились судебным порядком; кои для утверждения благосостояния общественного изгнали наследного своего царя, избрав на управление постороннего; кои при наивеличайшей развратности нравов, возмеряя вся на весах корысти, и ныне нередко за величайшую честь себе вменяют противоборствовать державной власти и оную побеждать законно.

Между разными науками, коих основания алчная Федора Васильевича душа пожрать, так сказать, хотела вдруг, отменно прилепился он к мафиматике. Сходствуя с расположением его разума, точность сей науки услаждала его рассудок. С какою жадностию он проходил все части сей в началах своих столь отвратительныя, так сказать, науки, но столь общепользной в ее употреблении! Свойственно душе Федора Васильевича было мыслить, что огромнейшие в мире тела, наидальнейшие от нашего обиталища, коих единое наше зрение, сие наивластительнейшее и великолепнейшее из чувств наших, может постигать при вспоможениях, человеком изобретенных, что сии малейшие точки во зрении, необъятные в действительности громады, повинуются в течении своем исчислению. И как не возгордиться человеку во бренности своей, подчиняя власти своей звук, свет, гром, молнию, лучи солнечные, двигая тяжести необъятные, досягая дальнейших пределов вселенныя, постигая и предузнавая будущее. Таковые размышления побудили некогда сказать Архимеда: если бы возможно иметь вне земли опору неподвижную, то бы он землю превратил в ее течении. Дай мне вещество и движение, и мир созижду, вещал Декарт. Таковые размышления составили все системы о мире, все правдоподобия о нем и все нелепости.

За счастье почесть можно, если удостоишься в течение жития своего беседовать с мужем, в мире прославившимся; удовольствием почитаем, если видим и отличившегося злодея, но отличным счастьем почесть должно, если сопричастен будешь беседе добродетелию славимого. Таковым счастьем пользовались мы хотя недолгое время в Лейпциге, наслаждаясь преподаваниями в словесных науках известного Геллерта. Ты не позабыл, мой друг, что Федор Васильевич из всех нас был любезнейший Геллертов ученик и что удостоился в сочинениях своих поправляем быть сим славным мужем. Малое знание тогда немецкого языка лишило нас пользоваться его наставлениями самым действием; ибо хотя мы слушателями были его преподаваний, но недостаток в знании немецкого языка препятствовал нам равняться с Федором Васильевичем.

Вращаясь всечасно между разными предметами разумения человеческого, невозможно было, чтобы в учении разум Федора Васильевича пребыл всегда, так сказать, страдательным, упражняясь только в исследовании мнений чуждых. Но в сем-то и состоит различие обыкновенных умов от изящных. Одни приемлют все, что до них доходит, и трудятся над чуждым изданием, другие, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных стезей и вдаются в неизвестные и непроложенные. Деятельность есть знаменующая их отличность, и в них то сродное человеку беспокойствие становится явно. Беспокойствие, произведшее все, что есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюдно до пределов даже невозможного и непонятного, возродившее вольность и рабство, веселие и муку, не щадящее ни дружбы, ни любви, терпящее хладнокровно скорбь и кончину, покорившее стихии, родившее мечтание и истину, ад, рай, татану, бога.

Федор Васильевич, упражняясь в размышлениях о вещах, видел возрождающиеся в разуме его мысли, отличные новостью своею от обретаемых им на пути учености, и для того не мог оставаться в бездействии. Скоро подан был ему случай испытать свои силы в изображении связию своих мыслей. Ежегодно бывал нам экзамен, или испытание, о приобретениях наших в учении. Сколь много все таковые испытания имеют смешного и цели, для коей они уставлены, недосызающего, всяк, ведающий о них до пряма, признается. Нередко тот, кто более всех знает, почитается невеждою и ленивым, хотя трудится наиприлежнейше и с успехом. Но тем экзамены полезны, что возбуждают тщесла-

вне и устремляют учащегося отличаться пред сотоварищами своими; но дабы и в сем случае не возбуждать тщеславия безуспешно, то нужно, чтобы таковые испытания не были редки, дабы возникшая страсть в обыкновенных душах не угасала. Для назначенных же перстом всевечным к бессмертию в посторонних подстреканиях любочестия нужды нет. Они сами в себе довольно имеют ко стяжанию славы побуждения, и хотя оные не бескорыстны, но умышленны всегда в благом источнике.

По прошествии трех лет обязаны мы были к наступившему для нас времени на испытание показать наши успехи в учении, представя письменно связь мыслей о какой-либо материи. Федор Васильевич избрал для сего наименее важные предметы, до человека касающиеся в гражданском его отношении.

Человек, живущий в обществе под сению законов для своего спокойствия, зрит мгновенно силу общую, доднесь ему покровительствовавшую, возникающую на его погубление. Друзья его до сего дня, сограждане его возлюбленные, становятся его враги, преследуют ему, и рука сильного подавляет слабого, томит его в оковах и темнице, отдает его на поругание и на смерть. Что может оправдать таковое свирепство? Сие-то намерен показать Федор Васильевич в сочинении своем, разыскав следующие задачи:

1. На чем основано право наказания?
2. Кому оное принадлежит?
3. Смертная казнь нужна и полезна ли в государстве?

Цель, для коей он писал сие, не позволяла ему распространяться; но все, что можно сказать в оправдание несчастного права казни, и все, что может ее представить вероятно справедливою, того Федор Васильевич не пророчил. Связь его мыслей есть следующая.

Показав, что человек, ощущая себя слабым на удовлетворение своих недостатков в единственном положении, следуя чувствительному своему сложению, для сохранности своей вступает в общество. Дабы общество направляемо было всегда ко благому концу, условием изъяснительным или предполагаемым постановляется власть, могущая сие производить и отвращать зло, которое бы могло причинено быть обществу. Лицо, власть сию имеющее, именуют государем в единственном и соборном лице. Следственно, тот, кто долг имеет пещися о благе общества, имеет право не дозволять и препятствовать вредить ему; следственно, что тот, кто поставляет власть для своего блага, согла-

суется повиноваться и ее прещению, когда деяния его от благой цели устраняются. Показав, что при определении наказаний иной цели иметь не можно, как исправление преступника или действие примера для воздержания от будущего преступления, Федор Васильевич доказывает ясными доводами, что смертная казнь в обществе не токмо не нужна, но и бесполезна. Сие ныне почти общеприемлемое правило утверждает он примером России. Я не намерен преследовать Федору Васильевичу в рассуждениях его. Изображая их здесь, могу или отъять силу его доводов, или только оные распространить без нужды. Тому и другому предварить можно, читая его сочинение, которое ясностию мыслей, краткостию слога и твердостью доводов заставит всякого потужить о безвременной кончине сочинителя на двадцати третьем году его возраста.

Опричь малого сочинения о любви и писем о Гельвециевой книге «О разуме», ничего более не найдено в бумагах Федора Васильевича. Выписки из многих книг, хотя без связи, доказывают, что он располагал свое чтение со вниманием. Кто может определить, что с ним потеряло общество? определить могу я, что потерял друга; но если судьба позавидовала тогда моему блаженству, наградила она меня с избытком, дав мне, мой друг, тебя.

Последнее время жития своего среди терзания болезни и грусти, от нее рождающейся, Федор Васильевич не забыл учения, и разве истощение сил отвлекало его от упражнения в науке. Наконец наступило время, когда почувствовал он совершенное сил своих изнеможение. За неделю еще пред кончиною своею ходил он с нами на гулянье и наслаждался еще беседою любящих его, но силы его, ослабев, принудили лечь в постелью. Надежда, сие утешительное чувство в человеке, не покидала его; но за три дни до кончины своея почувствовал он во внутренности своей болезнь несказанную, конечное разрушение тела его предвещающую. Не хотел он пребывать в неведении, призвав своего врача, на искусство коего он справедливо во всем полагался, просил его прилежно, да объявит ему истину, есть ли еще возможность дать ему облегчение, и да не льстит ему напрасною надеждою исцеления, буде само естество положило уже тому преграду.

— Не мни, — вещал зрящий кончину своего шествия томным хотя гласом, но мужественно, — не мни, что, возвещая мне смерть, встревожишь меня безвременно или дух мой приведешь в трепет. Умереть нам должно

днем ранее или днем позже, какая соразмерность с вечностью!

Долго человеколюбивый врач колебался в мыслях своих, откроет ли ему грозную тайну, ведая, что утешение страждущего есть надежда и что она не покидает человека до последнего издыхания. Но видя упорное желание в больном ведать истину о своей болезни и понимая его нетрепетность, возвестил ему, что силы его не более одних суток противиться возмогут свирепости болезни, что завтра он жизни не будет уже причастен.

Случается, и много имеем примеров в повествованиях, что человек, коему возвещают, что умереть ему должно, с презрением и нетрепетно взирает на шествующую к нему смерть во сретение. Много видали и видим людей, отъемлющих самих у себя жизнь мужественно. И поистине нужна неробость и крепость душевных сил, дабы взирати твердым оком на разрушение свое. Но страсть, действовавшая в умирающем без болезни, пред кончиною его живет в нем до последних минуты и крепит дух. Нередко таковой зрит и за предел гроба и чает возродиться. Когда же в человеке истощением сил телесных истощаются и душевные, сколь трудно укрепить дух противу страха кончины, а тем паче тому, кто, нисходя во гроб, за оным ничего не видит. Сравни умирающего на лобном месте или отъемлющего у себя жизнь насильственно с умирающим нетрепетно по долговременной болезни на одре своем и скажи, кто мужественнее был, испуская дух бодрственно?

Услыша приговор свой из уст врача, Федор Васильевич не встревожился нимало, но, взяв руку его:

— Нелицемерный твой ответ, — сказал он ему, — почитаю истинным знаком твоея дружбы. Прости в последний раз и оставь меня.

Удостоверенный в близкой кончине своей, Федор Васильевич велел нас всех позвать к себе, да последнюю совершит с нами беседу.

— Друзья мои, — вещал он нам, стоящим около его постели, — час приспел, да расстанемся; простите, но простите навеки.

Рыдающих облобызал и, не хотев более о сем грустить, выслал всех вон.

Осмнадцать лет уже совершилося, как мы лишились Федора Васильевича, но, мой друг, сколь скоро вспомню о нем, то последнее его с нами свидание столь живо существует в моем воображении, что то же и днес чувст-

вую, что чувствовал тогда. Сердце мое толико уязвлено было тогда скорбью, что впоследствии ни наступление радости и утех, ни величайшая печаль потеряннем возлюбленной супруги не нстребило чувствование прежняя печали.

Спустя несколько времени он призвал меня к себе и вручил все свои бумаги.

— Употребляй их, — говорил он мне, — как тебе захочется. Прости теперь в последний раз; помни, что я тебя любил, помни, что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным, и что должно быть твердо в мыслях, дабы умирать бестрепетно.

Слезы и рыдание были ему в ответ, но слова его громко раздались в моей душе и незагладимою чертою ознаменовались на памяти. Поживут они все целы, доколе дыхание в груди моей не исчезнет и не охладает в жилах кровь. Дажь небо, да мысль присутственна мне будет в преддверии гроба и да возмогу важное сынам моим оставить наследие, последнее завещание умирающего вождя моей юности, и живого да оставлю им в вожди друга любезнейшего, друга моего сердца, тебя.

Что после сего последовало, тебе, мой друг, более известно, нежели кому другому. Ты последние часы был при нем безотлучен, ты был свидетелем последнего вздымания его груди. Скажи, мой друг, почто и я тут не был. Или слабость моего здоровья, или нетвердость духа, или какая другая причина отлучила меня от умирающего и воспретила мне видеть последние черты его жизни и переходение ее во смерть. Но ко всем сиим причинам совокупно было и недозволение на то умирающего. Или столь мал был жар дружбы в сердце моем, что я не преступил его веления. О мой друг! в минуты благоденствия, когда разум ничем не упрекает сердце, мысль сия тягчит меня, и я мал становлюся перед собою.

Предвешание врача начало совершаться. Доселе нечувствительным покатом состав жизни спускался ко смерти, но вдруг она повлекла его всецельною рукою. За несколько часов пред кончиною Федор Васильевич почувствовал во внутренности своей болезнь несносную, возвещающую ему отшествие жизни. Доселе уста его не выпускали жалобного стона, но, скорбь одолев сопротивлением, страждущий вскричал содрогающимся гласом. Знаки антонова огня, внутренность его объявшего, начинали казаться на поверхности тела; в окрестностях желудка видны были черные пятна. Терзаемый паче всякого истязания, суеверием или

мучительством на казнь невинности изобретаемого, прибегнул Федор Васильевич к тебе, мой друг, да скончаешь его болезнь, болезнь, а не жизнь скончаи называю, ибо врата кончины ему были уже отверсты. Тебя, мой друг, просил он, да будешь его при издыхании благодетель и дашь ему яду, да скоро пресечется его терзание. Ты сего не исполнил, и я был в приговоре, да не исполнится требование умирающего. Но почто толика в нас была робость? Или боялися мы почестся убийцами? Напрасно; не есть убийца, избавляя страждущего от конечного бедствия или скорби. Друг наш долженствовал умереть, и час врачом был ему назначен по нелживым признакам, то не все ли равно было для нас, что болящий скончает жизнь свою мгновенно, или продлится она в нем на час еще един; но то не равно, что продолжится в терзании несносном. Мы потерять его были уже осуждены. Скажет некто, что врач мог ошибиться. Согласен; но болящий не ошибался в мучении своем и прав был, желая скончания оного, а мы не правы, дав оному продолжиться.

Мой друг, ты укосил дать помощь Федору Васильевичу, но не избавился вперед, может быть, от требования такого же рода. Если еще услышишь глас стнящего твоего друга, если гибель ему предстоять будет необходимая и воззову к тебе на спасение мое, не медли, о любезнейший мой; ты жизнь несносную скончаешь и дашь отраду жизнию гнушаемому и ее возненавидевшему.

Наконец естественным склонением к разрушению преклалась жизнь Федора Васильевича. Он был, и его не стало. Из миллионов единый исторгнутый не приметен в обращении миров. Хотя не можно о нем сказать во всем пространстве, как некогда Тацит говорил о Агриколе и Даламбер о Монтескью:

— Конец жизни его для нас был скорбен, для отечества печален, чуждым и даже неизвестным не без прискорбия.

Но то скажу справедливо, что всяк, кто знал Федора Васильевича, жалел о безвременной его кончине; тот, кто провидит в темноту будущего и уразумее, что бы он мог быть в обществе, тот чрез многие веки потужит о нем; друзья его о нем восплакали; а ты, если можешь днесь внимать гласу стнящего, приикни, о возлюбленный, к душе моей, ты в ней увидишь себя живого.

Конец первой части.

Часть вторая РАЗМЫШЛЕНИИ

1. О праве наказания и о смертной казни
2. О любви
3. Письмы о первой книге Гельвеция сочинения «О разуме»

РАЗЫСКАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВОПРОСОВ

1. На чем основывается право наказания?
2. Кому оно принадлежит?
3. Смертная казнь нужна ли и полезна ли в государстве, то есть в обществе людей, законами управляемом?

Прежде разыскания сих вопросов надлежит определить смысл понятия о наказании. Я под оным разумею зло, *соделываемое начальником преступнику закона*. Дав таковое изъяснение, мне надлежит, кажется, рассмотреть человека, каков он произведен природою, не коснувшись общества, дабы яснее определить, на чем основывается право наказания. Сие-то я и намерен разыскать столь кратко, сколько то возможно по существу самой вещи и по намерению сего сочинения.

Если мы вообразим первенственное состояние человека, состояние равенства и независимости, то узрим его самовластным судиею своих определений. Если мы рассмотрим его существо, то найдем его одаренного понятием (то есть свойством составлять идеи и оные сравнивать) и физическою, или телесною, чувствительностию. Понятие делает его удобным ко блаженству, то есть определять хотение свое сходственно со своим благосостоянием; телесная чувствительность повешает ему о его надобностях и показывает ему способы удобнейшие к удовлетворению оным. Любовь самого себя или своего благосостояния есть основание всех человеческих деяний. Сие чувство, природою в нас впечатленное, есть всеобщее и для того не требовало бы доводов, но случается, что наипростейшие и яснейшие истины подвергаются иногда сомнениям. Для того я дам оному доказательство, на самом существе нашего понятия основанное.

Всякое понятие одаренное существо имеет чувство о своем существовании, ибо кто чувствует, тот не может быть бесчувствен. Следственно, он может предпочесть состояние пребывания другому состоянию пребывания, то есть почитать одно счастливее другого; но предпочитать одно состояние другому есть то же, что определять свое хотение и избирать состояние пребывания, счастливейшим почитаемое, — суть одинаковые вещи. Из сего следует, что все права и должности человека из сего произтекают начала и все оному без изъятия суть подчиненны. Оттуда право

защищать себя или отвращая обиду, или награждая ущерб, или предупреждая своего злодея, если случится быть в грозной опасности или уверенному о злодейском намерении своего противника. Ибо имеющий право к цели имеет неотменно право к способам позволительным; итак, старание о своей сохранности, будучи средством необходимым для пребывания во благосостоянии, есть право, нераздельное от человека. Доселе понятие о наказании исчезло для того, что оно предполагает начальника, истребляет понятия естественных свободы, а потому и равенства. Но сие состояние независимости и равенства, столь прекрасное в воображении, не могло продлиться вследствие несовершенства человека. Слабость младенчества, немощь старости, природная склонность человека к самовластию, непрестанная боязнь, да не подвергнется насилиям могущественнейших, словом, препятствия, сохранности каждого в естественном состоянии вредящие, превзошед своим сопротивлением силы, употребляемые каждым для пребывания в сем состоянии, люди принуждены стали пременить внешнее состояние их жития. Но как они не могли произвести новых сил, а совокупить и соединить токмо имевшие, то надлежало установить общество, где каждый подвергался верховному вождению государя и менял свою природную свободу, силами каждого ограниченную, на свободу гражданскую, в житии по законам состоящую. Рассмотрим теперь человека в сем новом положении и начнем объяснением существа государств.

Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своей сохранности соединенными силами, подчиненное власти, в нем находящейся; но как все люди от природы суть свободны и никто не имеет права у них отнять сея свободы, следовательно, учреждение обществ предполагает всегда действительное или безмолвное согласие. О сем иные сомневаются, почитая народ собранием единственников. Но оно представляет нравственную особу, общим понятием и хотением одаренную и для того права и обязанности иметь могущую; следовательно, можно ей сделать обиду.

Общество, так сложенное, должноствовало помышлять о таком средстве, которое бы положило всем оною членам необходимость направлять все их деяния сходственно с общим благом; для того-то люди, пременяя образ своего бытия, не пременяют своей природы, и злодеяния, принудившие их составить общество, не истребились бы, беспорядок остался бы и разрушение государства последовало бы непременно. Но как скорбь и отвращение от зла и притяжательность веселия суть равно всеобщие, то ясно следует, что наидействительнейшее средство подчинить частное хотение хотению всеобщему и принудить граждан поступать только сход-

ственно с намерениями законоположника есть учреждение награждений и наказаний. Я пред сим доказал, что общество не может быть разве действительным или безмолвным согласием всех единственников. А как установление наказаний есть средство необходимое для содержания порядка и для направления деяний каждого сходственно с общим благом, то ясно, что начало права наказаний основывается на их согласии, ибо кто желает цели, тот желает и средства.

Некто возразить может: определяя волю свою к цели блаженства, возможно ли, чтоб человек условился на предосудительное своему благосостоянию? Ответствую: 1) вступая в общество, никто не мнит о себе, что будет нарушитель закона, а тем общественный злодей; но каждый, обязуясь жить по законам, никто из оных не исключен, и сие никому не предосудительно. 2) Всяк властен вдать опасности не токмо несколько своих прав, но и самую жизнь для сохранения оной. В таковом деянии человека выбор стремится к цели своей выгоды, ибо меняет он зло действительное и настоящее на зло будущее, от коего он легко уклониться может. Сии рассуждения влекут заключения, что человек, обязуясь терпеть зло, начальником его ему соделываемое за преступление закона, ничего не терпит, но паче выигрывает; следственно, действие сие, стремящееся единственно к его сохранности, есть законно и твердо.

Положив основание праву наказания, я могу приступить к ршению второго моего вопроса, то есть кому принадлежит право наказания. А понеже сия задача есть дальнее токмо следствие первой, то довольно будет, если утвержу оную одним простым доводом, не входя в дальнейшее рассмотрение.

Состав каждого правления требует государя, или вождя, который бывает нераздельною или соборною особою, одаренною верховною властью для направления всех единственных воль и сил к общественному благу. А как сохранность народа и содержание доброго порядка суть первые предметы сего попечения, чего без учреждения наказаний и награждений приобрести не можно, то ясно следует, что право наказания принадлежит единому токмо государю, право, которое он может вручить нижним властям. Но они суть токмо исполнители вышния воли государя, законами определенной и пересуду не подверженной.

Я приступаю теперь к последней задаче. Вопросается: смертное наказание полезно ли и нужно ли в обществе? Для ршения сего надлежит рассмотреть цель наказания вообще.

Цель законодателя при учреждении наказаний есть сохранность граждан, утверждение законного владения их мнений, предварение природныя склонности человека присвоить все, что может

взять невозмездно, наконец, приведение к должностям уклонившихся от оных. Отсюда истекает примерное наказание, стремящееся к отвращению от незаконных и злых дел всех ведающих о болезнях, злодеями претерпеваемых. Иные отмечают исправление, которое не что иное есть, как средство к приведению преступника в самого себя истязанием, средство к произведению в душе истинного раскаяния и отвращения от злых дел. Другие мнят были возмездно, состоящему в соделании зла за зло. Сомневаюсь, чтоб те были правы, а докажу, что сии, конечно, ошибаются.

Представим себе государство нравственною особою, а граждан оного ее членами. То можно ли подумать, что человек, раздробивши себе ногу, восхотел бы воздать зло за зло и сломить себе другую. Положение государства есть сему подобно. Все действия государства должны стремиться к благосостоянию оного; а награждать злом за зло есть то же, что невозвратное зло себе соделать. Желать себе зла противно существу общества, и таковое действие предполагает безумие, но безумие права не составляет. Следовательно, таковое действие не есть законно, ни полезно, а потому и невозможно; да и полагающие возмездие, кажется, похожи на последователей системы *беспристрастной свободы*, которые, утверждая, что *хотение есть хотение* и что *хочу, для того, что хочу*, приемлют, очевидно, действие без причины.

Отмечающие исправление основываются на невозможности судить об оном и определить время, когда преступник придет в себя. Суд, говорят они, объемлет внешние токмо действия; никто не судит о намерении, и законодатель не может пенить о исправлении.

Дабы ответствовать с точностию на сие заключение, надлежит сперва разыскать, может ли человек исправиться? Для сего рассмотрим его в себе самом и спросим природу. Человек рождается ни добр, ни зол. Утверждая противное того и другого, надлежит утверждать врожденные понятия, небытие коих доказано с очевидностию. Следственно, злодеяния не суть природны человеку; следственно, люди зависят от обстоятельств, в коих они находятся, а опыты нас удостоверяют, что многие люди повиновались несчастному соитию странных приключений. Если же человек случайно бывает преступником, то всяк может исправиться. Если он повинуется предметам, его окружающим, и если соитие внешних причин приводит его в заблуждение, то ясно, что, отъемля причину, другие воспоследуют действия. Сверх же того, дабы доказать, что исправление невозможно, надлежало бы определить силу злобы, потребной в преступнике для соделания действия, запрещенного законами. А как может

оное быть? Творец действия иногда не ведает сам побуждений, его влекущих, то есть что он не ясно видит соитие обстоятельств, побудивших его к действию. Если же невозможно положить явного предела исправлению, если же, напротив того, очевидно, что человек может исправиться и что люди разиствуют токмо в количестве, то не справедливо ли будет в сем случае клониться к большей вероятности. Сие-то я и намерен рассмотреть, исходя от действия ко причинам.

Представим себе человека, на несколько степеней страсть имеющего и совсем к добродетели равнодушного: добродетелию я называю навик действий, полезных общественному благу. Таковой человек столь же непременно впадает в злодеяние, как брошенный камень падает на землю. Решить должно, можно ли сего человека исправить? Злодеяние в человеке рождается от притяжания и от глупых надежды безвозмездия, от чего должно воздерживать его болезнию. Злодей, уличенный в своем злодеянии, осуждается на потеряние своея свободы. Утрата невозвратимая, все превосходящая, а паче для человека просвещенного. Вринутый в глубокую темницу и в снесь скуке, отчаяние объемлет его душу; за оным следует ярость на свое неповорство. Ибо трудно неистовству признаться виновным, но немощь соделати зло превращает, так сказать, естество его хотения, равно как невозможность удовлетворить желанию оное истребляет. Дошед до сего степени, он себя рассматривает; а рассуждение человека о известных обстоятельствах всегда бывает справедливо, если разум его не ослеплен страстию. Здесь все его страсти утихли или настоящим страданием, или воображением отсутствия всех веселий. Он познает свое злодеяние. И можно ли, чтоб он его не познал? Если человек накрепчайший колеблется, если Катон, если Брут, сии строгие стоики, возмogli подвигнуться и пременили намерение, то какой смертный не пременится? К тому ж мы охотно последуем в рассуждениях другим людям, дабы избавиться трудности исследования, угождая природному человека недействию или повинуюся общественному рассуждению. Тако преступник, зря себя покрыта бесчестьем и срамотою, у всех в презрении, един среди всех и преданный себе самому, прибегает к раскаянию, яко к единой несчастных отраде, которая поистине сильнее, нежели думают.

Но преступник, скажут мне, может затвердеть во злодеянии, он может даже нечувствителен быть к болезни, которую ощущает. Сие невразумительно; но раскаяние, кое неизбежно, производит непременно отвращение к действиям, приведшим в раскаяние, а телесная болезнь делает оные ужасными. Несчастный, чрез долгое время навикший с ужасом взирать на прошедшие свои

дела, отвращается от злодейства, а впечатление сие, всегда и непрерывно пребывающее, столь привычно ему станет, что от единых мысли злодеяния вострепещет. Если все люди имеют свойство соединять и одинаковыми предметами одинаковые мысли и воображать нераздельными идеи, кои они в одно имели время, так что одна не может возбудиться без другой; если привычка другая есть природа, кои не первая, как то думает Гельвеций, и если чувствование скорби сильнее по себе оставляет впечатление, исцели чувствование, мыслимым воображением познаваемое, то я могу утверждать, что в человеке степени порока пременяются в десять лет во столько же степеней добродетели. Дабы смертная казнь производила свое действие, нужно, чтобы преступления были всечасны, ибо каждое примерное наказание предполагает вновь сделанное преступление; желать сего есть то же, что хотеть, чтоб самая та же вещь была сама по себе купно и другая вещь в одно время, следовательно, желать противоречия.

Но, скажет некто, если телесные болезни, смерти предшествующие, сильнее всего в человеке действуют, то надлежит прибегнуть к изысканным казням? Признаюсь, что они весьма чувствительно и сильно действуют; но и то известно, что они переходящие токмо доставляют выгоды, и сие-то, думаю, доказывает их бесполезность. Какое зверство, какой ужасный вымысел в казнях при Калигуле, Нероне, Диоклетиане! какое, напротив того, наблюдение в сохранении жизни граждан во время республики. Различие в сии времена во нравах относится всегда к похвале народного правления. Сие и доказывает, что не жестокость казни удерживает преступника или предвещает преступление, но мудрое законоположение и соединение общей корысти с частными корыстями, послику то возможно. Свирепость наказаний показывает всегда народное повреждение и причиняет избежание казни, а надежда укрыться от оных умалает ее действие и воспрещает жертвовать злодейским, но настоящим веселием. Владычество привычки есть всеобщее над человеком, и яко веселие исчезает продолжением, тако поражение теряет свою силу частым повторением. Избраннейшая казнь теряет свое действие и становится наконец бесплодною; как же соразмерить наказание преступлению? В телесном и нравственном мире все имеет свои пределы, сщество человеческое имеет также свой предел во зле и благе; то ясно, что, полагая изысканные казни, надлежит на чем-нибудь остановиться. Тут будет несоизмеримость наказания с преступлением; будет сие несправосудно, а потому сумасбродно.

Поисеже ясно, что смертная казнь никогда долговременного не производит впечатления и, поражая сильно и мгновенно души,

бывает тем и недействительною; понеже жестокость казни становится вредною непременно ради следствия своего бесполезности, то я могу заключить, что смертное наказание не может быть ни полезно, ни нужно в государстве.

Положив сие начальное правило и устремляя внимательное око на сложение государств и на обряд уголовных дел, я покажу два опасных следствия смертных казни. Образ всякого правления влечет за собою неравенство имений. Монархическое тем и существует, аристократическое оного отвергнуть не может, в демократическом хотя бы надлежало быть равенству имений, но, судя с точностию, не может быть истинной демократии, и сие правление, приличествуя токмо весьма малым и бедным государствам, не может и по мнению г. Руссо сделать народа счастливым, по склонности своей к возмущениям. Опыты всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оных производит, с одной стороны, нищету, а с другой — роскошь; сего ради могу я сделать положение, что в двадцати миллионах жителей найдется по самой крайней мере двести в крайнее убожество поверженных: едва возмогут они добыти дневную пищу, и жизнь непременно будет им в отягощение. Они восхотят оной лишиться; закон им доставит сие благодетельное, которого удостоится они злодействами; и се уже двести преступников, укрепленных мгновением казни и надеждою нескольких годов услаждения.

Второе следствие, ужаснее первого, истекает из обряда уголовных дел. Люди определяют наиважнейшие действия своей жизни по нравственной ясности; следствию, и знаки, преступление утверждающие, на оной же должны основываться; но и по мнению самого творца книги *о преступлениях и наказаниях* нравственная ясность не что иное есть, как наивеличайшая вероятность; а как нет вероятности, коея бы противоположность не была возможна, то заключаю, что со всеми осторожностями в осуждении преступления можно ошибиться и осудить невинного и что бывают случаи, коих истина едва чрез долгое течение времени отвергается. Ибо какой человек почтется преступити не могущим? Невежество судии введет его в погрешность, сребролюбие повредит его правоту, отеческая нежность, любовь сыновия, предстательство вельмож, долгое дружество и многие малые сим подобные причины не возмогут ли его обольстить и не преступит ли он власти своей на судилище?

Рассмотрим свидетельство. Хотя и говорят, что вера ко свидетелю возрастает по мере умаления его корысти, но можно ли назначить предел, где корысть исчезает? может ли кто проникнуть в тайные излучины сердца человеческого? Или нет уже

Более душ низких и подлых, всегда личиною прикрытых и тем наименование честных людей приобретших, прельщенных или обоязненных и того ради на ложное свидетельство готовых? Из сего заключаю, что приговор, на свидетельстве основанный, подвержен заблуждению. Признаюсь, что таковые случаи суть редки, но единая их возможность приведет в ужас сердце праведное и от вопля невинного в бедствии содрогатся обыкшее; а если бывают случаи, в коих можно предположить, что невинность разве чрез долгое течение времени открывается, и если опыты доказывают, что часто невинные сопреступниками вменялись и казнены смертию, то благоразумно и праведно иметь готовое всегда средство скончавати мучение невинных жертвы, а смертная казнь не есть средство таковое.

Сии причины, царствование императрицы Елисаветы Петровны и опыты всех времен доказующие, како смертное наказание не послужило к удобрению человека, побуждают меня заключить, что установление сей казни совсем в государстве бесполезно, да и казнить смертию для примера надлежит только того, кого без опасности сохранить невозможно. Я тем более подвизаюсь на сие рассуждение, что известно, что люди располагают свои деяния по повторяемому действию зол, им известных, а не по действию зол, им неведомых.

Сим образом исправленный и высшим правосудием освобожденный чувствует преисполненна себя благодарностию; но живо чувствующий благоденствие старается явить признание о нем; всяк хочет быть почитаем и скорбит, зря себя в презрении. Итак, желание почтения и скорбь презрения произведут в преступнике стремление ознамениться, да будет общественного почтения достоин, да воздаст, так сказать, за худые свои дела, и да погрузятся они в вечное забвение. Таково Греции воинны, избавившиеся смерти бегством, храброму мужу всегда постыдным, но срамом и стыдом покрытые, бывали всегда в последующее время нанзнаменнейшие; следственно, бывает предел довольно известный, где виновный почестся может обратившимся к должности своей, то не достойно ли о сем нанстрожайше исследовать? Сердце мудрого законодателя не источит ли кровь, наказуя невинного. Ибо наказание исправившегося преступника есть заклание невинных жертвы.

Я не намерен распространять силу сего заключения на убийцев. Жребий нарушителя договора и общественному злодею есть смерть гражданская. Ибо несть свято, несть ненарушимо паче жизни гражданина. Я думаю, однако же, что по оному заключению могу судить о воровствах и о других меньших преступлениях, назначая токмо некоторые пределы, да не войду в скучные подробности. Если бедность, столь всегда близко

преступления, ввела человека в заблуждение; если стремление страстей юности, всегда буйственной, но всегда гибкой, винуло его в преступление, то не побудит ли сие мыслить благосклонно о преступнике? Следовательно, кажется, не можно с основанием исключить исправление из намерений законодателя.

Мы видели, что предметы установления наказаний суть или средства воспретить преступнику впредь вредить обществу, или пример для других, да отвратятся от содействия подобных злодеяний, или, наконец, исправление. Дабы решить теперь, полезно ли и нужно ли в государстве учреждение смертной казни, рассмотрим каждый из сих предметов особо.

1. Я уже показал, что исправление неотменно входит в расположение законодателя, понеже совершенное разрушение вещи истребляет понятие о исправлении; ибо, отъемляй жизнь у преступника, разрушает его бытие, его истребляет; то заключаю, что в сем случае смертная казнь предосудительна.

2. Предварить, чтобы преступник впредь не вредил обществу, для сего надлежит сделать его только немощим. Темница для сего избыточна. Следует, что в сем случае смертная казнь не нужна.

3. Наказание для примера отвратить от подобных преступлений согражданина виновного; для сего надлежит изыскать наказание, которое бы сильнее, действительнее и продолжительнее душу поражало. Обыкновенно думают, что законная смерть оставляет по себе впечатление наисильнейшее, или действительнейшее, или долговременнее пребывающее. О сем я сомневаюсь, и вот тому вина.

Смерти всегда предшествует болезнь, жизни сопутствуют всегда какие-нибудь веселія. К жизни мы, следовательно, прилепляемся ради страха болезни и вождения веселий. Чем жизнь блаженнее, тем страшнее оную оставить. Оттуда ужас в смертный час в довольствии живущих. Напротив того, чем жизнь несчастнее, тем меньше жалеют лишиться оной. Оттуда нечувствительность нищего в ожидании последнего часа. А если любление бытия основано на страхе болезни и вождении веселия, то следует, что желание быть счастливым сильнее в нас, нежели желание быть. Следует, что пренебрежение жизни есть заключение исчисления, доказующего нам самим, что лучше не быть, нежели быть несчастным. Сей довод не есть воображение умозрительства, но токмо общественное происшествие, на опытах людей мудрых и людей мало просвещенных основанное, что и доказывает оного общественность. Не с охотою ли Катон отъял у себя жизнь из любви к отечеству? Сцевола, влекомый корыстию общего блага, не подвергался ли не токмо смерти, но и острейшей мучке? Не терпел ли Регул наизжесточайших мучений, да исполнит свое

обязательство? Я не могу сравнить с сими великими людьми сих злодеев, сих извергов природы, суеверием упоснивших и обагривших руки свои в крови царей своих, и толико же безумных убийцев. Сие доказательство, довольно, кажется, заключительное, утверждает, что смертная казнь не с наибольшею действительностию поражает разум и что впечатления ее не наисильнейшие суть; по крайней мере они не во всех равны бывают, а потому, не будучи наисильнейшие, да и всегда мгиовенные, не могут, конечно, быть действительными.

Но положим, что оные впечатления суть наисильнейшие, как то они суть в самом деле во всех не имеющих великих страстей ни к добру, ни ко злу, коих число, конечно, в каждом государстве велико, то утверждаю, что тем самым они и вредны: ибо чем поражение сильнее, тем краче оно бывает. Правда, что оно объемлет все наши душевные силы, но они подобны изящной музыке; ее действие мгновенно нас восхищает, мгновенно и исчезает. Тогда престаёт соображение, и человек в совершенное погружается забвение. Смертная казнь удивляет, но не исправляет; она укрепляет, но не трогает; оно впечатление медленное и продолжительное оставляет человеку полную власть над собою. Он соображает, сравнивает; следовательно, сие впечатление по существу своему есть действительное и тем полезнее. А если продолжительное впечатление глубокие в сердце человеческом оставляет черты, то должноствует следовать, что оно действует на человека сильнее. В таковых обстоятельствах был Александр Великий в рассуждении Филота, единого из первейших своих полководцев, ближайшего своего друга и сына Парменионова, великим войском тогда предводительствовавшего; таков же был случай Геирixa IV в рассуждении Бирона. Обличенные оба в оскорблении величества (то есть в наивеличайшем преступлении, ибо великость оного измеряется всегда вредом государству, от того происходящим), но оба могущественны, не можно было, по мнению моему, их сохранить без опасности. Сие, может быть, единое изъятие, а изъятие правила точность оного доказует. Присовокупим к сему: дабы наказание было справедливо, надлежит оному иметь токмо достаточную силу для отвращения людей от злодеяний. Но какой человек восхошет променять потеряние совершеное и невозвратное своей свободы на злодеяние, какие бы он ни ожидал от него выгоды. Из сего следует, что действие наказания вечныя неволи достаточно для отвращения от преступления наотважнейшую душу.

Я не войду в раздробление преимущества такого положения, ибо оно всякому благоразумному читателю представится очевидно, потому что нет злодея, кой бы к чему-либо не был пригоден,

что самой природе совместно. Если соделаешь зло обществу, возмездится за оное злом, то есть принужденною работою, сверх же того ясно, что вечная исволя тем и предпочтительна, что действия ее, в глазах народа всегда обретающиеся, суть поразительнее и долговременнее. Теперь рассмотрим, вечная неволя не жесточее ли самая смерти? Конечно, жесточее в глазах общества, но не для терпящегося. Общество судит по своей чувствительности о сердце, привычкою закоренелом, а несчастный утешается отсутствием болезней злее тех, кои он ощущает; раскаяние приходит к нему на помощь, и труды его облегчаются упражнением. А как чувствительность в человеке возрастает по мере крепости его рассудка, нежности телосложения или перемены его состояния, то я заключаю, чем человек будет просвещеннее, тем положение сие будет для него несноснее; чем более он мог жить в довольствии, тем более сие состояние его скорбеть будет. Тем более заслуживает он облегчения, ибо хотя злодей он, но человек. Сего требует правосудие; ибо наказание долженствует всегда быть соразмерно преступлению. А как весьма редко, чтобы одинаковые предметы одинаковые на разных людей имели действия, к тому же ясно, что человек с разумом или человек, сладострастное житие имевший, гораздо наказание живее восчувствует, нежели невежда или телосильный и крепкий, к нужде и нищете привыкший, то заключаю, если таковые люди за одинаковые преступления одинаково накажутся, один наказан будет жесточее другого, и казнь вины не будет соразмерна.

О любви

Любовь есть чувство, природою в нас впечатленное, которое один пол имеет к другому. Все одушевленные твари чувствуют приятность, горячность, силу и ярость оная. Но различное сложение тела, следовательно, больше или меньше раздражительности в нервах, различное соитие обстоятельств, воображение воспламеняющих, словом, различное соитие внешних предметов, на нас действующих, долженствует неотменно производить различное чувствование. Рассматривая любовь при ее источнике, увидим, что сие чувствование равно сродно ленивому ослу и разъяренному льву; португальцу, крепкими напитками и пряным зельем воспаленному, и лопарю, утомленному холодом и трудами. Сие чувствование, следовательно, есть необходимое, для того что оно в нашем природном сложении имеет свое начало. Любовь все употребляет средства, к удовлетворению ее служащие, преображает еленей в тигров, умножается от предстоящих препятствий, удовлетворению ее претящих, умалется, превзошед пре-

поны. Федер справедливо замечает, что любовь в естественном состоянии человека ужасна не была для того, что взаимная похоть ее скоро укрощала, но по восстановлении обществ она должна была сделаться ужасною, как то она и есть. Самолюбие, со всем себя в сравнение ставящее и себе всегда преимущество дающее, должно было неотменно озлоблять самолюбие другого. Оно рождало зависть, а зависть ненависть, и так умножались все наши страсти. Они столь много произвели божественных дел и столько зла сотворили, что их вообще ни хвалить, ни оуждать не надлежит. Нравоучители, противу страстей восстающие, рассуждают о человеках вообще по человеку, в их воображении сотворенному, или, углубясь в отдаленнейшую метафизику, доказывают весьма велегласными словами, что все несходствующее с совершеннейшею совершенностию (которую не объясняют) и с существенным порядком вещей, которого не знают, есть противудобродетель, порок и зло; итак, мы постараемся отступить от понятия отделенного и будем наблюдать действительные отношения. Назовем добродетелью то, что удовольствие и благосостояние всех (а как сие невозможно), по крайншей мере многих людей содействует, и рассмотрим, полезна ли любовь или вредна?

Человек есть хамелеон, принимающий на себя цвет предметов, его окружающих; живущий с мусульманами — мусульманин, с куклами — кукла общества, в коем мы обращаемся. Общежитие вселяет в нас род своих мыслей и побуждает нас то называть добрым, что оно добрым почитает. Мы усваиваем помалу страсти, в обществе господствующие; наипаче мы склонны к восприятию того, что нас прельщает, а все, что нам веселие доставляет или общает, прельщает нас столь действительно, что объемлет все наши душевные силы. Всяк доволен, хотя и не весьма ясно понимает, что мы благосклонность других людей приобретаем сходством наших мыслей и деянием с их мыслями и действием, а сие подтверждается опытами. Из того очевидно следует, что двое влюбленных единого составляют человека, единую имеют волю и одинаковые поступки, ибо привычка преобразует природу. Случай, имеющий в общежитии свое начало, восхотел, чтобы мужчины были, что женщины суть, на коих они свои взоры обращают, а не женщины то, что суть мужчины.

Итак, любовь в обществе не на телесных токмо и чувственных основывающаяся чувствованиях, но тысячию чувствованиями производимая, любовь сия, зависящая от предрассуждений, от обыкновений и от состояния, не имеет в себе ничего непозволительного и ничего наказания достойного. Она становится добродетелью или пороком, располагая по воспитанию женщин, тот или другой вид приемлющему. У греков, у коих мать слезы

проливали, когда сын ее без лавр возвращался, где дева прославившемуся сердце свое дарила, и везде, где благоразумный законоположник женщин определял вперять в сердца юношей ревность к добродетельным и отвращение от порочных поступков, заслуживают они уважение, почтение и любовь; но в нашем веке, где красота, *которая ужаснее стихии, ее родившей*, воспитывается в играх и забавах, где вся разума ее округа внешним ограничивается блеском, где свобода в убранстве, где прелесть поступи и несколько наизусть выученных модных слов заступают место мыслей и изгоняют природное чувство, где она принуждена ежечасно притворяться и сокрывать свои невиннейшие склонности, где она злословна, для того что неведуща, честолюбива, для того что не имеет должного к себе почтения, и коварна, для того что живет всегда в принуждении и беспрестанно бездельницами упражняется, где она неограниченно обожателями своими управлять желает, достойна ли она, чтобы быть ее жертвою, в угождение ей наполнять голову свою замысловатыми бездельницами, оставить любовь истины, дабы ей понравиться, посвятить ей время свое, коего потеря всегда невозвратна? В наблюдении бесчисленного множества вещей, кон по рассмотрении найдем бездельницами, но трудными бездельницами, может ли кто без внутреннего отвращения видеть старого, впрочем заслуженного и испытанного, министра, который от чрезмерной нежности невинного осудил на смерть, дабы пощадить злодея, отца своего обладательницы. Кто не возропщет на него! кто столь сильно объят любовию, что разум его никогда не в состоянии покойно наблюдать вещи, а сердце всегда в движении, и кто своими приобретенными знаниями мог бы свету быть полезен? Но кто может противиться сим голубым глазам, сему томящемуся и восхитительному взору, сему пронизательному и привлекающему глазу? Кто может облобызывать белую сню и нежную руку, на коей поцелуй впечатлевается, и не потерять своего сердца? Кто может видеть сню непринужденную походку, сню величественную осанку, воровские глазки и, что всего больше, слышать и видеть добродетельные предупреждения и не восхититься и не воспалиться? Тот, кто в младости к тому приуготовлен, кто старается познать истинное определение человека, кто украшает разум свой полезными и приятными знаниями, кто питается противными сим страстями, кто величайшее услаждение находит в том, чтоб быть отечеству полезным и быть известным свету.

ПИСЬМО I

Милостивый мой государь.

Я намерен с вами беседовать о вещи весьма важной и многим трудностям подверженной; ласкаю себя, что вы мне на сие дадите дозволение, ведая довольно, что глубочайшие размышления не токмо вам не наскучат, но возбудят разве ваше любопытство. Вещь сия есть важная, ибо непосредственно касается до человека; трудная, ибо познание сердца человеческого и побуждений к действию и недействию весьма залутано. Сие превзойдет, может быть, мои силы; но самое сие побуждает меня прибегнуть к вашему просвещению, которое, по счастью моему, я узнал и почитаю. Я ищу наставления, следовательно, я сомневаюсь. Но как нерешительность для разума, истину возлюбляющего, есть несноснейшее состояние, то и прошу я вашей помощи. Но не отважio ли сие? И поистине сей мой поступок, от чрезмерного желанія познаний происходящий, был бы непростителен, если бы я менее уверен был в милости вашей ко мне; если бы вы во время пребывания вашего в Лейпциге не удостоили меня дружеского обхождения и если бы вы мне не дали полезного для меня дозволения прибегать к вам во всем, что до меня касаться может. Я осмеливаюсь почитать себя воспитанником вашим, ибо все нас наставляющие или дающие нам способы к наставлению по справедливости истинными родителями почитаться могут. Но сие есть наималейшее из одолжений ваших. Вы извлекли душу мою из бездействия и уныния, в коих она погрязла, и, по несчастю, не без причины. Вы возвратили ей всю ее деятельность, отъемля причину, ее угнетавшую. Вы вселили в меня неусотомимое рвение к исследованию всех полезных истин и отвращение непреодолимое ко всем системам, имеющим основание в необузданном воображении их творцов, и мерзение к путанице высокопарных и звонких слов, коими прежде сего я отягощал память мою. Но сколь велика долженствует быть, наконец, моя признательность за то, что от вас познал я удивления достойного сочинителя, коего книгу вы благоволили прочесть со мною? После того я три раза читал ее со всевозможным вниманием и для того только воздерживаюсь хвалить его, что я уверен совершенно, что хвалить такого мужа, как есть сей, должен только тот, кто сам заслужил уже похвалу.

Скажу только то, что, удивляясь его проникательности, ясности и изящности его слога, нередко сожалею о его краткости.

Из него-то почерпну содержание сих писем, которые заключать будут сокращение сочинения «О разуме» или, по крайней мере, одного первого и третьего книг. Но исполнение сего предприятия весьма трудное, требует напряжения разума и довольно времени; да и тем паче, что не всегда я с автором одного мнения, по крайней мере в упомянутых двух книгах. Для объяснения моих сомнений в великие нужно войти подробности; и я за нужное почел прежде всего предложить вам со всевозможною краткостью тезисы, которою он шествовал во утверждении своих основательных мнений и во извлечении следствий. Цель моя была двойка при сем маловажном труде. Первая, чтобы тот, кто читал сию книгу и о ней уже размышлял, мог бы себе посредством сей выписки мгновенно представить всю цепь мыслей сочинителя; вторая, чтобы начинающий, имея сию выписку пред собою, не был бы от главного предмета отвлекаем окольными и прекрасными побочными разглагольствованиями сочинителя и не проронил нить умствования его, запутавшись во множестве деяний, им приводимых, где по действию заключается о причине. Вы можете судить, достигнул ли я моего предмета; мне же должно ожидать вашего суждения с почтением пребывания чрез всю жизнь мою нанчувствительнейшею благодарностию

есмь и проч.

ПИСЬМО 2

Сочинитель рассматривает разум яко способность мыслить, которая по сему и долженствует быть качеством какого-либо существа, духовного или вещественного, ибо другие роды нам неизвестны. Сия задача, не решенная до сего времени, не может иметь о себе доказательства; тем паче, что сочинитель, полагая все действия нашего разума в чувствовании, сие равно с тем и с другим предположением согласуется. Но сие-то и требует, мне кажется, доказательства. Почитая душу веществу, рассмотрим, может ли она чувствовать. Я прежде всего замечу, что *вещество* и *тело* суть два слова равного значения, ибо сказать можно, что всякое вещество есть тело и всякое тело есть вещество. А понеже пространство, заключающее в себе понятие неразделимости, непроницаемости, производящая, что два тела не могут в одно время занимать одного места, бездеятельность, качество тел, посредством которого они тшятся пребывать в настоящем положении и следствие неперемнное самой их непроницаемости, суть три свойства тел необходимые; понеже тело заключает в себе понятие общее и поелику то, что при-

лагаем роду, прилагаем всем единственностям, к нему принадлежащим, то следует, что все единственности, поелику суть телá, заключают в себе вышесказанные три качества. Следует, если бы начало чувствующее было телесно, то было бы протяженно и делимо. Следует, чтобы понимать можно было треть и четверть чувствования, что противоречит опытам.

В теле примечаем мы только движение, что не иное есть, как перемени места, быстротечность и направление. Но равное ли видим в нашей душе? И для того-то в каждом ударе-нии чувств две вещи различать надлежит: телесную, или ударение в мозге; духовную, или понятие, в душе от того рождающееся. Кто захочет о сем сделать на самом себе примечание, познает оное непременно. Когда разум напряженно рассматривает некоторые предметы и рассуждает о понятиях, оными производимых, то он не замечает нисколько о ударе-нии некоторых предметов на орудие слуха, хотя равное бывает их действие с теми, кои производят звук, и хотя орудие здраво. Причина же тому есть, что душа оному не внимает. Но сочинитель думает, что откровение таковой силы, какова, например, сила притяжения, не долженствует ли побуждать мыслить, что тела имеют еще некоторые свойства неизвестные, как то свойство чувствовать. В первом моем письме я намерен разыскать сие выражение

есмы и проч.

ПИСЬМО 3

Все согласуются, что есть во всех телах небесных всеобщая тяжественность; что качество сие, очевидное в магните притяжением железа и стали и, по мнению утвердителей тяжественности, свойственное всякому телу, осязательно становится только в весьма больших телах, в малых же совсем неощутительно. Истинная же причина, оную производящая, нам неизвестна, и философы доселе в оном несогласны. Одни утверждают с вероятностью, что некое тонкое и невидимое вещество действует на тела и их одного к другому устремляет, и они называются *устремителями*. Другие говорят, что есть в телах сила скрытая и сокровенная, между ними притяжательность производящая. Оные приписывают утверждать на всемогуществе божием и называются *притяжателями*. Но если бы притяжательность была действие всемогущества божия непосредственное, в существе тел неутвержденное, то можно бы сказать столь же справедливо, что бог тела движет непосредственно, что и было бы непрестанное чудо.

Если мы вообразим два тела без движения и среди их совершенную пустоту, то нелепо будет утверждать, что они могут сблизиться или притянуть одно другое, ибо тела вследствие своей сущности тщатся пребывать в настоящем положении. Не можно приступить к противному мнению для того, что понимать неудобно причины, для чего тело недвижимое будет двигаться в ту, а не в другую сторону; еще же неудобопонятнее, что движущееся тело престаёт двигаться или прменяет направление или скорость. Итак, если, достоверно, что всякое тело по существу своему сохраняет свое положение и что переменна в оном происходит токмо вследствие его непроницаемости, то ясно, что тяжественность, то есть сила, тело к центру направляющая, хотя нам неизвестная, не есть свойство в телах присущее. Да и по мнению тех, которые притягательность почитают силою, в веществе вкорененную, сила сия не в теле, над коим действует. Следует, поелику известны нам силы только двух родов, силы телесные, из непроницаемости тел истекающие, и силы духовные, существующие токмо в животных, то притягательность должна была бы принадлежать к третьему роду сил, но ни к телесным, ни к духовным. Но дабы утверждать сие, то надлежит непрекословно доказать бытие сих сил и что сила притягания не происходит из тонкого вещества, тело окружающего. Если бы единожды возможно было, чтобы два тела притягивать могли друг друга и расстояние между ними не было бы наполнено тончайшим веществом, то сущность притягательности была бы неоспорима. Но как сие невозможно, то можно в том сомневаться или совсем отрицать.

Если же довольную имеем причину отменить силу притягательную, то с лучшим основанием отрицать можем в вещественности свойство чувствовать. Но если верно, что вещественность чувствовать может, где найдем мы чувствующую соединенность или неразделимость? Присвоим ли оную каждой вещества частице или соборным телам? Или присвоим сию соединенность жидкостям и твердостям в сложных и в началах? Говорят: в природе нет опричь единственности; но каковы они? Единственностью ли назовем камень или сложением единственностей? Чувствительное ли он вещество или содержит столько оных, сколько в нем песчинок? Если каждая начальная порошинка (атом) есть вещество чувственное, то как вообразить сие тесное сообщение, от которого один чувствует себя в другом, и столь совершенно, что оба суть один? Части чувствующие суть протяжны, но существо чувственное неразделимо, одно, всецело или же ничто. Сии непреодолимые трудности с предыдущими причинами совокупно утверждают меня во мнении, что, познав вещественность протяженною и делимою, надлежит удостовериться, что

она чувствовать не может, ибо, утверждая противное, станешь присвоять одному существу свойства, одно другое исключаящие

есмы и проч.

ПИСЬМО 4

Сочинитель полагает быть в человеке двум силам страдательным, которых он признает производящими из нас разум причинами. Первая — свойство принимать ударения внешних предметов, и сия есть телесная чувствительность. Другая — свойство хранить сделанное на чувствах ударение, называется память. Память, по мнению сочинителя, есть не что иное, как единое от орудий телесной чувствительности, и чувствование продолженное, но ослабевшее. То, что в нас чувствует, говорит он, то непременно и воспоминает. Се доказательство его.

Когда я воспоминаю образ дуба, тогда внутренние мои органы находятся почти точно в таком же положении, в каком они были, когда дуб сей представлялся моему зрению. Таковое положение органов производит чувствование. Следовательно, воспоминать есть чувствовать. Сие заключение для меня не кажется убедительным, и здесь доказательство основано на том, что в задаче. Положим, что, вспоминая образ дуба, внутренние мои органы в равном положении находятся с тем, в каком они были, видя сей дуб; однако же с ним вопросом не удовлетворится для чего и как, и довод недостаточен; ибо ясно, что здесь не заключает сочинитель одинаковых действий на одинаковые причины, ибо действия суть равны. Когда дуб находился перед моими глазами, тогда внутренние мои органы, позываемые лучами, исходящими от дуба, образ его начертавали в глубине моего глаза на нервеной сети, совокупляющейся с зрящим (оптическим) нервом, который есть продолжение мозга, и чрез него зыбление доходило до мозга, где душа извлекала понятие. Но, удаленный внешнего предмета, что действует на мои органы? И если бы при воспоминавании внутренние мои органы были в таковом же положении, как при ударе предметов на чувства, то, не имея ничего пред глазами, я видел бы солнце. Следственно, понятие напоминаемое совершенно разнится от понятия, возбуждаемого предстоящим предметом. Изъяснение памяти, что она есть чувствование продолженное, но ослабшее, для меня неудовлетворительно. Ибо или чувствование продолжается безостановочно, или когда-либо останавли-

ливается и возобновляется. Если бы бывало первое, то бы понятия нам были присутственны непрестанно, чего, однако же, нет; ибо тщетно иногда стараемся возобновить иные понятия, которые мы имели прежде; иногда же совсем их позабываем, но обыкновенно забываем их наполовину. Если бы ударение терялось совсем, как то случается, как бы вещественность могла воспоминать, что было на нее ударение в то время, когда оно на нее бывает вновь? Говоря, что память не что иное есть, как чувствование продолженное, но ослабшее, всё присвоим чувствительности, но чувствительность производится движением нервов. Сие движение может умножиться и уменьшиться по мере удара сильного или слабого всех частей предмета; следовало бы, что, когда воспоминаю о солнце, то же бы было, что я вижу луну, кося свет 200 000 раз слабее света солнечного. Но видеть луну теперь и воспоминать только о солнце суть две совсем разные вещи. А потому ясно, что понятия чувственные представляются нам посредством чувств; воспоминаемые же производим мы сами по образу понятий чувственных, поелику мы об оных воспоминаем. Понимаю я довольно ясно, что понятия, памятью произведенные, суть таковы же, как и настоящие: но сие относится к душе. Что же касается до тела, то всякое настоящее памятью сопряжено с некоторым движением в мозгу, чего не бывает с произведенным памятью.

Признаться надлежит, что истинный источник памяти от нас скрыт совершенно. Ведаем мы, что и тело в оном участвует; но и то верю, что возобновление понятий есть собственное действие души.

Письмо сие окончу я различием, сделанным в воспоминавании. Оно двояко. 1) Сила сохранять на несколько времени понятие настоящее. Локк сие называет *рассмотрение*. 2) Сила возобновлять и оживлять в разуме понятия, которые, родясь в оном, исчезли и из оного совсем удалились. Сие собственно назвать можно памятью

есмы и проч.

ПИСЬМО 5

Сочинитель, разыскивая прилежно действия разума человеческого, ограничивает их на способность замечать сходства и различия, приличность и разнообразность предметов между собою. Слова всех языков, которые почтень можно собранием всех мыслей человеческих, подтверждают сию истину, для того что они представляют нам одни токмо образы внешних предметов, отню-

шений их одного к другому и отношение их к нам. Разум человеческий превышает познания сих отношений и возносится и черты сего не преступает. Но и суждение не что иное есть, как самое сие усмотрение или изъяснение одного; то и следует, что все действия разума суть токмо суждения. Но и судить есть не что иное, как усматривать сходство и разность, принадлежность и неприличность наших чувствований и понятий. Следственно, поелику сила сего не что иное есть, как телесная чувствительность, то и судить есть чувствовать; следственно, все действия разума суть чувствования.

Рассуждение сие нахожу я весьма заключительным. Все предложения в оном ясны и обоснованы на истине и опытах, одно исключая, то есть что способность сравнивать понятия наши и чувствования есть телесная чувствительность. Сие требует рассмотрения, и поелику оно есть главное его предложение, то позвольте мне оное раздробить.

Я за доказанное приемлю, что все действия нашего разума состоят в способности усматривать сходствия и несходствия, принадлежности и разнообразия в предметах. Теперь доказать должно, что для сего способности нужна только телесная чувствительность.

Нет ни малого в том сомнения относительно познания различий между предметами. Получив два чувствования или два понятия, не могу не чувствовать, что то, что чувствую в одном, в другом того не чувствую; или, сказать яснее, что одно ударение иначе душу возбуждает, нежели другое. Чувствуя сие, чувствую их различие. Следует, что для усмотрения различия между предметами нужно токмо чувствовать. Но можно ли то же сказать о их сходствии? Определим, что значит сие слово. Что назовем сходствие одного предмета с другим? Сходствие существенное или случайное бывает, когда части, один предмет составляющие, однородны или разнообразны другому; или когда части одного предмета суть во всем одинаковы с частями другого предмета. Если сие верно, то для познания сего нужна одна чувствительность телесная. Ибо, имея два чувствования, разуму присутственные, усматриваю непременно, как они ударяют на мои чувства, одинаким ли образом или разнообразно; следует, оное усмотреть есть чувствовать.

Принадлежностью называем, когда один предмет к другому пристоем, приятен, полезен или нужен или когда таковым нам кажется (в дальнейшее изъяснение сих названий я не вхожу, дабы вместо объяснения их не затмить). Но опыты доказывают, что разные чувствования разнообразно на душу действуют. Иные рассматривает она с удовольствием, на другие взн-

рает с отвращением; и посредством того же опыта мы можем определить принадлежность или разность между предметами. Я из того заключаю, что судить есть то же, что чувствовать.

Для изъяснения сего рассуждения я постараюсь отдалить все возражения, которые против него сделать можно.

1. Если душа есть существо страдательное, то или каждый предмет она чувствовать будет разделяю, или будет чувствовать целый предмет, хотя сложный. Но не имея силы их сблизить, она сравнения между ими сделать не может, не может о них судить. Что значит весь сей вздор? Каждый предмет будет она чувствовать особенио, то есть что одно чувствование не будет другое или что одно чувствование не существует в другом, равно как одно тело не может занимать одного места с другим в одно время. Весь предмет будет чувствуем, то есть оба чувствования присутственны будут разуму. Следует, что душа не будет иметь силы их сравнить и что не может судить о их смежности. Но из сказанного мною можно заключить совсем противное и сказать: следовательно, не будет ей нужды их сблизять, следовательно, она будет судить об отношениях двух чувствований или иметь их присутственными разуму, то есть будет их чувствовать; но то и другое равно, как то доказано прежде. Но говоря, что душа не имеет силы сблизять чувствования одного с другим, если разумею, что душа не властна устремлять или отвращать своего внимания, продолжать или окончать своего размышления, тогда задача становится важнее и касается до следующей: свободны ли мы или нет? О сем я с вами в особом письме беседовать буду.

2. Понятия уравниательные, больший, меньший; понятия числительные, один, два; понятия отвлеченные, добродетель, красота, конечно, не суть чувствования, хотя разум производит их тогда, когда я чувствую. Дабы удостовериться о слабости сего рассуждения, войдем в некоторые подробности. Что может быть проще понятия, что отношение не что иное есть, как чувствование или выражение чувствования, произведенного во мне рассмотрением двух предметов. Я сооружаю понятие великого: но оно не само по себе, а уравниательное; следовательно, кто имеет понятие великого, тот неминуемо имеет понятие малого. Следует, если имею понятие о большой палке и о малой вдруг, то такое нужно сравнение, дабы чувствовать, что большая палка больше маленькой. Но как получил я понятие о большом и малом? Получив два разных удара и примечая или чувствуя, что один предмет имеет больше частей, нежели другой, я назвал один большим, а другой малым, хотя бы назвал их иначе, вещь в самом деле не переме-

нилась бы. Но как составляем мы численные понятия? Замечая различия чувствований. Например, цветок ударяет на орудие моего обоняния, я чувствую сие ударение и сохраняю его посредством памяти. Другой цветок производит равное ударение; я и оное чувствую. Но сохранив прежнее ударение, теперь чувствую не токмо ударение настоящее, но чувствую также, что чувствовал подобное. Чувствовать, что было во мне подобное чувствование, есть то же, что иметь понятие о двух чувствованиях; и так далее. Разум следует той же стезе при составлении общих понятий. Ибо очевидно, если ударение разных предметов на мои чувства одинаково, то невозможно мне не чувствовать, что чувствование мое при возрении какого-либо предмета есть подобное тому, которое имел видя другой предмет. Но изображение сего чувствования есть составление понятия общего или отвлеченного, которое существовать будет токмо в моей голове и которое, однако же, чувствовал я в самом деле.

3. Если бы в употреблении наших чувств мы были токмо страдательны, то не было бы между нами никакого сообщения, не можно было мне знать, что тело, которое я осязаю, и тело, которое вижу, есть то же. Или мы ничего вне себя чувствовать не будем, или будем чувствовать всегда пять существ отделенно, коих единственности нам приметить невозможно. Возражение сие весьма сильно, в том признаюсь. Но приняв, что в употреблении наших чувств мы действующие (хотя сие мне кажется нелепым, ибо не быть в употреблении чувств страдательным есть то же, чтобы быть властью не чувствовать того, что чувствую), легче ли можем понять сообщение между чувств и как душа замечает единственность понятия. Представь себе слепого, узнавшего опытами, каким образом шар и угольник ударяют на его осязание. Слепой сей, получив зрение, не возможет, конечно, посредством оного различить шар от угольника; ибо если чувства его ударяемы, например, шаром известным образом, не следует из того, чтобы и глаза его ударяемы были равномерно. Следственно, опыты нас тому учат, следственно, рассуждение, следственно, и сие есть чувствовать. Хотя совершенного уверения о единственности вещи в нас нет, но для чего тому удивляться, если доводам идеалистов мы опричь брани ничего противопоставить не можем.

4. Наконец, последнее возражение есть сие: если бы суждение об отношениях было простое чувствование и происходило бы единственно от предмета, то суждения мои никогда не были бы ложны, ибо то не ложно, что когда чувствую, то чувствую. Но на сие буду отвечать в следующем письме, следуя стезям сочинителя, который доказывает, что все наши заблуждения от наших страстей и от неведения происходят. И если сие последнее возра-

жение достаточно будет опровергнуто, то излишнее будет, да и нелепо утверждать, что сила суждений не есть свойство чувствовать

есмы и проч.

Примечание. Сочинения Федора Васильевича суть токмо в переводе. Первое и последнее из оных писал он на французском языке, прочее же на немецком.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

В 1789 г., 22 июля, Радищев получил разрешение от председателя управы благочиния петербургского обер-полицмейстера Никиты Рылсева печатать свою книгу под названием «Путешествие из Петербурга в Москву» в типографии, которую писатель устроил у себя дома на Грязной улице (ныне улица Марата в Ленинграде). «Путешествие» вышло без имени автора. Корректуру держал сам автор. Печатать книгу начали в январе 1790 г., закончили в начале мая. Всего отпечатано было 640—650 экземпляров. Сразу же Радищев передал книгопродавцу Зотову 25 экземпляров (по показаниям Зотова — 50), которые быстро были распроданы. Семь книг Радищев роздал друзьям и знакомым. После ареста Зотова Радищев сжег тираж книги, но, как выяснилось на следствии, несколько книг «пропало» из дома Радищева. Можно предполагать, что примерно 30—70 экземпляров сохранилось.

Прочитав книгу, Екатерина II приказала найти автора, а когда он был обнаружен, отдала распоряжение об аресте Радищева, проищательно усмотрев в этом сочинении его антикрепостническую направленность.

Сразу же после ареста Радищева (30 июня 1790 г.) по приговору уголовной палаты начали отбирать проданные книги (у тех, кто их купил). В течение XIX в. около двух десятков печатных экземпляров «Путешествия» передавались из рук в руки. В настоящее время известно семнадцать книг первого издания. С конца 90-х гг. XVIII в. начали появляться рукописные списки «Путешествия». (Из многочисленных списков XIX в. до нас дошло около семидесяти.) Екатерининский запрет на это сочинение Радищева был снят только революцией 1905 г.

С. 3. «Чудище обло...» — Эпиграф — слегка измененный стих поэмы В. К. Треднаковского «Тилемахнда» (1766). Приводя слова, которыми поэт описывал одного из царей, злоупотреблявших властью, Радищев бросает вызов деспотичному рус-

скому самодержавию. *Обло* — тучно; *озорно* — нагло, пакостливо; *лаяй* — лающее.

А. М. К. — инциалы Алексея Михайловича Кутузова, товарища Радищева по Лейпцигскому университету, писателя, масона. Посвящение Кутузову — не только дань дружбы, но и акт полемики.

С. 6. Разрядный архив — хранилище родословных документов боярства и дворянства.

С. 7. С уничтожением местничества при царе Федоре Алексеевиче (1661—1682) началось назначение на государственные должности в зависимости от личных заслуг и достоинств, а не от древности и заслуг фамилии, рода.

Новгородское дворянство вело свою родословную с момента разгрома Новгорода Иваном Грозным (1570) и было бедно.

Часть родовитых дворян не была удовлетворена екатерининской «Жалованной грамотой дворянству» (1785), которая в целом расширяла привилегии помещиков.

С. 9. Подушные — подушный государственный налог, которым облагалось мужское население, кроме дворян, духовенства и чиновников.

Мраз — мороз, холод.

С. 10. Кубарь — подобие волчка, юлы.

Ч. — Петр Иванович Челищев (1745—1811), товарищ Радищева по Лейпцигскому университету.

Систербек — Сестрорецк.

С. 11. Пафос и Амафонт (Амат) — древние города на Кипре, где находились храмы Афродиты (Киприды), богини красоты.

Вернет (Верне) Клод Жозеф (1714—1789) — известный французский пейзажист-маринист.

С. 12. Моисей — в библейской мифологии пророк, который вывел евреев из Египта по дну расступившегося Красного моря.

С. 15. «История обеих Индий» Гийома Реаля (1713—1796), французского историка, близкого энциклопедистам, была сожжена в 1781 г. за ее антиправительственный характер.

С. 17. Устерсы — устрицы. Вся нижеследующая история весьма напоминает причуды вельможи Г. А. Потемкина, фаворита Екатерины II.

С. 18. Чикчеры — гусарские брюки.

Крючок — чарка.

С. 19. Отсылать в уголовную палату — отдавать под суд за уголовное преступление.

Промен — плата, взимавшаяся при обмене одних денег на другие, например ассигнаций на серебро.

С. 20. *Частный откуп* — право монопольного ведения торговли частным лицом после уплаты денежного взноса.

С. 21. *Кондиции* — условия.

С. 22. *Томный* — приносящий муку, страдание.

С. 23. *Верящее письмо* — доверенность.

С. 24. *Держава* — золотой шар с крестом наверху, эмблема власти монарха.

Рамена — плечи.

Воскраие — край.

Седалище — трон.

С. 25. *Светозарный шар* — солнце.

Нижё — даже.

Помавающий — колеблющий.

Тимпан — древний музыкальный инструмент типа литавр.

С. 26. *Муссы* — музы, девять богинь греческой мифологии, покровительницы искусств.

Егда — когда.

С. 27. *Во сретение* — навстречу.

Отжену — отгоню.

С. 29. *Военачальник мой... утонул в роскоши...* — намек на жизнь Потемкина в ставке во время русско-турецкой войны (1787—1791).

С. 30. *Дски* — доски.

Кук Джеймс (1728—1779) — знаменитый английский мореплаватель; убит туземцами на Сандвичевых островах.

Соплощать — отождествлять, приравнивать.

Касталия и *Ипокрена* — родники поэтического вдохновения, в греческой мифологии — источники у подножия Парнаса и Геликона.

С. 31. *Ласкательство* — угодищество, подхалимство, лесть.

С. 32. *Виргиллий* (Вергилий), *Горацій* — римские поэты I в. до н. э.; *Тит Ливий* (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.), *Тацит* (55—120) — римские историки.

С. 33. *Ифика* — этика.

Кутейкин — учитель Митрофанушки в «Недоросле» Д. И. Фонвизина говорит: «Ходил до риторики, да, богу изволившу, назад воротился».

Гроций Гуго де Гроот (1583—1645) — знаменитый голландский юрист, социолог; *Монтескью* (Монтескье Шарль Луи; 1689—1755) — выдающийся французский просветитель; *Блэкстон* (Блэкстон Уильям; 1723—1780) — известный английский юрист; Радищев далее имеет в виду его четырехтомный труд «Комментарии к английским законам».

...*есть повеление о учреждении новых университетов...* — Широковещательный план открытия университетов в Пскове, Чер-

нигове и Пеизе (1787) к 1790 г. был похоронен. Напоминая о нем, Радищев подчеркивает рекламно-демагогический характер просветительских программ Екатерины II.

С. 34. *Мартинист* — последователь философского учения мистика Сен-Мартена (1743—1803). *Шведенборг* (Сведенборг Эммануил; 1688—1772) — шведский писатель-мистик, «духовидец», сочинения которого были популярны в кругах martinистов.

Фридрих II (1712—1786) — прусский король, афишировавший «просвещенный абсолютизм» и проводивший реакционнейшую политику.

С. 35. *Лутер* (Лютер Мартин; 1483—1546) — деятель Реформации в Германии; основатель лютеранства, направленного против догматов католичества и злоупотреблений римских пап.

Магомет (Мухаммед; ок. 570—632) — основатель ислама (мусульманства); почитается как пророк.

С. 36. *Обесстудить* — опозорить.

Смотри Белев словарь... — Цитируя толкователя Талмуда раввина Акибу по *Белеву словарю* (то есть «Историческому и критическому словарю» Пьера Бейля (1647—1706), французского атеиста и материалиста), Радищев издевается над мнимо глубокомысленными умствованиями масонов.

Солон (640/635—559 до н. э.) — реформатор древних Афин; *Ликург* — легендарный основоположник законодательства в древней Спарте (IX—VIII вв. до н. э.). *Троя* (Илион) — древний город в Малой Азии, достигший особого могущества во втором тысячелетии до н. э. *Карфага* (Карфаген) (825—146 до н. э.) — рабовладельческий североафриканский город-государство.

С. 37. *Ганзейский союз* — союз богатых (главным образом северонемецких) городов XIV—XVII вв., развивавший торговлю на Северном и Балтийском морях.

...поступок царя Ивана Васильевича... — Речь идет о кровавой расправе Ивана IV с Новгородом в 1570 г.

Долбня — деревянная палица, молот.

С. 38. *Ярослав Ярославич* (1230—1272) — великий князь Тверской, брат Александра Невского, воевал с новгородцами в 1270—1271 гг.

...купец третьей гильдии... — Купечество делилось на три гильдии (сословия). Третья гильдия — низшая. *Именитые граждане* — по «Жалованной грамоте городам» (1785) городская привилегированная верхушка.

С. 39. *Лаватер* (Лафатер Иоганн Каспар; 1741—1801) — пастор, выдвинувший в книге «Физиогномические фрагменты» теорию распознавания внутреннего облика человека по его физиономии. Искусство портретных силуэтов было особенно популярно в XVIII в.

Зубы как уголь. — Русские щеголихи XVII—XVIII вв. чернили зубы.

С. 41. *Предвечная* — не имеющая начала; здесь: божественная.

С. 42. *Егова* (Иегова), *Юпитер*, *Брама* — имена божеств в иудейской, древнеримской, индийской религиях; *Авраам*, *Моисей* — библейские персонажи; *Конфуций* (551—479 до н. э.) — древнекитайский философ; *Зороастра* (Заратуштра) — мифический пророк древних народов Средней Азии, Персии, Азербайджана; *Сократ* (470/469—399 до н. э.) — древнегреческий философ; *Марк Аврелий* (121—180) — римский император.

Отриновен — отрешен.

С. 43. ...*трагедия Эддесонова*... — Радищев цитирует популярную в России трагедию английского писателя Джозефа Аддисона (1672—1719) из истории борьбы римляни-республиканцев против диктатуры Юлия Цезаря.

С. 44. *Поноровка* — потворство.

Камер-лакей — старший придворный лакей. *Мундшенк* — придворный служитель, ведающий иалитками (виночерпий).

С. 45. *Герольдия* — учреждение, ведавшее делами о дворянах, чиновниках, титулах, гербах.

Гогард (Хогарт Уильям; 1697—1764) — английский живописец и гравер, сатирик.

Меслячина — ежемесячная выдача продуктов натурой безземельным крестьянам.

Кошка — многохвостая плетъ из смоленой пеньки или сыромятных ремней.

Древний Лакедемон (Спарта) — древнегреческий рабовладельческий город-государство. Общественной моралью Спарты особенно ценились личная инициатива, предприимчивость.

С. 46. *Повенченное* — оброк, уплачиваемый помещику за разрешение вступить в брак.

С. 48. *Торговая казнь* — телесные наказания (чаще кнутом) на городских торговых площадях.

Идушу мне — когда я иду.

Скосырь — иаглец, щеголь.

С. 50. *Превратив* — повернув, изменив, переломив.

С. 51. *Сице* — так.

С. 52. *Баба* — английский парк вельможи Нарышкина близ Финского залива, по дороге из Петербурга в Петергоф; место воскресных гуляний.

С. 56. *Даждь* — дай.

С. 57. *Дондеже* — пока, до.

С. 59. *Дебелы* — здесь: изнежены.

С. 61. *Егид* (эгида) — щит верховного Зевса в греческой мифологии, символ защиты.

С. 62. *Брашно* — хлеб-соль, еда.

С. 64. *Понезже* — поскольку.

С. 65. *Курций* Марк, согласно преданию, спас Рим. Когда в 362 г. до н. э. в римском форуме разверзлась бездонная пропасть, оракул предсказал гибель городу, если пропасть не поглотит лучшее его благо. Со словами «Нет лучшего блага в Риме, чем оружие и храбрость» юный Курций, в доспехах, на коне, кинулся в бездну, и она сомкнулась.

С. 66. *Юлий Кесарь* (Цезарь) — римский диктатор (102 или 100—44 до н. э.).

Чувственница — мимоза.

С. 67. *Катон* Младший (95—46 гг. до н. э.) — римлянин, сторонник аристократической республики. Выступал против режима личной диктатуры. Когда узнал о военной победе Цезаря над силами республиканцев, закололся мечом.

С. 71. *Лада* — славянская богиня любви, супружества, веселья.

С. 72. *Леандр* — в древнегреческой поэзии любовник Геро, жрицы Афродиты, каждую ночь переплывавший пролив Геллеспонт (Дарданеллы) для свиданий с возлюбленной, которая зажигала на своей башне фонарь. Однажды буря погасила фонарь. Увидев утром прибитое волнами тело утонувшего Леандра, Геро бросилась в море.

С. 73. *...визита воспитательному дому...* — Внебрачных детей обычно отдавали в воспитательные дома.

С. 78. *...выпросит в почетные девицы...* — то есть добьется звания фрейлины, придворной дамы.

С. 81. «*Проект в будущем*» в главах «Хотилово», «Выдропуск» и картина торго крепостными в главе «Меднос» написаны от лица друга путешественника, мысль которого наглядно эволюционирует от либерализма к революционности.

С. 82. *Ассия* (Азия) в XVIII в. считалась родиной варварства, рабства и деспотизма.

Сыны славы — то есть славны, известны именем. В екатеринский век была популярна ложная версия о происхождении имени славян от слова «слава».

Колена земнородные — земные поколения.

С. 82—83. *Утщетились* — сделались тщетными, напрасными.

С. 84. *Класы* — колосья.

С. 86. *Нудить* — принуждать

...Жертвы берегов Нигера и Сенагала... (Сенегала) — африканские невольники

С. 87. *Горé* — вверх.

С. 91. *Выводные деньги* — плата жениха за невесту, если она крепостная другого помещика.

С. 93. *Прещение* — запрет.

С. 94. *Розговины* (разговенье) — первое употребление мясной и молочной пищи после поста.

Таковым урядникам — то есть жившим согласно такому порядку.

С. 95. *Тать* — преступник.

Крайчий (кравчий) — лицо, прислуживавшее за столом.

С. 96. *Председать* — сидеть за столом государя ближе к нему, на более почетном месте.

Тук — жир, сало.

С. 97. *Нума Помпилий* — легендарный римский царь. *Манко Капак* — легендарный основоположник перуанского государства.

...Моисей принял скрижали... — Согласно библейской легенде, вождь евреев Моисей получил на горе Синай каменные скрижали (доски) с заповедями (законами) от самого бога.

Ариман — властитель тьмы и смерти в древнеперсидской религии.

С. 98. *...свобода на то дана всем.* — Указом 1783 г. типографии приравнивались к фабрикам, что позволило частным лицам завести книгопечатни.

С. 99. *Послушаем Гердера.* — Из диссертации немецкого философа и поэта Иоганна Готфрида Гердера (1744—1803) «О влиянии правительства на науки и наук на правительство» (1778) Радищев цитирует только то, что служило защите свободы слова.

С. 100. *Наказ о новом уложении* — «Наказ» (1767) Екатерины II, давно запрещенный самой императрицей. Радищев обращает свое толкование «Наказа» на пользу свободе слова.

Клеймо полицейское — разрешение на печатание книг; его давала полиция (управа благочиния).

С. 102. *Дикинсон Джон* (1732—1808) боролся против зависимости английских колоний в Америке от метрополии.

Ристалище — поле для состязаний. *Нисшел в ристалище* — то есть снизошел до борьбы.

С. 104. *Протагор* (480—410 до н. э.) — африканский философ-софист, изгнанный за атеизм.

Претор — один из высших судей в Древнем Риме.

Светоний Гай Транквил (70—160) — биограф римских императоров. *Кесарь* (Цезарь) *Август* (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский император.

Тит Лабений (ум. в 123 г.) — римский историк и оратор, защитник республики.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ, драматург.

С. 105. *Арий Монтана* (XVI в.) — испанский богослов и востоковед.

Кремуций Корд — римский историк, жил при императоре Тиберии (43 до н. э. — 37 н. э.). Радищев ошибается: Кремуций Корд называл последним римлянином не писателя Кассия Севера (ум. в 32 г.), а Гая Кассия Лонгина (I в. до н. э.), одного из организаторов убийства Цезаря.

Ариобий — христианский писатель (конец III — начало IV в.).

С. 106. *Константин* (ок. 285 — 337) — римский император; *Феодосий II* (401 — 450) — византийский император. Речь идет о борьбе римских и византийских императоров IV—V вв. с различными ересями.

Пандекты Юстиниановы — книги извлеченные из трудов крупнейших римских юристов, составленные при византийском императоре Юстиниане (482/483 — 565).

Декарт Рене (1596 — 1650) — великий французский философ и математик.

Апокалипсис — одна из книг Нового завета, древнейшее из сохранившихся христианских литературных произведений (68 — нач. 69).

Абелард (Абеляр Пьер) (1079 — 1142) — французский философ, профессор богословия, поэт.

С. 107. *Иллюминаты* (иллюминаты) — одно из тайных обществ XVIII в. Во Франции среди иллюминатов было немало будущих деятелей революции 1789 г. Радищев не имел точного представления об иллюминатах.

Жирандо Морфей (Герардо Матвей) — кардинал (ум. 1492). Основатель книгопечатания Иоганн Гутенберг (ок. 1399 — 1468) выпустил первую печатную книгу в Майнце (1445).

С. 111. *Александр VI* (Борджа; 1431 — 1503) — папа римский, известный своим вероломством и развратом.

С. 112. *Тридцатилетняя* (Тридцатилетняя) война — война в Германии между протестантами и католиками (1618 — 1648).

Звездная палата (название получила от потолка, украшенного звездами) — высшее судебное-административное учреждение Англии XV—XVII вв. *Тайная канцелярия* (1718 — 1762) занималась политическим сыском.

С. 113. *Граф Страффорд* был в 1641 г. приговорен к смерти Долгими парламентом (1640 — 1653), который временно отменил, но в 1643 г. вновь ввел цензуру; *Карл I* (1600 — 1649) был казнен по приговору трибунала, созданного парламентом.

Карл II, затем *Яков I* (король Англии — Яков II) были на английском престоле с 1660 по 1688 г. *Премена* — вступление на престол Вильгельма III Оранского (1688 — 1702).

В Дании вольное книгопечатание... — Свобода печати, объявленная в 1770 г. от имени датского короля Христиана VII (1749 —

1808), уже через год была ограничена. Указ о свободе печати приветствовал Вольтер (1771).

С. 114. *Арг* (Аргус) и *Бриарей* — гиганты греческой мифологии; Аргус — неусыпный страж. Бриарей — защитник верховного бога Зевса.

...*писать против народного собрания*. — Речь идет о гонениях на французскую революционную печать. Тайное издание вождем демократии Маратом (1743—1793) памфлета на министра финансов (1790) повлекло осаду дома Марата национальной гвардией, которой руководил автор проекта «Декларации прав человека и гражданина» Лафайет (1757—1834). Радищев, следивший за ходом событий во Франции, проницательно увидел в действиях Учредительного собрания угрозу революции.

Векерлин Вильгельм Людвиг (1739—1792) — один из немецких просветителей, издатель журнала «Седое чудовище».

С. 115. *Иосиф II* (1741—1790) — австрийский император, наследник *Марии Терезии* (1717—1780), ввел свободу печати, но затем вновь ограничил ее.

О мой друг! — А. М. Кутузов, к которому обращается Радищев, находился с 1789 г. в Берлине. Далее следуют записки, принадлежавшие автору «Проектов в будущем» («Хотиллов», «Выдропуск»).

...*Российская империя извещается*... — Единственные русские газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости» выходили дважды в неделю.

С. 116. ...*в Франкфуртскую баталию*... — Имеются в виду поход фельдмаршала Миниха (1683—1767) в Крым (1736) и победа русских при Кунерсдорфе (1759), открывшая путь к Франкфурту-на-Одере в Семилетнюю войну (1756—1763).

Воспитанницы — здесь: воспитательницы.

С. 117. *Квакеры* — религиозная секта в Англии и США. Их лозунги: любовь к ближним и самоусовершенствование. Выступали за свободу негров.

С. 118. *Великие отчинники* — владельцы громадных имений (отчин, вотчин).

Польское одеяние стихов — силлабическое стихосложение (основано на равенстве слогов в строках); влияние западной, в частности польской, поэзии. Ломоносов и Тредиаковский писали тоическим стихом, соблюдающим равенство ударений в строке. Радищев выступает против канонизации ямба, за разнообразие размеров русского стиха.

С. 119. *Если бы Ломоносов*... — Имеются в виду произведения Ломоносова «Ода, выбранная из Иова» (вольное переложение отрывков из Библии) и «Преложения псалмов» (переложение религиозных морально-поучительных песнопений, составляю-

щих Псалтырь). «Семира» (1768) и «Дмитрий Самозванец» (1771) — трагедии А. П. Сумарокова (1711—1777). *Осмилетний труд поэта М. М. Хераскова* (1733—1807) — поэма «Россияда» (1771—1779), для которой образцами служили «Энеида» Вергилия, а также «Илиада» и «Одиссея» Гомера.

Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796) — переводчик «Илиады».

«*Тилемахида*» — написана русским гекзаметром (шестистопным стихом без рифмы с пятью дактилями и одним хореем).

Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт.

Краесловие — рифма.

Омир (Гомер; IX в. до н. э.) — легендарный древнегреческий поэт, которому с времён античности приписывается авторство поэм «Илиада» и «Одиссея»; *Расин* Жак Батист (1639—1699) — французский драматург; *Тассо* Торквато (1544—1595) — итальянский поэт.

С. 120. *Брут* Марк Юний (85—42 до н. э.) — глава заговора против Цезаря, участвовал в его убийстве. В XVIII в. казался идеальным республиканцем. *Тель* Вильгельм (XIV в.) — легендарный стрелок, борец за освобождение Швейцарии от австрийского ига.

С. 121. *Соборный* — общий.

Крины — лилии.

Паросский мрамор — с острова Парос.

С. 122. *Гнушаясь жертвенныя тли* — гнушаясь даров, взяток.

С. 123. *Ползкий яд* — яд пресмыкательства.

С. 125. *Медны громады* — орудия.

С. 126. *В отличность знак...* — орден, учрежденные для награждения за заслуги перед отечеством, перед властью.

Изоощренный — здесь: изостреинный, отточенный.

С. 127. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — диктатор эпохи Английской буржуазной революции, во время которой по приговору парламента был обезглавлен король Карл I.

Самсон — библейский богатырь, обрушивший на своих врагов своды храма.

С. 128. *Марий* Гай (157—86 до н. э.) — римский полководец, стремившийся стать диктатором, боровшийся с Суллой за власть. *Сулла* Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — римский диктатор.

С. 129. *Пегас* — символ поэтического вдохновения, в греческой мифологии — крылатый конь.

С. 130. *Рекрута... из экономического селения.* — Русская армия до военной реформы 1870 г. пополнялась путем рекрутских наборов из крестьян, обязанных поставлять одного рекрута от определенного числа мужиц (в 1789 г. — одного от сотни). Го-

сударственные и экономические (перешедшие от монастырей к экономической коллегии крепостные) крестьяне вместо себя представляли специально купленных у помещиков крепостных. Помещичья спекуляция крепостными во время рекрутских наборов неоднократно запрещалась (1766, 1769, 1770), но не была приостановлена. Новый запрет последовал, когда Раднцев начал печатать «Путешествие» (1789).

С. 131. *По мне* — здесь: после меня.

С. 136. *Линьки* — веревочные плети для наказания матросов. *Ваиты* — канаты, крепящие мачты и паруса.

С. 139. В «*Придворной грамматике*» Д. И. Фонвизина писал: «Чрез гласных разумею тех сильных вельмож, кои по большей части самым простым звуком, чрез одно отверстие рта, производят уже в безгласных то действие, какое им угодно. Например, если большой барин при докладе ему... нахмурясь, скажет: о! — того дела вечно сделать не посмеют, разве как-нибудь перетолкуют ему об оном другим образом, и он, получая о деле другие мысли, скажет тоном, изыскующим свою ошибку: а! — тогда дело обыкновенно в тот же час и решено».

Эта сатира на двор Екатерины II была опубликована лишь в 1829 г.

С. 140. *Габриелли* Катарина (1730—1796), *Маркези* Луиджи (1755—1829), *Тоди* Мария Франциска Лючия (1748—1796) — итальянские певицы.

Вертер — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера» (1774).

С. 145. *Парнасский судья* — то есть встреченный путешественником стихотворец, автор оды «Вольность».

С. 146. *Присно* — всегда.

С. 147. *...обитель иноческих мусс...* — Славяно-греко-латинская академия в Москве.

С. 148. *Вольф* (Кристиан, 1679—1754) — марбургский профессор, знаток естествознания и философии.

С. 150. *Симеон Полоцкий* (1629—1680) — белорусский и русский поэт, драматург, церковный деятель.

С. 151. «*Ода на взятие Хотина*» (1739) была написана Ломоносовым во Фрейберге (Саксония).

Ломоносов составил первую научную «Российскую грамматику» (1757).

С. 152. *Геликон* (Геликон) — гора в Средней Греции, где, по представлениям древних греков, обитали музы.

Риторика. — Имеется в виду «Краткое руководство к красноречию» (1748).

Питт Уильям (Старший; 1708—1778); *Бурк* (Берк Эдмунд; 1730—1797), *Фокс* Чарлз Джеймс (1749—1806) — известные англий-

ские политические деятели и ораторы; *Мирабо* Оиоре Габриель Рикети (1749—1791) — французский политический деятель, оратор.

С. 153. *Пиндар* (ок. 518—442 или 438 до н. э.) — греческий поэт, автор од в честь победителей на олимпийских играх. Радищев называет его последователем «псалмопевца», то есть библейского царя Давида.

С. 155. *В Платоне душа Платона...* — Здесь Радищев обращается к московскому митрополиту Платону (Левшин), сравнивает его с греческим философом Платоном и упоминает речь митрополита над гробницей Петра I, произнесенную в 1770 г. по случаю победы русского флота над турками под Чесмой.

Робертсон Уильям (1721—1793) — английский историк; *Маркграф* Андрей Сигизмунд (1709—1782) — немецкий химик; *Рюдигер* (Рюдигер Андрей; 1673—1731) — немецкий философ-идеалист; возможно, Радищев имел в виду естествоиспытателя Рюдигера Христиана Фридриха (1760—1808). *Зане* — поскольку.

С. 156. *Се исторгнувший гром...* — Надпись на портрете В. Франклина (1706—1790).

...Учителя... пораженного смертью. — Радищев говорит о гибели друга Ломоносова, физика Георга Вильгельма Рихмана (1711—1753), погибшего при проведении опытов с электричеством во время грозы.

Бакон (Бэкон) *Веруламский* (1561—1626) — английский философ-материалист, положивший начало экспериментальному методу в науке.

С. 157. *...мы повидаемся на возвратном пути.* — Трудно сказать, хотел ли Радищев в действительности продолжить книгу: заключительные строки главы «Клии» упоминают о состоявшемся возвращении путешественника.

ВОЛЬНОСТЬ

Ода

Ода написана в 1781—1783 гг., впервые опубликована в отрывках в составе «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790). Полностью «Вольность» вышла отдельной брошюрой только в 1906 г. в издательстве «Сириус». Сохранились тексты оды, распространявшиеся в XIX в. в списках. Ода — первое революционное стихотворение в России. В оде запечатлены итоги изучения Радищевым народной борьбы за свободу — оттого он приветствует американскую революцию (1776—1783) против английского колониального владычества, учитывает опыт

борьбы русских крепостных за свободу под руководством Пугачева.

В общенародном языке слова *воля*, *вольность* всегда значили свободу от плена, или от тюрьмы, или, после окончательного утверждения крепостного права, — свободу от рабской зависимости. *Воля*, *вольность* — заветные слова русского народа, выражавшие его мечту, его идеал жизни, его надежды, слова, поднимавшие человека на борьбу со своими поработителями. В песнях, пословицах, сказках народ воспевал вольность, вольницу, вольных, смелых людей. С новой силой народ заговорил о вольности во время пугачевского восстания. Слово *вольность* прозвучало пламенным призывом, оно поднимало покорных, вооружало решимостью в борьбе за свои исконные права.

Это слово, запечатлевшее вековую мечту миллионов угнетенных, и ввел Радищев в литературу. С радищевской оды «Вольность» слово это стало звучать в русской литературе призывом к революции, к уничтожению самодержавия и крепостничества.

Ода «Вольность» — произведение огромного философского и политического содержания, в ней была изложена философия народной революции. Вольность — «бесценный дар» человека, «источник всех великих дел». Что же служит «препоной свободе»? Законы, созданные самодержавием и освященные церковью, согласно которым у народа отняли волю и утвердили рабство. Народ, заявляет Радищев, имеет право вернуть отнятую у него свободу. В оде описывается восстание народа и суд над монархом-«злодеем», а затем рассказывается о созидательной деятельности победившего народа. Ода заканчивается вдохновенным пророчеством о будущей русской революции. Историзм помог Радищеву понять, что в современных ему условиях победа невозможна — «не пришла еще година, не совершились судьбы».

Пробуя свои силы в поэзии, Радищев прокладывал пути русскому революционному стихотворению. Поэт создает новое, отличное от классицизма понятие высокого. Это не тема бога и монарха, не воинский героизм полководца, но стремление человека к свободе, и борьба за свободу — вот истинно прекрасное и величественное в жизни человека. Главная задача революционера-поэта, живущего в рабской стране, — «прорнцать вольность», утверждать мысль о равенстве людей, вдохновлять соотечественников на борьбу со своими угнетателями. Так русская революционная мысль была впервые высказана поэтически.

С. 160. *И се чудовище ужасно...* — церковь, религиозный фанатизм и суеверие.

С. 163. *«Возмнил, что ты господь, не я...»* — Господь здесь: господин.

С. 164. *«В отличность знак изобретенный...»* — См. наст. изд., примеч. к с. 126.

С. 168. *«Двулична бога храм закрылся»*. — Имется в виду храм древнеримского божества Януса, изображавшегося с двумя лицами; в мирное время храм стоял закрытым и открывался лишь на время войн.

С. 172. Строфа 46 представляет собой вольный перевод послания французского просветителя Рейналя американскому народу, содержащийся в книге Рейналя *«Revolution de l'Amérique»*.

ПРОЗА

(О САМОДЕРЖАВСТВЕ)

Данное рассуждение Радищева является вторым примечанием к тексту третьей книги сочинения Мабли *«Размышления о греческой истории»*, изданной в 1773 г. новиковским «Обществом, старающимся о напечатании книг», в переводе Радищева. Мабли — французский политический мыслитель XVIII в., утопический коммунист, республиканец, отвергавший концепцию просвещенного абсолютизма. Радищев не только развивал идеи Мабли о народоправстве, но и впервые дал определение самодержавия: «как наипротивнейшее человеческому естеству состояние».

ДНЕВНИК ОДНОЙ НЕДЕЛИ

Это одно из первых сочинений Радищева, написанных после его возвращения из Лейпцига. Датировать его можно примерно 1773 г.

С. 177. *«Беверлей»* — название «Буржуазной трагедии в 5-ти действиях» французского драматурга Сореля.

ПИСЬМО К ДРУГУ, ЖИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ В ТОБОЛЬСКЕ...

Написано на второй день после открытия памятника Петру I (7 августа 1782 г., работы Фальконе — так называемый «Медный всадник»). Напечатано в собственной типографии Радищева весной 1790 г. анонимно. «Письмо...» содержит серьезную и глубокую оценку Петра I как преобразователя России и жестокого самодержца. Друг, жительствующий в Тобольске, — Сергей Николаевич Яиов, с

которым Радищев учился в Лейпциге; в 1782 г. Янов служил в Тобольске директором экономии Казенной палаты.

С. 184. *Женевский гражданин* — Жан-Жак Руссо (1712—1778).

БЕСЕДА О ТОМ, ЧТО ЕСТЬ СЫН ОТЕЧЕСТВА

Принадлежность этого сочинения Радищеву устанавливается на основании свидетельства Сергея Алексеевича Тучкова («Записки», СПб., 1906), члена «Общества друзей словесных наук». (В журнале «Общества...» — «Беседующий гражданин», 1789, декабрь — и была опубликована эта статья Радищева). Первым на это свидетельство С. А. Тучкова обратил внимание П. Е. Щеголев («Минувшие годы», СПб., 1908, 12).

ЖИТИЕ... УШАКОВА

«Житие... Ушакова» — произведение большого общественно-философского содержания, оказавшее глубокое и плодотворное влияние на русскую литературу первой трети XIX в. Направлено оно против философии человека Руссо и его педагогической системы. Именно здесь Радищев впервые обосновал роль путешествия в общественном воспитании человека, а также сформулировал русские методологические основы эстетики героического. Чем ближе, учил Радищев, человек к жизни, чем непосредственнее он связан с ней, тем трезвее будет взгляд его на истинный смысл происходящих событий, на ужасы крепостнического и самодержавного правления, тем энергичнее будет в нем расти «исступление», протест, желание изменить эту враждебную человеку жизнь, перестроить ее на «правилах, народных правлениям приличных».

Книга была впервые напечатана анонимно в 1789 г. «в императорской типографии» под названием «Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений». Посвящена она лейпцигскому товарищу Радищева А. М. Кутузову. К 80-м гг. Радищев совершенно разошелся со своим бывшим другом, который отошел от активной общественной деятельности.

С. 194. *...определила послать в Лейпцигский университет двенадцать юношей...* — 20 сентября 1766 г. были выданы паспорта для поездки в Лейпциг двенадцати дворянам: Петру Челищеву (20 лет), Андрею Рубаиновскому (18 лет), Сергею Янову (17 лет),

Алексеем Кутузову (17 лет), Александру Радищеву (17 лет), Александру Римскому-Корсакову (15 лет), князьям Несвитскому и Трубецкому, Зиновьеву (двоюродному брату графа Орлова), братьям Федору и Михаилу Ушаковым, Насакину. Первые шесть были взяты из Пажеского корпуса. Римский-Корсаков скончался в пути. Позднее в Лейпциг прибыли два брата Алсуфьева, Козодавлев, Волков, граф Матюшкин и Мельгунов.

С. 215. *Если бы смерть... и оную побеждать законно...* — Радищев говорит об Английской революции XVII в., о суде над королем Карлом I и казни его по приговору суда в 1649 г. Приглашенный на трон «посторонний» — голландский штатгальтер Вильгельм Оранский.

Вторая часть «Жития...» состоит из собственно ушаковских сочинений. Желая сохранить память о талантливом, рано умершем (7 июня 1770 г.) русском философе, Радищев из переданных ему Ушаковым бумаг выбрал три самостоятельные работы, перевел их (с французского и немецкого) и напечатал. В «Житии...» Радищев неоднократно подчеркивает, что воззрениям Ушакова свойственна была отвлеченность, метафизичность, главную же заслугу Ушакова видит в критическом пересмотре им идей французского Просвещения. Собственно же радищевские взгляды в момент написания «Жития...» коренным образом отличаются от ушаковских: он глубже и последовательнее критикует Руссо за его буржуазный индивидуализм, за его антиобщественные теории и выступает с теорией народной революции как единственного пути ликвидации крепостничества и самодержавия, требует истребления дворянства и возведения царя на плаху.

С. 225. *...последователей системы беспристрастной свободы...* — Речь идет о представителях крайне идеалистического учения о полной независимости человеческой воли от каких бы то ни было причин. Ушаков, критикуя в своей работе буржуазную теорию индивидуализма, обрушивается здесь и на сторонников «свободы воли», «своего хотения», метко называя их «единственниками».

Человек рождается ни добр, ни зол. — Вся эта часть ушаковского сочинения посвящена критике главного тезиса философско-педагогических воззрений Руссо, изложенных в его «Эмиле, или О воспитании».

С. 228. *...по мнению г. Руссо...* — Ушаков ссылается на авторитет Руссо, изложившего в своей книге «Общественный договор» учение о возможности демократического правления лишь в малых государствах. Ушаков, как видим из этого отрывка, согласен в данном случае с Руссо.

С. 229. *...царствование императрицы Елисаветы Петровны...* — Ушаков говорит здесь о декларативном обещании русской императрицы не применять смертной казни. Обещание не было выполнено. По ее указам жестоко подавлялись многочисленные крестьянские мятежи.

С. 231. *Я не могу сравнить с сими великими людьми сих злодеев...* — В данном отрывке со всей силой проявляется метафизичность воззрений Ушакова. Абстрактно рассуждая о необходимости отмены казни, Ушаков осуждает тех, кто казнил короля. Радищев, печатая это сочинение Ушакова, был далек от ушаковских заблуждений. Именно в это время Радищев в оде «Вольность» славил английский народ за то, что тот казнил своего короля, призывал русских крестьян к революции, «царям грозил плахою», по замечанию Екатерины II.

СОДЕРЖАНИЕ

Путешествие из Петербурга в Москву	3
Выезд	4
София	4
Тосна	6
Любани	8
Чудово	10
Спасская Полесь	16
Подберезье	32
Новгород	36
Бронницы	41
Зайцово	43
Крестыцы	54
Яжелбицы	68
Валдаи	71
Едрово	73
Хотилон	81
Вышний Волочок	92
Выдропуск	95
Торжок	98
Медное	115
Тверь	118
Городня	129
Завидово	137
Клин	139
Пешки	142
Черная Грязь	144
Вольность. Ода	158

Проза

〈О самодержавстве〉	175
Дневник одной недели	175
Письмо к другу, жительствовавшему в Тобольске, по долгу звания своего	180
Беседа о том, что есть сын отечества	184
Житие Федора Васильевича Ушакова. С приобщением некоторых его сочинений	192
Примечания	245

Радищев А.

Р15 Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность: Ода; Проза/Примеч. А. А. Горелова, Г. П. Макогоненко.— Л.: Худож. лит., 1984.— 264 с. (Классики и современники. Русская классическая литература)

А. Н. Радищев (1749—1802) — писатель-революционер. Его главная книга «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) явилась первым произведением в русской литературе, которое имело огромное революционное значение. Все стороны общественной, экономической и политической жизни крепостнической России подверг Радищев глубокому анализу и гневному обличению. В настоящее издание включены также ода «Вольность», «Дневник одной недели» и др.

Р 4702010100-061 16-84
028(01)-84

ББК 84.Р1

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОСТИ

Русская классическая литература

**АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
РАДИЩЕВ**

Путешествие из Петербурга
в Москву

Вольность
Ода

Проза

Редактор Т. Мельникова. Художественный редактор В. Куприянов
Технический редактор Н. Литвина. Корректоры А. Борисенкова,
М. Зиминая

ИБ № 3166

Сдано в набор 22.06.83. Подписано в печать 12.04.84. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 13,86 усл. печ. л. 14,49 усл. кр.-отт. 15,83 уч.-изд. л. Тираж 2000000 экз. (1-й завод 1—500000 экз.). Заказ № 968. Цена 1 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Неакий пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном Комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.



1 р. 30 к.



Русская классическая литература

